

Ю. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
СОВРЕМЕННОСТИ

Ю. Александровский
СОВРЕМЕННОСТИ

Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ

Современники

ВОСПОМИНАНИЯ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Москва

1 9 5 8

Первые шаги



I

С помещиком, банкиром на битву мы идем,
Всем кулакам-вампирам мы гибель принесем!
Мы — красные солдаты — за бедный люд стоим,
За нивы и за хаты, свободу отстоим!..

Верно, какая непритязательная и отнюдь не мажорски написанная строфа? А я всю жизнь с глубоким волнением повторяю ее, она воскрешает самое лучшее, что было в моей молодости.

Назначенный политруком авто-мото-велороты 26-й дивизии, я летом 1920 года не раз водил свою роту на вечернюю прогулку по пыльным и жарким улицам Барнаула. Мы пели тогда эту песню. Ее простые слова казались прекрасными, — в них звенела высокая правда эпохи.

Соберешь красноармейцев, растолкуешь им по газете новости международной политики и последние декреты советской власти, прочтешь очередное стихотворение Демьяна Бедного — и чувствуешь такое счастливое удовлетворение, какое желаю испытать в молодости каждому юноше, каждой девушке...

Политическая пропаганда и агитация в Красной Армии стали первой моей общественной работой, первой моей профессией, первым призванием. Жить одной жизнью с красноармейцами, ото дня ко дню

разъяснять им политику партии и мероприятия советской власти, растолковывать события текущей внутренней и международной политики — какое дело может быть лучше и благороднее для коммуниста!

В сентябре 1920 года, вскоре после окончания гражданской войны в Сибири, я вернулся в родной свой город Челябинск и поступил на службу в политотдел губвоенкомата, где мне поручено было заведование краткосрочными — не дольше месяца — политшколами, куда направлялись рядовые красноармейцы пограмотнее и потолковее. Окончание такой школы никаких прав и привилегий не давало, и красноармейцы, прослушав курс, возвращались обратно по своим частям.

Тяга к политическому просвещению была так велика, что красноармейцы шли в эти школы с огромной охотой, и работа в них приносила мне не меньшее удовлетворение, чем благодарная служба в должности политрука роты.

Однако, кроме этой политической работы, которой я отдавал все свои силы, было у меня другое, заглаженное стремление, которое я в то время даже и самому себе не осмелился бы назвать призванием.

Когда здесь, в родном Челябинске, я учился в реальном училище, то с особенной охотой занимался русским языком, литературой, историей. У нас был печатный ученический журнал «Первые шаги», в нем появились первые мои рассказы. Писал я также и стихи, но сам чувствовал, что они даются мне плохо.

Бурные годы гражданской войны не позволили мне получить высшего образования, но Челябинскому реальному училищу я обязан первыми навыками самостоятельной умственной работы.

Челябинск был окраинным городом, куда царское правительство ссылало учителей беспокойного образа мыслей. Это были знающие, благородные люди, и я до сих пор вспоминаю их с величайшей благодарностью. Политическая работа в Красной Армии стала моим университетом, она заложила фундамент дальнейшего моего формирования как работника умственного труда, да и писателя.

Мы сейчас много говорим о необходимости учебы у классиков, и правильно делаем, — я не верю, чтобы без любви к гениальным произведениям великой русской литературы, без систематического их изучения мог бы вырасти советский писатель.

Однако следует также сказать о том огромном значении, которое для воспитания и роста будущего писателя имеет современная ему литература. По своему опыту знаю, как может изумить и пронизать слово писателя-современника и в особенности сказанное им о современности. До того как это слово услышал, ты, оказывается, был все равно что немой, чувства и мысли теснились в тебе, но выхода им не было. И вот пришло слово, оно пришло со стороны, но стало твоим словом, ты твердишь его без конца и заучиваешь наизусть.

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косограм,
Желтой глины скудные пласты...

Как передать, что ощутил я, когда прочел это стихотворение! Словно воочию увидел я дальний, соединяющий Россию с Сибирью и проходивший через наш город, стелющийся с холма на холм тракт — подлинно «путь, открытый взорам». Битый камень и ярко желтеющие слои глины по обе стороны этого тракта, и весело рдеющие издали гроздья рябины... И ветер, особенный, вольный ветер, который, кажется, дует только в нашей раздольной стране.

«Стихи о России» называлась тоненькая, просто изданная книжечка в белой с зеленым обложке. Имя Александра Блока было мне и раньше знакомо, но только по этой книжке я узнал и навсегда полюбил его.

Я и до этого любил стихи и легко их заучивал. Но поэтические увлечения мои (если не говорить о классиках) были скоропроходящи: Надсон, Бальмонт, Игорь Северянин... Но вот началась война, свирепая и кровопролитная первая мировая война, и всю предвоенную жеманную поэзию словно ветром развеяло. Все оказалось легковесно, фальшиво и не по существу.

ву, пока эта тоненькая, белая с зеленым книжечка не сказала внятно и просто о том, что по-настоящему весело и может устоять против любого урагана: о родной природе, о русской жизни и о самой войне.

...На войну уходил эшелон...

И, садясь, запевали *Варяга* одни,
А другие — не в лад — *Ермака*,
И кричали *ура*, и шутили они,
И тихонько крестилась рука...

Сколько раз мы, мальчики, со смутными чувствами уважения и жалости, вины и беспокойства провожали в те годы солдатские эшелоны! И, как бы отвечая нам на эти чувства, поэт сказал:

...Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?

Чего только не было в этой тоненькой книжечке! Она предсказывала России «праздник радостный, праздник великий» и предугадывала его в «многоярусных корпусах завода», в «городах из рабочих лагуч». Она гневно и беспощадно обличала и отрицала.

Грешить быстыдно, беспробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И с головой, от хмеля трудной,
Прийти сторонкой в Божий храм...

Казалось бы все, что до Александра Блока было сказано в русской литературе против российского свинского мещанства и зверского капитализма, все было собрано в этом маленьком стихотворении, — такова концентрирующая, взрывчатая сила поэзии!

По-новому перечитал я после этой маленькой книжечки прозу Чехова и Горького. Их творчество с особенной остротой отвечало непосредственной потребности осознать сегодняшний день. Но разве нужно говорить только о таких великанах, как Чехов и Горький!

Все, что, например, писалось Федором Сологубом, оставляло меня холодным к нему, а вот роман его

«Мелкий бес», как живое изображение реакционной мешанской среды, запомнился на всю жизнь.

Ранние произведения Леонида Андреева я читал и перечитывал, почти как произведения Горького, а более позднее его творчество вызвало у меня глубокое разочарование.

Наше поколение росло в благоговении перед русской революцией 1905 года, облик русского революционера с детства был для нас идеалом. А тут вдруг из-под пера известного писателя появляются произведения, в которых мы с возмущением видели надругательство над разбитой революцией, глумление над образом революционера. А ведь подобного рода «произведения» то и дело появлялись в то время. Прочтешь очередную «новинку» и сначала даже не знаешь, что думать о ней. Только чувствуешь, как тебя словно дурманом опоили, особенно если «новинка» отличается литературными достоинствами. Ищешь вслепую, как если бы человеку приходилось наново угадывать свойства лесных ягод — то сорвешь смородину, а то наешься волчьих ягод. Но в этих поисках постепенно определялся литературный вкус.

Журнал «Нива» в одном и том же, кажется 1913-м, году давал приложением Куприна и Бунина. Рассказы Куприна я уже читал ранее, и по мере того, как приходили вложенные в очередной номер журнала эти кирпично-оранжевые книжечки, я хватал их и читал всё подряд. И мне все нравилось — Куприн мне казался в смысле художественной манеры прямым продолжателем творчества Льва Толстого.

Бледно-желтые книжки Бунина с изображением на обложке выющихся цветов я пока откладывал. Стихи Бунина я уже знал, и они мне нравились, но лучшего прозаика, чем Куприн, я в то время представить себе не мог. И вот, я помню, уже в конце года прочел я рассказ Бунина «Астма»...

Мало сказать, что он мне понравился. Выразить вкусовое впечатление бывает нелегко. Но когда после прозы Бунина я снова вернулся к Куприну, самая манера его показалась мне какой-то несобранной, произвольной.

В прозе Бунина было то, что до этого привлекало меня в Горьком, — жестокая правда о жизни, по преимуществу современной русской жизни. Но в ней было и то, что очаровывает в поэзии, — прямое и непосредственное проявление души, вздох, восклицание, живая интонация речи, переданная с той свободой, которая является преимуществом художественной прозы. Когда читаешь прозу Бунина вслух, испытываешь наслаждение, — речь звенит, она пружинит, в ней словно заключено электричество, она разнообразна и красочна. С открытием прозы Бунина у меня пробудился литературный вкус. Отныне я начал читать уже не только ради содержания, меня интересовало, как написано то или иное произведение.

Должен сказать, что эта способность разбираться в прочитанном проявилась прежде всего по отношению к творчеству моего тогдашнего кумира Бунина. Я еще не знал тогда слова «эпигонство», но, к своему огорчению, обнаружил у Бунина ряд произведений, которые мне показались словно бы уже прочитанными — не то у Тургенева, не то еще у кого-то из дворянских писателей девятнадцатого века. А такие произведения, как «Деревня», «Суходол», или такие, как «Братья» и «Господин из Сан-Франциско», для меня и до сих пор остались высочайшими вершинами русской литературы. С гордостью думаешь, что только русский писатель мог возвыситься до такого обличения империализма и колониализма, до которого поднялся Бунин в «Братьях» и «Господине из Сан-Франциско». Написанные несколько десятилетий назад, эти произведения кажутся созданными сегодня, в эпоху, когда против империализма поднялись все живые силы человечества и прежде всего тот многомиллионный мир южных и восточных стран, кровавая трагедия которого изображена в «Братьях».

С творчеством Горького я был уже знаком ранее, — теперь я научился рассматривать его произведения как образцы художественного мастерства. Помню, как поразила меня его повесть «Лето».

«Гляжу в окно, — под горою буйно качается нарядный лес, — косматый ветер мнет и треплет яркие

вершины пламенно раскрашенного клена и осин, сорваны желтые, серые, красные листья, кружатся и падают в синюю воду реки, пишут на ней пеструю сказку о прожитом лете, — вот такими же цветными словами, так же просто и славно я хотел бы рассказать то, что пережил этим летом».

Сейчас, по прошествии нескольких десятков лет, я вновь перечел эти строки и убедился, что свежее юношеское восприятие (впервые я прочел «Лето» примерно в 1916 году) меня не обмануло, что здесь в одном предложении, одновременно свободном и упругом, взволнованном и сильном, читатель сразу оказывается вовлечен во внутреннюю атмосферу этой замечательной повести, прославляющей самое лучшее, самое прекрасное в русском народе — его революционный размах, его беззаветную готовность поддержать борцов за правду, революционеров, в их борьбе с гнетом царизма. Этот гнет воплощен в повести в жуткой фигуре стражника.

Однако при всей зловещей выразительности этой фигуры она оставила впечатление некоторой выдуманности, в ней есть тот элемент «пугания», о котором гениально сказал Лев Толстой в применении к творчеству Леонида Андреева: «пугает, а не страшно». Я сам, конечно, не мог бы в те юные годы выразить, что именно меня не удовлетворяло в изображении стражника. Теперь мне ясно — в этой фигуре не хватало реалистического изображения, стражник больше похож на страшную куклу, чем на живого человека.

Есть одна особенность художественной манеры А. М. Горького, ярко сказавшаяся и в этом приведенном мною выше вступлении в повесть. Попробуйте прочесть это вступление вслух, и вы почувствуете, что ему присущ ритм — совсем не такой, какой свойствен всякому стихотворению, не внешний ритм, который можно выразить одной из систем стихосложения, а другой, как бы внутренний, очень сложный и при помощи системы стихосложения не выразимый, но несомненно чувствующийся ритм. Благодаря ему художественную прозу легче и приятнее читать.

Но ведь и в прозе Бунина есть тоже свой ритм, не похожий на ритм Горького... Мало того — он в различных произведениях Бунина различен, его слышишь то явственнее, то слабее. А вот «Петербург» Андрея Белого весь построен ритмически, и ритм этот можно выразить внешне, как ритм стихотворения. Сначала эта особенность прозы Андрея Белого меня очень сильно привлекала, и только позднее заметил я, что эти внешне отчетливо выраженные ритмы Андрея Белого много беднее тех внутренних ритмов, которые, подобно глубокому подводному течению, ощущаются в произведениях таких могучих художников-реалистов, как И. А. Бунин и А. М. Горький.

И все же знакомство с «Петербургом» А. Белого, произведением значительным, проникнутым ненавистью к чиновничье-бюрократическому укладу царского строя, много дало мне. Только после революции я, перечитав «Петербург», увидел, что в стиле Андрея Белого присутствуют изломанность и неврастеничность — все то, что точнее всего можно передать словом «декаданс» и что в какой-то мере отражало жизнь некоторых слоев интеллигенции дореволюционной России, их психологию, изломанную и неврастеничную.

Когда началась революция, бурный ход ее событий сразу же захватил меня, чтение художественной литературы отодвинулось, появился интерес к литературе политической. За первый год революции я прочел многие из тех книг, которые на всю жизнь определили направление моего умственного развития. Из них стоит назвать исторические работы Маркса «18 брюмера Луи Бонапарта» и «Классовая борьба во Франции», «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса, «К развитию монистического взгляда на историю» Плеханова, «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленина. Именно эта книга определила мои политические взгляды и к началу 1920 года привела меня в партию. Помню, как по прочтении ее я по-новому и более глубоко понял и оценил «Братьев» и «Господина из Сан-Франциско» Бунина.

Чтение марксистской литературы помогало мне

разбираться в художественных произведениях, я стал с большей остротой воспринимать прочитанное и выделять те произведения, которые, порой помимо желаний их авторов, революцию подготавливали.

Мои художественные вкусы не изменились с революцией, но, пожалуй, стали определеннее и строже. Мои требования к себе стали выше. Все, что я писал до революции и в первые годы после нее, меня самого больше не удовлетворяло; налет декадентства, который я чувствовал в своих произведениях, стал мне неприятен. Все сильнее тянуло меня к художественной прозе реалистического направления. Замыслы мои издавна носили размах поистине «наполеоновский». Еще до революции представлялась мне какая-то грандиозная эпопея, которая должна была начинаться во время первой мировой войны. Я смело брался предсказывать исторические события, — начало революции в России я почему-то относил к 1926 году.

Приход настоящей революции развеял все эти ребяческие мечтания! Но все же я мечтал написать эпическое произведение, в котором изображались бы три первые года революции. Мне представлялось, что сюжет «эпопеи» должен охватить весь Советский Союз, для чего нужно разослать героев по всему Союзу.

В 1920 году я почувствовал, что в моих намерениях по поводу эпопеи (на три года и по всему Союзу) есть что-то от моих ребяческих замыслов, что-то незрелое, неясное. В таком состоянии постоянных поисков, внутреннего напряжения прошла для меня вся зима 1920—1921 года в родном Челябинске.

Я вел это время будничную работу в политотделе, работал как всякий рядовой коммунист, но в то же время непрестанно и напряженно всматривался и — думаю, что можно так сказать, — вчувствывался во все, что творилось вокруг.

Челябинск — мой родной город, и знал я его с детства, так же как и губернию, центром которой он являлся. Этот край граничил с казачьими станицами, которые в первый год советской власти служили опорой белому атаману Дутову. Но не следует думать,

что среди казачества не происходило в то время классовой дифференциации: оренбургские казаки дали в Красную Армию ряд полков, которые носили имя Стеньки Разина и Емельяна Пугачева, они дали такого замечательного революционера, как П. Н. Трякин, и таких доблестных командиров гражданской войны, как братья Каширины. Не случайно один из героев «Недели», Караулов, казак. В Челябинске сходились три железнодорожных пути — на Самару, на Сибирь, на Екатеринбург. Через Челябинск в центральные промышленные районы шел хлеб из Сибири. Да и наш Приуральский край сам по себе богат был хлебом. По всем этим причинам обладание Челябинском было очень важно для советской власти, что создавало для челябинских коммунистов, для рабочих и сторонников советской власти среди интеллигенции какой-то особенный подъем духа, выражавшийся в постоянном ощущении, что наш город и край занимают значительное место в общем ходе социалистической революции.

В непосредственной близости мировой революции мы все были тогда уверены. Если нас, политработников, спрашивали красноармейцы, когда произойдет международная социалистическая революция, мы с полной уверенностью отвечали: в любой день, может быть, завтра! А на вопрос о том, когда у нас в России установится социализм, мы отвечали: это произойдет через три-четыре года!

Мы искренне считали, что так оно и будет. В тот период были созданы трудовые армии. Коммунистические субботники — великий ленинский почин — уже возникли и распространились по всей стране. Теперь наряду с революционными и красноармейскими песнями гражданской войны мы разучивали новые:

Вчера винтовка, нынче плуг,
Работай, друг, работай, друг!...

Мы, в особенности молодые коммунисты, были уверены, что каким-то большим и дружным натиском, вроде как на фронтах, разом поднимем наше хозяйство чуть ли не до уровня коммунизма.

Когда на XI съезде Ленин говорил о том, что без фантазии в нашей стране коммунизма не построишь, он имел в виду также и такие фантазии. Эти мечты и фантазии согревали душу коммуниста, они одухотворяли ежедневную и порою довольно будничную работу моих партийных товарищей — ближайших друзей, работников политотдела, коммунистов из советских организаций и учреждений, чекистов, продовольственников, журналистов, работников местной газеты.

Период, который тогда переживали страна и партия, был трудный, он требовал от членов партии какого-то нового, другого героизма, чем период гражданской войны. Весной 1921 года у нас в Челябинске как-то разом обострились все затруднения. Примерно в феврале 1921 года на общегородском собрании был сделан доклад. Ничего особенного этот доклад не содержал, в нем приведены были цифры, свидетельствующие о том, что у нас все как будто бы благополучно и даже достигнуты кое-какие успехи. И тут один из руководителей нашей парторганизации, товарищ Локоцков (он, кажется, был тогда председателем губпрофсовета), взял слово. Он сказал, что докладчик неправ, что не так у нас все благополучно, как это получается по докладу. Товарищ Локоцков не был упадочником и маловером, он только заставил нас взглянуть в лицо действительному положению вещей. Это был трезвый, мужественный, спокойный взгляд в лицо правде. Тон этого выступления, характер этого коммуниста, даже внешность Локоцкова нашли воплощение в «Неделе» в образе Робейко.

Предостережение товарища Локоцкова оправдалось. В скором времени началось большое кулацкое восстание, охватившее всю центральную Сибирь. Восставшие захватили Курган, Петропавловск, прервали сообщение с центром, хлеб в промышленные районы не мог вывозиться, угроза голода вновь нависла над столицами и центральными промышленными районами страны. Тогда снабжение центра хлебом взяли на себя те губернии, которые не были отрезаны восстанием от столиц, и в частности Челябинская губерния. Мы отдали центру запасы нашего хлеба, что обостри-

лю продовольственное положение губерний и послужило толчком для новой волны недовольства, для новых вспышек кулацких восстаний.

Я помню, как некоторые неустойчивые элементы в парторганизации под давлением трудностей говорили: «Как мы можем отдавать наши запасы хлеба? А сами что будем есть?» И вот, как сейчас помню, один из руководителей парторганизаций выступил на общегородском собрании и сказал: «Ну что ж, поддержим центр всем, что имеем! Сами ремни подтянем, а пролетарские центры спасем от голодной смерти!»

Да, это было героическое время!

После долгого заседания или собрания выходишь на улицу и сразу чувствуешь, что весенний вольный ветер ходит по городу, и с какой-то особенной силой ощущаешь свою молодость. И все, что дает весна и молодость, все готов отдать борьбе за коммунизм, работе. Но как ни велик душевный подъем, живешь-то ведь не в чужом, а в родном городе, где знаешь в лицо чуть ли не каждого встречного. Видишь, что городские обыватели продолжают свою искони неподвижную жизнь, и все время ощущаешь противоречие между пафосом конечных целей, которыми, говоря высоким слогом, горит твоя душа, и этой неподвижной, косной и враждебной тому, чем ты живешь, жизнью.

И особенно остро чувствуешь несоответствие того, что существует, и того, что будет нами создано и чему посвящено было сегодняшнее заседание или собрание.

Так возник мотив начала «Недели»: коммунисты идут на собрание. Хотя идут люди различные, индивидуальности их еще не намечены, но всех освещает одно и то же утреннее солнце. Помню, как я обрадовался, когда нашел этот образ.

И вот однажды, в мартовский день, примерно такой, какой описан в «Неделе», я пришел домой рано. Были весенние сумерки, и мне так хотелось выразить во всей полноте богатство своих противоречивых впечатлений. Я взял в руку перо, но у меня ничего не вя-

залось. И я написал: «Какими словами рассказать мне о нас, о нашей жизни и нашей борьбе!»

Эта фраза сразу же повела за собой другую: «Словами не рассказать, а вот если бы у меня была такая палитра, на которой в виде красок лежало бы все, что я вижу...»

Так сложился этот отрывок — нечто вроде стихотворения в прозе. Но это все же не было то, что мне хотелось выразить. Общий тон этого отрывка был слишком приподнят. По-настоящему мне нравилась в нем только первая фраза. В этом художественно слабом отрывке было заключено в свернутом виде все будущее содержание «Недели». А первая фраза его дала мне эпитафию к «Неделе», сохранившийся и по настоящее время.

Я все время пытался писать о том, что меня окружало, чем я жил, что меня волновало. Но в этих набросках от меня вначале ускользал «дух времени», ускользало основное движение жизни, какой-то ее особый ритм, ее, если можно так сказать, походка. Когда я подражал Белому, то ощущал вычурность, взвинченность, изломанность, — в таких набросках не чувствовалось, что то великое дело, которое мы делали, есть реальное и даже будничное дело нашей жизни. Традиция Бунина была мне ближе. Но когда я следовал ей, все выглядело словно остановившимся, пропадала та динамика, которую принесла революция.

В одном дошедшем до нас из Москвы журнале или альманахе я прочел рассказ Пильняка «При дверях». Там изображен был маленький уездный городок, приблизительно на той же восточной окраине России, где находился Челябинск, и показаны примерно такие же трудности эпохи. В этом рассказе даже передано было ощущение новизны советского порядка, и все же, прочитав рассказ Пильняка, я сразу же почувствовал внутренний протест.

Мне тогда казалось, что автор этого по времени едва ли не первого произведения советской художественной прозы решил сознательно оклеветать революцию и советскую жизнь. В рассказе изображалось то,

чего я совсем не видел вокруг себя: обывательские вечеринки с пьянством и с интеллигентским принципиальным и скучным развратом, который перемежался глупым резонерством о революции и контрреволюционными философствованиями по поводу исторических судеб России и т. д. Во всем этом участвовали люди, которых автор называл коммунистами, но которые на коммунистов, моих друзей и товарищей, совсем не походили. В какой-то неправильной, искаженной перспективе рисовались советские учреждения.

И все же эта вещь Пильняка была для моего художественного развития и роста очень важна — она дала толчок к написанию «Недели». Благодаря ей все мои ранние неопределенные мечтания и раздумья, наблюдения и образы как бы пришли к конкретности.

«Тебе уездный городишко в наши дни представляется грязным свинством, — мысленно говорил я Пильняку. — А он, этот уездный городишко, овеян ветрами великой гражданской войны, овеян всей мировой революцией. Он сейчас насквозь героичен, этот маленький городишко... И там, где ты видишь грязных скотов, там я вижу героев, людей Коммунистической партии!»

Так, во внутренней полемике с писателем-современником Пильняком, формировалась «Неделя». А в 1923—1924 годы, когда «Неделя» была уже напечатана, в полемике с ней, полемике иной, дружеской, родилось в свою очередь значительное произведение двадцатых годов — «Россия, кровью умытая» Артема Веселого¹.

Я привел эти два примера, чтобы показать, какое огромное значение при формировании писателя, особенно молодого, имеет активное знакомство с современной ему литературой, когда произведение современника или вызывает возражение по самому существу своему, как это было у меня в отношении к Пиль-

¹ См. напечатанный в этом сборнике литературный портрет Артема Веселого — «Рожденный революцией».

няку, или стремление о том же сказать по-своему, по-иному, показать с другой стороны те же события, как это было у Артема Веселого по отношению к «Неделе».

Весной 1921 года Приуральский военный округ, центр которого находился в то время в Екатеринбурге (ныне Свердловске), организовал окружные политические курсы, и меня послали работать на эти курсы.

Челябинск отодвинулся в прошлое. Екатеринбург — столица Урала — тогда был гораздо больше и значительнее Челябинска. И тут, как раз тогда, когда Челябинск отодвинулся в прошлое, я подумал: «А почему бы мне не описать со всей реальностью такой вот город, вроде Челябинска? Ведь он будет типичен для нашей страны, нашей эпохи. Разве то, что я пережил, передумал, перечувствовал в Челябинске, не может лечь в основу художественного произведения? Зачем охватывать сюжетом весь Советский Союз, когда все действие можно сконцентрировать в одном городе? Можно взять один год, один месяц. И даже одну неделю. И в одну неделю вложить развитие основного конфликта эпохи, и за одну неделю выразить все напряжение событий!»

И когда я стал думать и вспоминать об этой полной напряжении зиме, прожитой мною в Челябинске, основная коллизия эпохи выделилась легко и естественно: чтобы засеять поля, надо привезти зерно, чтобы привезти зерно, нужно добыть топливо для железной дороги, а добыть топливо и привезти зерно можно только с помощью красноармейцев, которых для этого нужно вывести из города. Но если вывести из города воинские силы, это облегчит руководителям контрреволюционного мятежа захват города. И все же партийная организация для решения главной задачи выбирает этот трудный, но правильный путь и ценой больших и кровавых жертв задачу решает. И все эти события вполне укладывались в одну неделю...

И как только я нашел эту основную коллизию, сразу же обозначилась расстановка героев будущего произведения. Образ главного героя «Недели», Ро-

Бейко, возник уже ранее, в основу его легли некоторые черты характера Локоцкого.

Почти одновременно сложились образы Климина, Мартынова и Горных. Основу этих характеров дали действительные лица, но все они так же, как и Робейко, связаны с ощущением прихода весны, предчувствия любви, близости ее, воспоминания о ней.

Этой, на всю жизнь памятной мне, весной я полюбил девушку. Обстоятельства сложились так, что, едва приехав в Екатеринбург, я простился с ней, так как она уехала на другой конец России. Но все мои думы и чувства были проникнуты ею. То, что Климин испытывает к Симковой, — это в какой-то степени выразило мои чувства к ней. Но первые записи о Симковой я сделал еще в Челябинске, в первых черновиках намечена была молоденькая девушка, сельская учительница в глухом углу Пермской губернии. Вот этот-то довольно бледный образ превратился в двух друга на друга непохожих девушек — активную коммунистку Анюту Симкову и красноармейскую учительницу Лизу Грачеву, беспартийную и даже религиозную девушку.

Бывают в жизни такие моменты, которые запоминаешь навсегда. Так запомнился мне тот теплый и тихий вечер необычайно ранней и жаркой весны 1921 года, когда я на шатком, вынесенном на зеленый двор столике стал записывать то, что уже несколько месяцев теснилось в моей душе. Рядом пошумливал маленький самовар, я торопливо поужинал, — небольшой ломтик плохо пропеченного черного хлеба с постным маслом казался лакомством, — и, запивая морковным чаем свою вечернюю трапезу, записал первую фразу будущей повести:

«В просветы перламутровые промеж серых недвижимых куч облаков синее радостное небо...»

Это «промеж» довольно долго оставалось в тексте «Недели», только в тридцатых годах оно показалось мне манерным и я заменил его простым словом «между».

В те первые часы работы над будущей повестью у меня на передний план все вылезала фигура вла-

дельца аптеки Сенатора, которого я взял прямо с натуры. Это он стоял «на пригорке, где лежит одинокий обветренный камень», это его глазами сначала показывал я коммунистов, которые идут на собрание, и понятно, что Сенатор относится к ним с ненавистью.

«Но почему нужно начинать повесть с фигуры оголтелого врага?» — спросил я себя и вместо Сенатора поставил на пригорок Робейко.

Итак, Робейко должен стоять на пригорке в то время, когда все коммунисты спешат на собрание? Ведь это как-то нарочито!

Солнце уже село, но темнело медленно, вечер все длился и никак не мог кончиться... И вдруг я, в который раз перебеливая эту первую страницу, нашел образ весны. Он представился мне сразу: словно въявь увидел я девушку, которая задремала, положила голову на колени и сидя уснула где-то на далекой лесной поляне.

То ли это была Аленушка с известной картины Васнецова, то ли отзвук стихотворения Бунина:

В стороне, далекой от родного края,
Девушкой-невестой снится мне весна...

То ли представилась мне та девушка, которую я любил. Но как только этот образ родился, все, что я писал, сразу налилось жизнью.

Вслед за ненавистным Сенатором исчез с пригорка и дорогой мне, но совсем здесь не нужный Робейко. Оказывается, это я сам, но никем не видимый, стоял на пригорке. Это я вывел сюда читателя, показал ему коммунистов, идущих на собрание, и давно уже найденный и облюбленный образ — «словно всех их освещает одно и то же утреннее солнце» — встал на место.

Вся эта первая глава написалась сравнительно легко, во время нескольких таких вот ясных и теплых вечеров — другого свободного времени у меня тогда не было.

Когда спустя некоторое время начался голод в Поволжье, Комитет помощи голодающим выпустил в Екатеринбурге газету, сбор от продажи которой пред-

назначался в фонд помощи голодающим. Газету эту выпускали мои друзья. Я прочел им первую главу моей будущей повести. Название «Неделя» еще отсутствовало, глава эта была напечатана под заголовком «Будни нашей борьбы».

Труднее мне давалась работа над второй главой, в которой изображено заседание укома. Первый набросок этой главы начинался так:

«С самого начала Климин не придавал практического значения плану Робейко».

Далее шло конспективное изложение речи Робейко, которая давалась сухо, протокольно. Во втором варианте главы вдруг появился Караулов, такой, каким он утвердился в «Неделе». Этот второй вариант был конкретнее, но тоже остался не развернутым, сухая протокольность первой записи, где только лишь в схеме были намечены позиции Робейко и Караулова и кратко сказано, что Климин поддержал Робейко, еще присутствовала в нем. Только в третьем варианте появился в этой главе важнейший мотив повести, придавший ей весомость: ощущение «раздольного края, покрытого тихим пологом ночи, — поля, пробуждающиеся под побуревшими сугробами, поля, ждущие сева, мужики, что в погожие дни собираются у заваленок и толкуют о погоде, об урожае, а потом вспоминают, что пусто в амбарах, что нету семян, и расходятся молча и ждут спасения от города...»

Позднее я иногда слышал упреки за то, что в повести моей не показан народ, а только руководящая головка партийной организации. Мне этот упрек не представляется серьезным, так как ясно, что коммунист только тогда может называться коммунистом, если душа его обращена к жизни народа и исполнена чувством ответственности перед людьми и перед страной. Если у коммуниста этого чувства нет, а есть лишь вертлявое жонглирование марксистской терминологией, — грош ему цена.

Кстати сказать, изображение именно этого качества души коммуниста, его ответственности перед народом и перед страной имело прямое отношение к возникновению метода социалистического реализма, а

возник он как проявление небывалой новизны нашей молодой литературы, как результат ее совокупного труда, весьма разнообразного по своему индивидуальному выражению в творчестве различных писателей.

Тот двадцатидвухлетний юноша, который трудился над своей первой повестью, был в литературе очень неопытен. Помню, как долго мучился я, пока не сделал простого открытия, что писать лучше всего не на двух сторонах бумажного листа, а на одной его стороне, иначе, по многу раз переноса с места на место какой-либо отработанный кусок текста, устанешь бесконечно его переписывать и запутаешься...

А как не хотелось оставлять чистой оборотную сторону листа — не хватало бумаги. Ведь первые варианты «Недели» я писал на оберточных листах, предназначенных для развески чая, со штампом фирмы Высоцкого.

Работать приходилось мне в условиях довольно трудных. Я был тогда начальником учебного отдела окружных военно-политических курсов. Летом 1921 года в результате разрухи, принесенной гражданской войной, и неурожая начался голод. Паек на курсах был уменьшен до полуфунта в день, то есть до двухсот граммов.

Одновременно с тем, как писалась «Неделя», я вел довольно ответственную работу — руководил всей учебной, а отчасти и политической жизнью курсов в период перехода к нэпу. Приходилось много выступать, поэтому для моей литературной работы оставалось чрезвычайно мало времени.

Обычно я писал поздно вечером или рано утром. Было лето, утром я писал до начала занятий, вечером — по возвращении домой.

Я не писал по порядку, одну главу за другой. Общий замысел был мне уже ясен, — я писал то, что мне представлялось наиболее ярко, переходил от начала к концу, потом к середине. Но в процессе этой — как будто бы беспорядочной работы шло дальнейшее уточнение содержания будущего произведения.

Помню, что с особенной охотой работал я над от-

ношениями Матусенко с Мартыновым. Матусенко — это, кажется, первая фигура приспособленца в советской литературе. И то, что Мартынов, коммунист-интеллигент, из-за абстрактности своего мышления не может разглядеть рядом с собой приспособленца и шкурника, мне казалось жизненно верным, и очень хотелось показать это.

Во время работы над повестью я стремился к наибольшей типизации и драматизации изображаемого. Город Челябинск никогда не был взят белобандитами. Я думал, что острее и характернее будет, если я покажу город, который бандитами был взят. Но для этого следовало несколько изменить его географическое положение.

Челябинск — это бойкий железнодорожный центр, а город, изображенный в «Неделе», соединяется со всей страной лишь железнодорожной веткой, его бандитам взять легче. Так образовалась драматическая коллизия, которая легла в основу «Недели».

В конце лета я заболел и получил четырехмесячный отпуск. Провел я его в Москве, куда в то время переехал мой брат. После отпуска я тоже остался в Москве, перевелся на педагогическую работу в одну из высших военных школ и примерно с декабря 1921 года снова взялся за повесть.

К этому времени у меня все уже было обдумано и много написано. Перечитав все написанное, я обнаружил много мест, которые мне не нравились, но все же убедился, что я на правильном пути. Дописать до конца — вот задача, которую я себе поставил. Через все колдобины и буераки гнать повествование к концу — так решил я. И начал с того, что начисто переписал все, что уже было мною сделано, и выправил первые четыре главы повести сюжетно и стилистически.

Но, продолжая работу над повестью, я вдруг обнаружил, что не могу продолжать писать ее тем приподнятым, почти ритмическим складом, как она писалась до этого.

Если вы прочтете главы, посвященные самому восстанию и его ликвидации, вы почувствуете, что

написаны они в ином тоне и стилистической манере, чем первые главы, в которых ритм выражен более явно. С пятой главы повествование становится свободнее, куски с определенно выраженным ритмическим складом попадают реже. И только последняя, седьмая глава была написана так, как была задумана ранее: я закончил «Неделю» описанием партийного собрания, которое как бы перекликалось с тем собранием, которым повесть начиналась, и вернулся, таким образом, к стилистическому строю первых глав.

Чем обусловлено было это? Может быть, тем, что когда я перешел к изображению самого восстания и в повести возобладал элемент драматический, он потребовал более свободной манеры? Когда я писал первые главы, мне выражение «который» казалось прозаическим и я старался избегать его или же заменять выражением «что». А когда стал описывать самый ход восстания, я увидел, что подобного рода замена порою придает фразе манерность, искусственный характер. И я восстановил слово «который» во всех его правах.

Я никому ничего не говорил об этой своей работе. Мне несколько раз пришлось из-за жилищной тесноты менять место жительства; несколько ночей подряд переписывал я черновики в общежитии Свердловского университета, где жили мои приятели. На их любопытствующие вопросы я отвечал, что пишу дневник.

В военной школе, где я работал, также никто ничего не знал о том, что я по вечерам пишу повесть. Машинистка, которой я диктовал свою вещь по вечерам, хранила, по моей просьбе, строгое молчание.

Когда же комиссар школы, мой старший друг Вячеслав Шубин, как-то зашел ко мне вечером и, застав меня за работой, спросил, что я пишу, я ответил ему, что готовлюсь в Институт красной профессуры. Это высшее учебное заведение, в свое время сыгравшее немалую роль в воспитании партийно-пропагандистских кадров, было тогда только открыто.

— Что ж, это ты ладно придумал, — одобрительно сказал он своим окающим, протяжным вятским говором. — А тема какая?

Придумать нужно было тут же, немедленно.

— Советская власть и ее отношение к крестьянству, — ответил я: в связи с «Неделей» я часто думал над этими вопросами.

Высокий, с продолговатым бледным лицом и большими голубыми глазами, затянутый широким офицерским ремнем, в сером военном костюме и тапочках, которые он носил дома, отчего ноги его казались очень тонкими, он удовлетворенно кивнул головой.

— Тема хорошая, но ее надо переформулировать. В твоей формулировке крестьянство берется как нечто внешнее по отношению к нашей власти. Меж тем мы не зря называем нашу власть рабоче-крестьянской. Это и есть конкретно-историческая форма диктатуры пролетариата в нашей стране.

Вячеслав был очень начитан в марксистской литературе, я уважал его и всегда внимательно выслушивал все, что он говорит. Но сейчас мне хотелось, чтобы он скорее ушел, а мне бы писать дальше.

Он спросил, известны ли мне такие-то и такие-то работы Ленина по данному вопросу, пожелал успеха и ушел.

С тех пор он иногда спрашивал меня, как идет подготовка в институт.

Так, в полной тайне, дописал я свою первую повесть.

Итак, «Неделя» закончена и отдиктована, что принесло мне немалую пользу: самому прочесть свое произведение вслух и перед тем, как сдать в печать, проверить его звучание — это большое дело. Еще за долго до окончания работы я уже знал, куда именно отнесу свое произведение. То был самый крупный тогда, недавно созданный по указанию Владимира Ильича Ленина, журнал «Красная новь». В первом номере этого журнала была напечатана знаменитая, имевшая эпохальное значение для истории советского государства работа В. И. Ленина «О продналоге». На страницах этого журнала уже появился ряд произведений молодой советской литературы, в частно-

сти «Партизанские повести» Всеволода Иванова, произведения, оставившие глубокий след в моей душе, ставшие любимыми произведениями советского народа.

В апреле 1922 года с огромным волнением принес я свою рукопись в редакцию журнала «Красная новь». Ее при мне зарегистрировали, спустя две недели я должен был прийти за ответом и на этот срок постарался забыть о ней.

Ровно через две недели, в час пополудни, воспользовавшись перерывом в занятиях нашей школы, я отправился в редакцию. Секретарь редакции, навеки мне запомнившаяся, довольно уже пожилая, с добрым, измученным лицом женщина, как-то особенно взглянула на меня темно-кариими глазами и сказала:

— Пройдите к редактору...

Но редактора я не застал. Меня встретил Сергей Антонович Клычков, который ведал литературно-художественным отделом журнала. Высокого роста, с продолговатым лицом и длинными, видимо жесткими, прямыми и темными волосами, он мне показался похожим на индейца. Но глаза у него были русские, небольшие, быстрые, зеленоватые, очень внимательные.

— Значит, это вы Либединский? — спросил он. — Ну ладно, ваша вещь хозяину нашему (он имел в виду редактора журнала А. К. Воронского) понравилась. И мне тоже. По всему, конечно, видно, что вещь первая. Неровная очень... — и он выразительно показал ладонью, что это значит «неровная». — Пока писалось с охотой, все хорошо шло, а чуть наткнемся на трудное место — писать не хочется, и сразу все вкривь, вкось, как попало. Надо уметь трудиться, такое наше дело!..

Обвинение в отсутствии трудолюбия мне показалось обидным, и я возразил, что некоторые места я перерабатывал по многу раз.

— Некоторые места... — не без ехидства повторил он. — Те, которые нравятся, свои любимые места. А которые не выходят, плохо написались, ведь не хочется их трогать? Верно?

Он тут же выдвинул ящик, достал рукопись и

мгновенно нашел то место, которое написано было «как попало». Кажется, это было место, где описывалась встреча Климина и Стальмахова в тюрьме.

— Здесь они у тебя вспоминают о первой своей встрече. Почему? Да только потому, что ты, когда писал это место, тут же самый эпизод придумал. А место ему совсем не здесь, а раньше... Да что ты стоишь? Садись. Научили вас в армии тянуться!.. А вот тут у тебя от настоящего времени к прошедшему речь перескакивает, — так нельзя. Но это нетрудно выправить. Нет, переделывать не будем, только подсократим малость. Как думаешь?

Я кивнул головой соглашаясь.

— А вот скажи, пожалуйста, что еще за манера: вдруг, когда уже повествование идет к концу, выскакивает совсем незнакомое читателю действующее лицо?

— Это учитель Константин Петрович? Разве он не живой получился?

— Живой, не живой! Что за ерунда! Ну, скажем, живой и даже живее некоторых других героев вашего произведения. Но нельзя же так пугать читателя! Он уже благополучно дочитывает книгу, и вдруг — бух! Как из-за угла, выскакивает новая фигура...

Я молчал. Взволнованный тем, как легко дается мне этот первый успех, очарованный простым и ласковым обращением этого своего первого наставника в литературе, я далек был от того, чтобы завести с ним спор, хотя при всей убедительности его критики согласиться с ним не мог.

— Ну да ничего, — сказал он, как бы желая меня подбодрить. — Фигура эта при всей ее живости убирается из повести очень легко, я сам ее выну.

Так оно и было сделано. В первом варианте, напечатанном в альманахе «Наши дни» № 2, Константин Петрович отсутствует, я восстановил этот кусок уже в отдельном издании. Вправе ли я был вывести Константина Петровича только в конце повести на том лишь основании, что он ранее мне не нужен? Канонов здесь, конечно, не существует. В той картине общества, которая нарисована в «Неделе», этой фигуры интелли-

гента явно не хватает, и отказаться от нее из-за соображений сюжетно-композиционных было бы неправильно. Но когда я постарался втиснуть Константина Петровича куда-либо в первые главы, у меня ничего не вышло. Мало сказать, что фигура была бы там лишней, она нарушила бы лад повести, плавность ее поступи.

Такие же соображения удержали меня и от того, чтобы дать первую встречу Климина и Стальмахова где-то в начале повести, в экспозиции ее. И разве встреча в тюрьме не могла исторгнуть из глубины их душ воспоминания о первом знакомстве?

К сожалению, у меня не сохранилось экземпляра со всей остальной правкой Сергея Антоновича Клычкова. Правка эта была невелика, но помню, с каким вниманием рассматривал я каждое его исправление: то слишком длинное предложение разбивалось на два и получалось лучше; то эпитет, слишком напыщенный и лишний, убирался, — все делалось бережно и всегда к стати.

Впоследствии литературная борьба развела нас с С. А. Клычковым далеко друг от друга, но я сохранил к нему теплое чувство благодарности и не раз и лично и в печати выражал его.

После той редакционной правки, которой «Неделя» подверглась в «Красной нови», следы моей неопытности все еще сохранялись в первых изданиях. Так, например, о том, как коммунисты после партийного собрания поют «Интернационал», было сказано, что «эта песня красным карающим ангелом летит над городом». Художнику, оформившему первое отдельное издание «Недели», так понравился этот ангел, что он поместил его, багрово-красного, с факелом в руке, на обложке книги, после чего я совсем убрал его из текста.

II

При первой нашей встрече в редакции тогдашний редактор журнала «Красная новь» А. К. Воронский сообщил мне, что моя повесть «Неделя» пойдет не в

журнале, а в альманахе «Наши дни» № 2. Я не протестовал, вопрос о месте напечатания казался мне мало важным. Опыт убедил меня впоследствии, что я был прав.

Отпечаток недавних военных лет еще лежал тогда на всех коммунистах. У одного на голове была папаха, другой подпоясывался ремнем, третий носил сапоги, многие, уже расставшись с армией, продолжали носить военную форму, — я сам довольно долго оставался верен ей. А. К. Воронский был одет «пограждански», как тогда выражались, в неказистой, но аккуратной серенькой тройке, в кепочке... Кожа на лице какая-то серая, усталая, во взгляде крупных, внимательных глаз сказывался живой, наблюдательный ум. Мне было уже известно, что Александр Константинович давний член партии, старый большевик, и я спросил его, есть ли такое место, где писатели-коммунисты встречаются друг с другом.

— А зачем это нужно? — спросил он с явным неудовольствием и недоумением.

Меня удивил этот ответ. То, что писатели-коммунисты должны встречаться для обсуждения вопросов литературы, казалось мне чем-то само собой разумеющимся. И, помолчав, я сослался на Устав партии, предусматривающий создание партийных ячеек в беспартийных организациях.

Воронский быстро взглянул на меня, и улыбка появилась на его бледных и полных губах.

— Это совсем другое, — сказал он. — Наибольшее количество писателей-коммунистов, наверное, находится в группе «Кузница», но ведь вы пишете совсем иначе, чем они, — реалистически. Да и почему коммунистам нужно объединяться отдельно от беспартийных? — спросил он. — В настоящее время лучшие произведения написаны как раз писателями беспартийными, — вам, кстати, есть чему у них поучиться. Так еще долго будет, что писатели беспартийные будут писать лучше коммунистов.

Он назвал ряд писательских имен, из которых мне знакомы были только Пильняк и Всеволод Иванов. Конечно, я, сам не сознавая того, уже учился у обо-

их. Но признаваться в этом мне не хотелось, и я, не вступая в спор по существу, робко продолжал утверждать о необходимости объединения писателей-коммунистов. Чуть опустив веки на свои крупные глаза, мой собеседник покачивал головой и явно выражал несогласие со мной.

— Все эти группы и объединения только вредят литературе, но сами писатели еще не доросли до понимания этого, — сказал он.

Я ушел озадаченный. Спорить с почтенным, умудренным опытом редактором и литератором я не решился, а согласиться с ним не мог. В этом разговоре таилось, конечно, зерно наших будущих литературно-политических разногласий.

В начале осени 1922 года, когда я с очередным рапортом вошел в кабинет комиссара Высшей военной школы связи, Вячеслав принял мой рапорт и спросил, показывая мне газету, не помню — «Известия» или «Правду»:

— Погляди-ка — здесь какого-то Либединского называют, уж не родственник ли твой?

Я взял газету. Это была статья А. К. Воронского о литературе, в ней наряду с именами других молодых писателей упоминалось и мое имя.

— Это обо мне! — ответил я со смущением и, понятно, с некоторой гордостью.

Мы с Вячеславом жили рядом, дружили, он имел основания удивляться.

— Помнишь, ты зимой пришел ко мне и спросил, что я пишу, — я ответил, что готовлюсь в Институт красной профессуры?

Вячеслав взглянул на меня с оттенком одобрения. Человек добрый и благородный, он сам был очень сдержан и ценил сдержанность в других людях. Некоторые особенности его характера и облика были мною воспроизведены в повести «Комиссары» в образе начальника военно-политических курсов Арефьева.

Несколько дней спустя, под вечер, Вячеслав постучал ко мне в комнату. Слабое оживление было на его обычно спокойном и бледном продолговатом лице.

— Зайди ко мне, — сказал он, — я познакомлю тебя с давним приятелем моим Тарасовым-Родионовым.

— Это комиссар «Выстрела»? — спросил я (так сокращенно называлась тогда Высшая стрелковая школа).

— Да. Только он сейчас с военной работы ушел и тоже писателем стал. Хочет с тобой познакомиться.

У Тарасова-Родионова лицо монгольского типа, с узенькими, продолговатыми, блестящими черными глазами, умно-хитрыми и добродушными; жиденькая, какая бывает у татар, черная бородка, обрамляла лицо. Добродушно- приветливая, но хитрая усмешка. Суетливость в манерах, живость в разговоре. Таково было мое первое впечатление от Александра Игнатьевича Тарасова-Родионова. Он был издавна дружен с Вячеславом Шубиным, но они совсем не походили друг на друга. Впрочем, не это ли несходство лежит подчас в основе дружбы?

Александр Игнатьевич сразу поразил меня своей осведомленностью в литературных делах. От него я узнал, что в старейшей группе пролетарских писателей «Кузница» в настоящее время наметились разногласия, что некоторые видные «кузнецы» — он назвал Дорогойченко, Родова, Филипченко — собираются уйти из «Кузницы» и намерены основать новую группу.

— В которую и нам с тобой следует вступить! — заключил он.

Тарасов-Родионов назвал имена молодых комсомольских поэтов — Безыменского и Жарова.

— А Воронский? — спросил я.

— Воронский? С ним нам не сговориться, он человек, придерживающийся в искусстве реакционных и даже упадочных воззрений.

Вячеслав с этим не согласился и сказал, что он внимательно читал статьи Воронского и они кажутся ему по-настоящему марксистскими.

— И поскольку я помню статьи Плеханова об искусстве... — говорил Вячеслав.

— Ну, знаешь, Плеханов тоже не бог! — перебил его Тарасов-Родионов. — Нет, Вячеслав, ты этими во-

просами всерьез не занимался и судить о них не можешь...

И Тарасов-Родионов стал говорить о том, что первым последствием перехода к нэпу будет обострение идеологической борьбы, что борьба эта обязательно должна найти отражение в литературе и что пролетарская литература будет орудием этой борьбы. Все то, что он говорил, было мне по душе.

— Вот сейчас при ЦК комсомола организован еще один литературный журнал, там будет печататься мой роман «Шоколад». Ты зайди туда, там все узнаешь.

И я пошел в редакцию журнала «Молодая гвардия», которая помещалась в подвальном помещении одного из зданий ЦК на улице Коминтерна (до революции Воздвиженка, ныне улица Калинина).

Чуть ли не в первом разговоре с одним из работников нового журнала услышал я ответ на тот вопрос, на который мне по существу так и не ответил А. К. Воронский. Это был, может быть, наивно звучащий вопрос о том, где собираются коммунисты-писатели.

При всей наивности этого вопроса его нельзя назвать случайным. С этим вопросом приходила в литературу вся порожденная первыми годами революции молодежь. В журнале «Молодая гвардия» прямо ставилась задача собирания коммунистических сил в литературе.

Я стал бывать в редакции журнала «Молодая гвардия». Здесь было оживленно, интересно. Сюда заходил В. В. Маяковский, стихотворным отделом здесь заведовал Н. Н. Асеев, здесь познакомился я с Д. А. Фурмановым, здесь встретился со своими земляками-челябинцами — коммунистом слесарем Челябинского депо Егором Никифоровым, который, оказывается, тоже стал заниматься литературой, и Лидией Николаевной Сейфуллиной, сотрудничавшей в журнале «Молодая гвардия». Здесь встретил я очень хорошенького и бойкого мальчика, студента университета имени Свердлова Владимира Кирсона. Он и куплеты сочинял против акул международного империа-

лизма и мог написать мгновенно зазвонистую статейку на злободневную литературную тему.

Здесь часто бывали молодые рабочие-поэты, читающие тут же свои стихи и о них спорившие. Здесь, на высоком подоконнике над редакторским столом, сидел немногословный, всегда словно сосредоточенный на каких-то своих мыслях Артем Веселый и иногда ставил на этот стол свой большой сапог.

В «Молодой гвардии» я попал в ту атмосферу непрерывных и жарких споров, которая так по сердцу молодежи. Здесь и возникло ядро новой литературной группы. На первом же заседании мы решили назвать ее «Октябрь».

Заседание это запомнилось мне, так как на нем я сразу же попал впросак. В своем выступлении я рассказал, какой представляется мне будущая наша группа:

— У нас не должно быть иной цели, кроме служения своим словом делу партии. У нас каждое новое произведение должно обсуждаться до выхода в свет на общем собрании группы и печататься после одобрения группы. Мы должны быть своего рода литературным орденом, подобно рыцарскому ордену, все гонорары мы должны собирать в общую кассу...

Послышались смешки, а один из присутствующих, бледный, несколько подслеповатый человек с длинными рыжими волосами — их пряди падали ему на лицо, — с явным высокомерием сказал:

— Но как мы можем создавать столь тесное содружество, когда мы друг друга совсем не знаем? Вот я не знаю, кто вы такой, что вы пишете и как вы пишете.

— Это ничего! — быстро ответил я, ничуть не обидевшись. — Я ведь тоже вас совсем не знаю, но важно, чтобы у нас была общность целей, мы ведь коммунисты!..

Тут на меня зашикали.

— Филипченко, Филипченко... — послышалось со всех сторон.

Оказывается, это была фамилия моего оппонента, а не знать в то время Филипченко было просто неприлично. И тут я вспомнил, что мне попадались на

страницах «Правды» подписанные этой фамилией странные, неужобочитаемые стихи, сверстанные то в виде ромба, то в виде треугольника, то, если мне не изменяет память, чуть ли не в виде античной вазы...

Наша группа «Октябрь», основанная литературной молодежью и явившаяся ядром будущих МАПП и ВАПП, создалась словно только для того, чтобы стать ареной споров и столкновений, пройти через ряд расколов и, наконец, прекратить свое существование, передав свое наименование журналу, выходящему и по настоящее время.

Уже и тогда находились «умники», которые безглаголиво морщились, прислушиваясь к нашим шумным спорам, и склонны были объяснять их политиканством и склокой. Что ж, нужно признаться, что склочники и политиканы среди нас были, и все же объяснить их наличием всю страстность наших споров никак нельзя.

В небывало короткие сроки в России создан был новый общественный строй. Но в условиях нэпа ожили разбитые классы и социальные прослойки, они пытались приспособиться к новым условиям и перевооружались, причем одни выступали открыто, другие стремились использовать покровительственную окраску, позволявшую им существовать в условиях новой, советской эпохи.

Все эти процессы находили отражение в литературе. В творческую лабораторию писателя залетали самые неожиданные социальные ветры и порою вызывали в творчестве писателя причудливейшие явления. Была экзальтированная писательница, которая провозгласила: «Нэпман — это новый человек!» Случайно ли было это заявление? Нет. Тогда возник журнал «Россия», орган так называемых сменовеховцев. Эта «смена вех» выразилась в том, что некоторые видные представители писательской интеллигенции «приняли» советскую власть как власть национальную, отрицая ее социалистическую сущность. Мы, писатели-коммунисты, с полным правом называли этих писателей новобуржуазными. Вообще мы, писатели-коммунисты, чувствовали себя обязанными осозна-

вать свою творческую работу общественно, считали себя ответственными за осуществление линии партии в вопросах литературы и потому эти проблемы переживали особенно остро.

Нас обвиняли в том, что мы преувеличиваем вес и влияние новобуржуазной литературы, сменовеховщины. Так ли это? Позиция сменовеховцев, подчеркивавших национальный характер советской власти и отрицавших ее социалистическую сущность, пришлось по вкусу в некоторых литературных кругах. Тогда-то и возникло малоудачное наименование «попутчики»: нам-де пока «по пути» с советской властью, а дальше поглядим! В этом броском и на многие годы усвоенном нашей критикой определении пропадало главное, а именно то, что огромное большинство беспартийных писателей, вышедших тогда на литературную арену, всерьез и навсегда приняло советскую власть и что увлечение некоторых из них сменовеховством в ближайшие годы пройдет, как детская болезнь.

Однако мало кто из писателей-коммунистов, — может быть, только Серафимович и Фурманов, — понимал закономерность такого пути развития для многих беспартийных писателей. Нам, напостовцам, казалось — и тут начались наши ошибки, — что термин «попутчики» действительно исчерпывает сущность позиции подавляющего большинства тогдашних беспартийных писателей.

Таким образом, правильно оценив сменовеховство как новобуржуазное направление в тогдашней литературе, мы не повели правильную борьбу с этим классово враждебным влиянием, не обнаружили умения отвоевывать на сторону советской власти беспартийных писателей. Зато расхождению второстепенного творческого порядка мы порой без всякого основания придавали характер политический.

Вот почему юношеские страсти и порывы в будущее бушевали на наших собраниях и столько времени было отдано организационно-программным вопросам, вот почему возникало столько споров, доходивших до серьезных ссор! Так, например, на одном из первых собраний группы «Октябрь» возникло столкновение

между Артемом Веселым и мною по вопросу об оценке творчества Демьяна Бедного. Я был за Демьяна, Артем — против. Право, не стоит воспроизводить всего того, что говорил Артем по адресу Демьяна. Впрочем, я тоже не остался в долгу, и Артем был обвинен во всех грехах, из которых самым малым была «аполитичность». Тогда же возник яростный спор между С. А. Родовым и А. Я. Дорогойченко. Родов был за ямб. Дорогойченко отрицал ямб и превозносил вольный, «уитменовский» размер. Одна сторона объявляла ямб чуть ли не контрреволюцией, другая отвечала, что вольный стих Уитмена — это мелкобуржуазный анархизм. А Саша Безыменский отрицал и ямб и вольное стихосложение Уитмена; он провозглашал себя сторонником Маяковского и продолжателем его линии, правда относясь и к нему достаточно критически и в своей критике Маяковского не очень-то выбирая выражения.

Молодые поэты, собравшиеся в группе «Октябрь», начали свою деятельность с резкой критики поэтов «Кузницы». Они подвергали нападкам абстрактный пафос своих предшественников, их космические и планетарные устремления, их нежелание поставить поэзию на службу конкретным и порою кажущимся будничными задачам тогдашнего политического дня, их несколько высокомерное отношение к агитке.

В 1922 году развевалась новая экономическая политика как единственная мыслимая тогда форма социалистического строительства. Ленин учил нас вниманию к «мелочам» экономики, настойчиво указывал на то, что коммунистам следует учиться торговать, и мы, литературная молодежь того времени, стремились, по крылатому выражению Безыменского:

...за каждую мелочью
Революцию мировую найти...

Для самоопределения группы «Октябрь» ранние стихи Александра Безыменского имели очень большое значение, они стали ее девизом. Саша Безыменский был глашатаем нашего молодого направления. Не случайно я с тех пор наизусть помню многие строфы из

«Петра Смородина» и «Весенней прелюдии» А. Безыменского, который, в особенности после того, как он написал свою поэму «Комсомолия», стал одним из популярнейших поэтов коммунистической молодежи, так как дал поэтический комментарий новой эпохи.

Рядом с Безыменским, вполне заслуженно уже, называли младшего друга его и литературного соперника, поэта Александра Жарова. Он принес в комсомольскую поэзию того времени струю бодрой лирики.

Я — делегат небесной рати
И от весеннего Цека,
Я — солнце, — нынче председатель
И на земле и в облаках!

Особую весомость нашей группе придавало то, что в ней появилась новая художественная проза. Почти одновременно с моей «Неделей» был напечатан «Шоколад» Тарасова-Родионова — произведение, вызвавшее большие, но плодотворные споры по вопросам быта и этики, по вопросам стиля советской прозы.

Вскоре после «Недели» и «Шоколада» в Истпарте был опубликован «Чапаев» Фурманова — книга, которая для меня на всю жизнь стала источником радости и вдохновения, книга, которая помогла мне в определении дальнейшего писательского пути. О знакомстве с автором этого замечательного произведения, о его приходе в группу «Октябрь», о его деятельности в Московской ассоциации пролетарских писателей, о его руководстве этой организацией, о моей дружбе с этим замечательным человеком — обо всем этом я уже неоднократно писал, это целая глава моей жизни¹.

Еще и года не прошло с того времени, как я приехал в Москву, а казалось, что миновало двадцать лет! Зимой 1921 года весь город был занесен сугробами, среди этих сугробов редко-редко пробирался одинокий трамвай № 3. Шел он по Моховой, из центра в Замоскворечье, и каким праздничным событием

¹ См. литературный портрет Д. А. Фурманова в этом сборнике.

было, когда, кроме № 3, стал ходить еще № 18, соединивший Замоскворечье со Страстной площадью и проходивший по Малой Дмитровке!

На улицах выла метель, вагоны трамвая застревали в сугробах, ветер сотрясал дореволюционные ржавые вывески, уличные фонари горели тускло, а то и вовсе гасли, и улицы погружались в белую и синюю невнятицу зимней ночи.

Но именно в то время, в конце 1921 — начале 1922 года, с какой-то поразительной яркостью расцвела театральная жизнь Москвы. «Принцесса Турандот» и «Чудо святого Антония», «Мистерия Буфф» и «Жирофле-Жирофля», «Потоп» и «Ричард III», «Дочь мадам Анго» и «Кармен», — что ни спектакль, то открытие, что ни театр, то резко выраженное художественное направление!

Конечно, среди пестроты и разнообразия тогдашней театральной жизни сказывались также и вредные и уродливые тенденции, порою выдаваемые за новое революционное искусство.

Продавались ли тогда театральные билеты? К стыду своему, не помню. Я получал их в нашей Высшей военной школе связи, или брат приносил их из ОГПУ, или еще как-то они перепадали нам по знакомству.

Верхнюю одежду, насколько я помню, в 1921—1922 годах в зрительном зале не снимали, сидеть всегда приходилось наверху, хорошо, если в третьем или втором ярусе, а то и просто на галерке. Но на всю жизнь, подобные сказочным сновидениям, останутся в памяти яркие образы и прозрачная музыка «Принцессы Турандот», суровый пафос призыва к коммунизму в «Мистерии Буфф», высокое искусство Вахтангова в «Потопе» и Михаила Чехова в «Эрике XIV».

То, что эпоха 1921—1925 годов была для советского театра временем небывалого расцвета, неоспоримо. То, что расцвет этот обусловлен был победой пролетарской революции, раскрепостившей скованные до революции творческие силы искусства, тоже несомненно. И, конечно, этим же обусловлен был проявив-

шийся с такой же яркостью и разнообразием расцвет литературы начала двадцатых годов.

Осенью 1922 года в прессе появились весьма положительные отзывы о «Неделе».

Я на всю жизнь запомнил это солнечное морозное утро, когда, прочитав газету, шел пешком через всю Москву, с Знаменки на Таганку, шел мимо храма Христа спасителя, мимо Кремля, по набережной, мимо садов, с которых уже облетела листва.

Никак не могу сказать, что триумф «Недели» не повлиял на меня отрицательно.

Уже в выборе сюжета второй моей повести «Завтра» сказалось легкомыслие. Оно выразилось также и в ряде других неосмотрительных поступков. Так, например, в случайной беседе с корреспондентом «Известий» я рассказал ему не только о «Завтра», но и о следующей, только еще намечавшейся теме. Я заявил, что собираюсь-де писать об электрификации СССР, а именно о Волховстрое, где я даже и не был.

В свое оправдание могу сказать, что не имел тогда никакого представления о том, с какой целью репортер газеты завел со мной этот разговор. И когда потом увидел в газете краткое сообщение о том, что я собираюсь писать об электрификации и о Волховстрое, я был неприятно поражен... К тому же мне очень попало дома. Жена моя Марианна сначала высмеяла меня, потом даже всплакнула и сказала, что во всем этом сказалось мое безответственное отношение к литературной работе и делу писателя-коммуниста. Я дал ей слово, что всерьез займусь сборианием материала для своей новой темы, и для начала решил встретиться и побеседовать с Глебом Максимилиановичем Кржижановским.

Когда я шел к Г. М. Кржижановскому, у меня было только самое общее представление о плане ГОЭЛРО, в тех пределах, в каких об этом великом плане писалось в нашей прессе. По газетам, только по газетам, знал я о Волховстрое, о Шатурской и Каширской электростанциях, и, кроме восхищения перед дерзновенным гением Ленина, поставившим эту за-

дачу, и уверенности, что задача эта будет осуществлена, у меня за душой ничего не было.

Глеб Максимилианович дал мне возможность сбивчиво изложить мои благие намерения и спросил, бывал ли я когда-нибудь на электростанции. Я вынужден был признаться, что не бывал, если не считать случая, когда продежурил ночь на электростанции в Челябинске. Кроме того, так как я окончил реальное училище, то знаю об электричестве то, что положено знать по «Физике» Краевича. Тут умные и ласковые светло-коричневые глаза Кржижановского приобрели то ехидное выражение, которое запомнилось мне на всю жизнь. Со стыдом понял я, что попал в дурацкое положение, и поспешил уйти.

Тогдашнее свое умственное состояние я сейчас воспринимаю как лихорадочное. Замыслы один другого «грандиознее» и фантастичнее не давали мне покоя. Стоило на международном горизонте появиться каким-либо облакам, передо мной тут же возникали картины будущей войны, где главным фактором с нашей стороны должна была стать, по моему тогдашнему предположению, коммунистическая пропаганда среди войск неприятеля. Иногда случайный разговор в трамвае наводил меня на тему рассказа, который так и оставался ненаписанным. Все эти «замыслы» в виде довольно бессвязных записей оставили следы в некоторых моих записных книжках того времени, и мне смешно и совестно бывает, когда я случайно натякаюсь на эти «полумысли».

Понимая, что все эти «замыслы» мне самому не осуществить, я для первого номера журнала «На посту» написал статью под названием «Темы, которые ждут своих авторов». В этой статье я счел нужным щедро поделиться с миром своими мнимыми сокровищами.

III

Журнал «На посту»... У меня не сохранилось ни одного номера этого необычно большого формата литературно-критического журнала начала двадцатых годов, напечатанного на хорошей бумаге и внешне по-

хожего на альбом. Но с большим волнением перелистал бы я эти выразительно, разными шрифтами, на бранные, оригинально, а порой и кричаще оформленные страницы. Впрочем, я могу это сделать мысленно: каждая из его статей перечитывалась и до набора и после выхода в свет.

Многое из напечатанного было излишне крикливо, — в данном случае внешний вид страницы вполне соответствовал ее внутреннему содержанию. В некоторых статьях при их внешней наукообразности сказывалось слабое знание предмета, другие сейчас показались бы мне до крайности необоснованными. Многие носили левацкий, сектантский и нигилистический характер, хотя и претендовали на партийность. Во всем этом, как ни обидно сознаться, сказывалось непреодоленное влияние Пролеткульта.

С чувством душевного стеснения перечитал бы я и свои статьи того времени — они не лишены ни одного из перечисленных выше недостатков. Признаваться в этих недостатках совестно, и оправдать их можно только молодостью и литературной неопытностью. Когда я писал эти статьи, стаж моей литературной работы исчислялся месяцами. А многие другие соотарищи мои — сейчас некоторые из них уже почтенные и прославленные литераторы — тогда еще творчески находились в состоянии эмбриональном.

На одной из карикатур, изображавших состояние советской литературы того времени, — карикатуру эту можно найти в журнале «Прожектор» за 1923 год, — талантливый художник Борис Ефимов изобразил тогдашнюю литературную молодежь именно в таком положении: на столе лежит треснувшее яйцо, из него торчит голова с черным задорным хохолком, тонкая шейка охвачена воротником с военными петлицами, и можно даже разглядеть задорно-бранчивое выражение лица. В этом толком еще не вылупившемся цыпленке, я не без некоторого возмущения узнал себя. Ведь я тогда много мнил о себе, хотя, в сущности, был только автором единственной повести. Мне тогда показалось странным, что автор карикатуры выбрал одного меня, игнорируя всех мо-

их ближайших товарищей по группе «Октябрь» и МАПП. В оправдание его могу напомнить, что «Чапаев» Фурманова был только что напечатан, Фадеев тогда еще только принес в журнал «Молодая гвардия» первое свое произведение, Шолохов писал «Донские рассказы», Караваева, Панферов, Ильенков только начинали работать. История целого направления советской прозы — реалистического направления — была вся еще впереди...

Этого-то по истокам своего творчества искренне революционного и по своей политической тенденции близкого партии литературного направления не замечал и не хотел замечать редактор самого главного литературно-художественного журнала А. К. Воронский. Эта слепота несомненно наносила ущерб советской литературе. Ведь, перечитывая сейчас полемику А. К. Воронского с журналом «На посту» 1923—1924 годов, я вижу, что он подвергал заслуженной и верной критике вульгаризаторский и упрощенческий подход журнала «На посту» к вопросам искусства и литературы вообще, правильно брал под защиту писателей беспартийных, так называемых «попутчиков», одновременно подвергая глубокому критическому разбору их произведения и их взгляды на революцию. Ведь речь шла о творчестве таких писателей, как Всеволод Иванов, Николай Тихонов, Сергей Есенин, Константин Федин, которые сейчас являются украшением нашей литературы.

Но, критикуя нас, Воронский начисто отрицал пролетарскую литературу. Мы же справедливо возражали, что при тогдашнем состоянии советского общества, в котором существовало разделение на классы и шла классовая борьба, не могла не возникнуть пролетарская литература, так же как и литература, отражавшая взгляды других, существующих в обществе классов.

В особенности это должно было относиться именно к произведениям, выражавшим взгляды пролетариата, класса, в жестокой борьбе утверждающего свою диктатуру, класса, поднявшегося до уровня коммунистической сознательности.

Воронский оспаривал неизбежность и закономерность возникновения пролетарской литературы и этим совершал большую политическую ошибку. Каждый новый день литературы подтверждал наличие классово-вой борьбы в литературе и формирование в ней поллярных друг другу классовых течений.

В литературной дискуссии 1922—1925 годов многие писатели-коммунисты поддерживали Воронского. В какой-то степени их отталкивали от нас те вульгаризаторские упрощения и «загибы», которые находили выражение и в нашей творческой практике и в особенности в наших высказываниях.

Отрицательную по отношению к нам позицию занимала, например, Лариса Михайловна Рейснер. Считаю, что мне следует рассказать об этой талантливой писательнице-коммунистке все то, что запомнилось и не могло не запомниться.

Летом 1923 года я со своей семьей отдыхал на даче в Кунцево. Лариса Михайловна жила поблизости. В один из сереньких дней того дождливого лета она пришла вместе с Тарасовым-Родионовым познакомиться со мной.

Я уже до этого читал ее с живописной яркостью, хотя и не без вычурности написанные очерки о поездке в Афганистан. Они были напечатаны в одном из первых номеров журнала «Красная новь». Тарасов-Родионов рассказывал мне об авторе этих очерков — он знаком был с Ларисой Михайловной еще смолodu. Знал он и семью ее: отца, известного профессора, в какой-то степени поддавшегося влиянию марксизма, и мать, живо интересовавшуюся литературой. Здесь, в семейном кругу Рейснеров, зародился в годы, предшествующие революции, журнал «Рудин», на обложке которого изображен был в виде силуэта профиль молодого человека середины прошлого столетия. Содержания журнала я не помню, хотя и держал его в своих руках...

Свой журнал иметь приятно,
Пишет папа, пишет дочь.
Мама написать не прочь;
И одно лишь непонятно,
Почему читатель прочь? —

посмеиваясь, прочел Тарасов-Родионов свою эпиграмму на этот журнал.

Впрочем, для дочери занятия литературой были в то время лишь детскими шалостями, сразу же после революции отброшенными. Даже к нам на далекий Урал дошла легенда о девушке-комиссаре Ларисе Рейснер, которая в составе Волжской, сформированной из кронштадтских моряков флотилии участвовала в борьбе против Колчака. Золотоволосая красавица в кожаной куртке, способная резким, а порою и непечатным словом усмирить анархических бунтарей, попадавших среди матросов, — такой рисовалась мне по этим рассказам Л. М. Рейснер.

И первое, что бросилось в глаза, когда она в скромном и незаметном платье, в простой соломенной шляпке вошла в нашу калитку, — это необычайная красота ее, необычайная потому, что в ней начисто отсутствовала какая бы то ни было анемичность, изнеженность, — это была не то античная богиня, не то валькирия древнегерманских саг. За Ларисой Михайловной шел Тарасов-Родионов, тогда носивший краскомовскую, летнего образца форму, далее следовала мать Ларисы Михайловны с собачкой на руках, — это было какое-то комическое подобие свиты, сопровождавшей богиню, которая, высоко держа свою красивую голову и дружественно-ласково улыбаясь, шла по нашему дачному палисадничку. И я почувствовал, что увидеть ее, а тем более говорить с ней, — это счастье и необыкновенная удача.

В своем обращении Лариса Рейснер была проста и естественна, умна без всякой позы и претензии, приветлива без снисходительности. Она сразу установила со мной товарищеский тон, высказала мне все, что думала о «Неделе», и когда я ответил ей тем же — покритиковал ее афганские очерки за вычурность стиля, — Лариса Михайловна согласилась неожиданно и просто, как все, что она делала.

— Это уже прошлое, — говорила она и хмурилась. — Это у меня позади... Я ведь ученица Гумилева. Теперь я буду писать не так, проще, сильнее. —

И даже свела в кулак свою большую и красивую, как все в ней, руку.

Мы поспорили на текущие литературные темы, — она была ярой сторонницей Воронского.

— Но разве вам не интересно прийти к нам на актив? Ведь вы молодая, такая же, как мы, вам надо быть с нами! — сказал я.

Она засмеялась, блеснули красивые зубы, взглянула дружелюбно и сказала, что непременно придет к нам.

Она сдержала слово, пришла на один из активов МАПП. Раздираемые противоречивыми чувствами, смотрели поэты-комсомольцы на эту красавицу валькирию: поклоняться ли ей или порицать ее за «буржуазность», то есть за ее внешний вид — за костюм, хотя и отлично сшитый, как я сейчас понимаю, но вполне скромный, за духи и за шляпку, из-под которой видны были уложенные вокруг головы косы?!

Но когда она заговорила, то вдруг обнаружила такую же, как и у каждого из нас, убежденную страстность.

Вечер был посвящен творчеству только что приехавших с Украины талантливых поэтов — Голодного, Светлова и Ясного. И Лариса Михайловна обороняла их тогда от левацких наскоков.

Чьих наскоков? Я уже не припоминаю, кто были эти неистовые ревнителы пролетарской чистоты, защищавшие ее с такой яростью, что дай им волю — и нежные ростки будущего советского искусства были бы выполоты начисто! Но партия, к счастью, уже и тогда не давала воли левакам!

Вскоре Лариса Рейснер уехала в Германию. В «Правде» появились ее замечательные очерки о рабочем восстании в Гамбурге. После возвращения Ларисы Михайловны из-за границы, я провожал ее однажды с какого-то вечера в Доме печати, — она рассказывала о том, как героически сражался на баррикадах гамбургский пролетариат, и о том, как обрадовалась она, найдя у одного из рабочих мою «Неделю», переведенную на немецкий язык. «Только так хотим

мы жить, иначе жить не будем!» — сказал этот гамбургский рабочий, похлопав по моей книжке.

Не помню, тогда же или в другой раз, во время прогулки по бульвару Лариса Михайловна рассказывала мне, как она лечилась от тропической малярии в каком-то специальном противомаларийном институте, чуть ли не в том же Гамбурге.

— Ну кто мог лежать в таком институте? — говорила она. — Конечно, всякого рода колониальные хищники, авантюристы и конквистадоры, англичане, французы, немцы, голландцы... Я была единственная женщина и к тому же коммунистка, они таранились на меня, но старались быть со мной галантными. Среди них был заболевший малярией уже в Европе индус. Они все сторонились его как «цветного». Он сидел за одним концом табльдота, а они все за другим. Я, поняв ситуацию, села с ним рядом. Так-то! Знай наших! — говорила она, звучно смеясь. Она иногда употребляла в разговорах такого рода «простонародные» обороты, никогда не попадавшие в ее произведения.

— Да, забавно бывало иногда за табльдотом этого института! Ведь нигде так хорошо не вспоминается, как в таких местах, где люди погружены в вынужденное безделье, — в больницах, санаториях... Вот они и предавались воспоминаниям: какая-нибудь охота на львов или слонов, какие-нибудь сложные отношения с негритянскими племенами где-нибудь в верховьях Замбези... «В верховьях Замбези? — откликнулся кто-то из присутствовавших за табльдотом. — И я там был в 1915 году...» — «Как? И вы?» — изумленно переспросил рассказчик. И вдруг стало понятно, что рассказчику-немцу совсем не полагалось в 1915 году, во время империалистической войны, находиться в верховьях Замбези, в бельгийских, британских и португальских владениях. В качестве кого он там был? Но естественные вопросы не задавались. Разговор замолк, собеседники глядели друг другу в глаза, и на их лицах появились понимающие улыбки, они хлопали друг друга по плечу... — рассказывала Лариса Михайловна.

В «Красной нови» были напечатаны литературные портреты декабристов, вышедшие из-под талантливо-го пера Ларисы Рейснер. Мне запомнились Каховский, Штейнгель... Я собирался позвонить Ларисе Михайловне по телефону и выразить свое восхищение этой замечательной работой. Вдруг внезапная и нелепая смерть унесла ее. И, придя проститься с ней в Дом печати, я не узнал в гробу красавицу валькирию, — там лежала какая-то сморщенная старушка, я отказался признать ее и храню в своей памяти такой, какой впервые увидел.

С Ларисой Михайловной у меня установились хорошие отношения, вопреки ее литературной позиции. По мере того как шла литературная борьба, все с большим количеством писателей-коммунистов, не входивших в нашу организацию, устанавливались у меня отношения дружбы.

В те годы Ф. В. Гладков уже начал работать над «Цементом». Главы этого романа, ставшего новой страницей в истории советской литературы, печатались в «Молодой гвардии». Мне запомнилось, что при первом посещении Ф. В. Гладковым нашей редакции присутствовали Д. А. Фурманов, А. И. Зонин. Федор Васильевич прочел нам главы из «Цемент», которые сохранились в моей памяти на всю жизнь.

Об А. С. Серафимовиче как об известном писателе знал я еще до революции, и не только как о писателе, но и как о человеке и о революционере. Его имя впервые услышал я от приехавшей в Челябинск Анны Семеновны Машицкой — первой большевички, с которой я познакомился.

Анна Семеновна поселилась у своих племянников, моих друзей и сотоварищей по реальному училищу, трех братьев Силиных, у которых умерла мать, а отец был в действующей армии. Она-то и рассказала нам, что знала Александра Серафимовича Попова по ссылке, он уже тогда начинал писать.

Крупная женщина, с большой головой и блестящим умом и непобедимой жизнерадостностью карими глазами, она, разговаривая с нами, всегда занималась чем-нибудь по хозяйству — вертела ручку швейной

машины или выкраивала что-либо на столе, — и по её рассказам нам рисовался застенчивый немногословный человек, охотник и рыболов, верный товарищ, убежденный марксист.

— Он в меня влюблен был... — как-то добавила она.

И когда, познакомившись с А. С. Серафимовичем, я назвал ему имя Анны Семеновны Машицкой, он весь встрепенулся.

— Где она? — спросил он.

Я рассказал ему о случайной гибели Анны Семеновны незадолго до Февральской революции, и он поник своей чудесной головой, — у кого-то из героев «Тараса Бульбы», может быть у самого Тараса, была, наверное, такая голова..

Однажды А. С. Серафимович пригласил нас, молодых, и прочел нам главы из «Железного потока». Если в «Бронепоезде» Вс. Иванова и «Падении Даира» Малышкина тема гражданской войны утверждалась романтически, то «Железный поток», подобно «Чапаеву», поднял эту тему на уровень эпоса — что-то былинное слышалось нам в этом произведении.

В яростном споре, который мы вели с А. К. Воронским, А. С. Серафимович сочувствовал нам, хотя отечески журил за крайности и извращения. Нас поддерживал Демьян Бедный. С напостовцами, как нас тогда называли, дружил Сергей Есенин и напечатал свою замечательную «Песнь о великом походе» в журнале «Октябрь». Маяковский и его друзья по группе ЛЕФ заключили формальный союз с Московской ассоциацией пролетарских писателей.

Я далек от намерения объяснять эти наши успехи тем, что мы правильно вели партийную линию, верностью которой мы клялись и которую от души старались осуществлять. Оглядываясь назад, я вижу, что мы сделали много существенных ошибок, — о главных я уже сказал выше.

Что говорить! Хриплыми и подчас неверными головами кричали молодые птенцы. И все же не случайно все, кто тогда занимал в литературе активно коммунистические позиции, за исключением очень немногих

угадывали в наших творческих поисках верную тенденцию развития советской литературы.

Многие партийцы-литераторы, тогда уже известные по своим выступлениям в партийной печати, сочувственно откликнулись и поддержали молодое движение пролетарских писателей. Некоторые из них входили в редколлегию журнала «Молодая гвардия», с охотой сотрудничали в журналах «напостовского» направления, выступали на наших совещаниях и собраниях. Старый большевик Борис Михайлович Волин стал одним из основателей журнала «На посту», первым редактором его.

Но не встречи в редакциях и на редакционных совещаниях сохранила мне память. Въявь вижу я весну 1923 года, кремлевские пустынные, замощенные булыжником площади, и под ласковым майским солнцем неторопливо прогуливаются люди, которые казались мне тогда глубокими стариками; некоторые из них были бы сейчас моими ровесниками.

Нет, не случайно подсказывает мне память эти встречи в старом кремлевском гнезде, где окрепла и стала державной наша Советская власть. И то, что они, такие скромные люди, неторопливо прогуливались среди царских палат и старинных церквей, являлось неоспоримым свидетельством того небывалого исторического сдвига, который произошел в нашем государстве. Ведь еще в конце прошлого века, в черную ночь самодержавия, эти люди, тогда еще юноши, подняли знамя грядущей пролетарской революции в России. И вот произошло все то, к чему они стремились, и старорусское слово Кремль стало синонимом новой власти, советской власти!

Поднимаешься от Кутафьей башни вверх и, пройдя через темные ворота, невольно замедляешь шаг: а вдруг сейчас из-за угла выйдет Ленин! Ведь здесь, на этой булыжной мостовой, совсем недавно снимался он с Бонч-Бруевичем, и киноглаз на века запечатлел их прогулку и оживленный разговор. Правда, Ильич болен сейчас, но ведь он обязательно поправится! Так что же если и вправду он встретится мне сейчас?! Можно будет с ним поздороваться, — он обязательно

ответит. Может быть, даже удивится, но обязательно ответит!

Ленина встретить так мне и не пришлось. Но живым и молодым рисовался он по изустным рассказам Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Старая «Искра», встреча нового поколения социал-демократов, приехавших из России, с группой «Освобождения труда», принципиальные споры, доходившие порой до разрывов... Как близки были нашим горячим сердцам эти страстные споры, русские споры из-за идейных разногласий, это придирчивое стремление к точности программного документа, к верному звучанию формулировки! Мы с гордостью узнавали себя в этих стариках, как и они, наверное, узнавали себя в наших спорах!

Словно въявь представляются они мне: Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, Пантелеймон Николаевич Лепешинский — и рядом с этими двумя громогласными, кряжистыми богатырями кажущийся маленьким и тихим в своих блестящих сединах Михаил Степанович Ольминский.

В самое тяжелое время, когда после II съезда партии меньшевикам удалось захватить «Искру», к Ленину пришли эти молодые, полные нерастратенных сил люди из России. Молодые, но у каждого позади, как и у Ленина, были аресты и ссылки, все они были убежденными марксистами, все в ожесточенной борьбе с меньшевиками-раскольниками приняли сторону Ленина.

В начале двадцатых годов они почти все еще были живы. Я помню секретаря Замоскворецкого района Розалию Самойловну Землячку и видного работника Центрального Комитета партии Сергея Ивановича Гусева... И разве забудешь энциклопедически образованного, великолепного оратора и пламенного публициста Анатолия Васильевича Луначарского, всему миру известного первого наркома просвещения Советской страны!

Когда я познакомился с этими людьми, их еще по-старому называли «женевской группой» — по имени того швейцарского городка, где они встретились и на-

чали свою деятельность. Это их молодые руки помогли Ленину поднять знамя новой партийной газеты, и имя этой газеты «Вперед» стало в канун первой русской революции звучать так же, как раньше звучала «Искра». Газета «Вперед» вновь собрала партийные кадры и повела партию к III съезду — провозвестнику революции 1905 года.

А наше поколение партийной молодежи видело в этих людях не только овеянную пафосом идейной борьбы вчерашнюю страницу истории. Глядя на них, мы говорили себе: вот как надо бороться за партию, вот с какой стойкостью надо держаться своих убеждений! И что для нас было особенно важно — в их боевой публицистике мы ощущали присутствие художественного дарования.

Ведь не случайно многие из них — и Луначарский, и Лепешинский, и Бонч-Бруевич — оставили после себя книги, которые являются или художественными произведениями, или яркими литературно-критическими трудами. Ученым литературоведам, занимающимся изучением истоков советской литературы, не следовало бы проходить мимо этого живого, кипящего политической страстью родника, мимо творчества этих борцов за партийное дело. Но, пожалуй, ни к кому не тянуло нас в молодости так, как к Михаилу Степановичу Ольминскому. Ведь это он напечатал впервые в Истпарте «Чапаева» Фурманова, это он, несмотря на болезни и старость, выступал на конференциях и совещаниях пролетарских писателей.

У Михаила Степановича Ольминского бывал я не раз и по делам редакционным и просто так, заходил поговорить. Как сейчас вижу перед собой взволнованный румянец его лица, оттененный сединами, по-молодому поблескивают глубоко посаженные глаза, слова идут размеренно и стройно. Они всегда метки и образны.

В рассказах о партийном прошлом, которые я слышал от Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, было много добродушия и юмора. В его рассказах прошлое представляло освещенным каким-то кротким светом. Не то у Михаила Степановича Ольминского! Та

молодая и навеки бессмертная страстность, которая и сейчас светит нам в «Что делать?» и «Шаг вперед, два шага назад» Ленина, горела в глазах Ольминского, и под серебряными сединами мы угадывали «Галерку» — псевдоним, не случайно избранный Михаилом Степановичем в молодости.

Самое возникновение этого псевдонима уже внушало симпатию к человеку, его избравшему. Анатолий Васильевич Луначарский, в свое время активный сотрудник и член редколлегии газеты «Вперед», так рассказывал о возникновении этого псевдонима: «Мартов как-то презрительно назвал едких и несдержанных на слово публицистов, окружавших Ленина после раскола и создавших его штаб журналистики, — галеркой. Ольминский с удовольствием подхватил эту презрительную кличку. В самом деле, что может быть более славного для пролетарского писателя, чем такая кличка! Пролетарии и искренне преданные им идеологи никогда ведь не сидели в первых рядах партера и в ложах бенуара».

«Галерка не просто высмеивал своих противников, — писал о своем боевом товарище П. Н. Лепешинский, — он своими шуточками, на первый взгляд карикатурными набросками на самом деле в очень популярной форме оповещал широкие круги партии о перипетиях фракционной борьбы, о меньшевистских махинациях, о существовании спорных вопросов, а это по тогдашнему времени было немаловажное дело, если принять во внимание растерянность, неразбериху на местах, являвшиеся следствием монопольного распоряжения меньшевиками новой «Искрой»...»

Почему среди этой плеяды превосходных литераторов, из которых каждый обладал несомненным литературным дарованием, с каким-то особенным волнением вспоминаю я именно о Михаиле Степановиче Ольминском? Думаю, что происходит это также и потому, что Ольминскому удалось создать книгу, в которой в наибольшей степени выразилась душевная жизнь революционера, показанная в момент наиболее тяжелого испытания. Я имею в виду книгу. «В тюрьме». Эта книга раскрывает перед нами душу револю-

ционер, мир его чувств и мыслей, рожденных политической борьбой. Быть может, до того, как автор книги попал в тюрьму, в плен к врагам, он и не подозревал у себя писательского дарования. Но вырванный из сражения, пленный революционер принял одиночную тюрьму как продолжение той борьбы, которую он вел на свободе. Три года боролся революционер, и в конце концов сражение окончилось его победой — вот что показал Ольминский в своей книге, которая вошла в арсенал боевой революционной и пролетарской литературы.

Литература наша еще рассказывала о гражданской войне, о суровом быте военного коммунизма, а в жизни с волшебной быстротой происходили существенные изменения.

За те два года, что я жил в Москве, ржавые вывески, оставшиеся еще с дореволюционных времен, были сняты, появились строгие вывески «торгов» и «коопов», акционерных обществ, всяческих артелей, а то и робкие и стыдливые вывески частного капитала. Нэпман начинал с открытия частных пивных и столовых, — одна из них, на Арбатской площади, называлась выразительно и мрачно: «Сыты». Другая предлагала — «Убедись». А третья, вегетарианская, толстовского направления, возглашала: «Примиришь».

Поверхностная, внешняя сторона московской жизни не давала действительного представления о тех глубоких процессах, которые шли в стране. Если бы я в то время был в состоянии постичь самое существо явлений, Всероссийская сельскохозяйственная выставка 1923 года заставила бы меня добраться до этих глубоких процессов. Но хотя я не раз посещал эту выставку и она очень запомнилась мне, все же она не заставила меня глубже задуматься над тем, что в то время происходило в нашей стране, и я продолжал писать «Завтра» — наспех, торопливо, руководствуясь наблюдениями самыми поверхностными.

Летом 1923 года повесть «Завтра» была закончена, тут же напечатана в журнале «Молодая гвардия», и

по первому же обсуждению в Свердловском университете я понял, что второе мое произведение принято читателем без всякого восторга. Чем дальше, тем сильнее чувствовал я, что написал произведение неудачное и в отношении идейном и в отношении художественном.

Бывают в жизни такие периоды, когда перед человеком, и особенно молодым, сразу встает ряд острых вопросов и все они требуют немедленного разрешения. Так в конце 1923 года произошло и со мной.

Литературная работа оторвала меня от политической работы в Высшей военной школе связи. Я поставил вопрос о демобилизации, и с помощью друга моего Вячеслава меня демобилизовали. Отныне я должен был стать профессионалом-литератором. Но демобилизация из армии ставила передо мной ряд других вопросов. Как член партии, я был на учете в Высшей военной школе связи. Состоять там на учете, не работая в школе, мне не хотелось. У меня была комната в общежитии школы, — правда, мне пока не предлагали освободить ее, но я понимал, что, продолжая жить там, попадаю в неудобное положение.

Следовало все эти вопросы разрешить радикально. И вот, посоветовавшись с женой, я решил, что самое правильное будет, если я попрошу Московский комитет направить меня в какую-либо заводскую партийную ячейку, где я смогу вести пропагандистский кружок, смогу сам работать рабкором, — это даст мне возможность собирать материал для будущих моих произведений и избежать таких ошибок, какие я допустил в повести «Завтра».

Так я и сделал.

IV

Когда я сейчас возвращаюсь памятью к началу 1924 года, эти месяцы представляются мне словно застланными слезным туманом, — это туман всенародного горя по утрате Владимира Ильича Ленина.

Наверное, из-за этого тумана, как ни напрягаю я память, не могу вспомнить, почему выбор мой пал на

Замоскворецкий районный комитет партии. Но помню, как при первом же посещении райкома работники его Лазьян и Кольман предложили мне рабкоровский кружок на заводе имени Владимира Ильича, том самом, где Ленин выступал и был тяжело ранен бесноватой эсеркой. Я с охотой принял это предложение и побывал на заводе. Это произошло незадолго до смерти Владимира Ильича.

При первом же посещении завод поразил меня своим внешним видом: в самой глубине широкого двора, посредине которого был замшелый пруд и несколько осин над ним, виднелось старинное строение, явно слепленное из нескольких, относящихся к различному времени построек, о чем особенно выразительно свидетельствовали различной величины и формы окна.

Без особенного труда можно было, если сделать геологический срез почвы, обнаружить то небольшое первоначальное строение с маленькими окошечками и толстыми, словно крепостными, стенами, которое являлось как бы зерном завода. В нем-то и помещалась чулочная мастерская, куда заезжий англичанин Гоппер поступил механиком. Потом он каким-то образом приобрел это заведение у его хозяек, сестер-старушек, и преобразовал его в механическую мастерскую. Это было в 1848 году, еще при крепостном праве. Гоппер сторговался с помещиками и взял у них на оброк крестьян — их потомки-то и образовали ядро рабочего класса завода. Сыновья Гоппера, а потом и внуки его богатели на труде русских рабочих, перестраивали и расширяли завод. Нетрудно было, вглядываясь в архитектуру завода, обнаружить пристройки, становившиеся все больше, все обширнее — вплоть до большого снарядного цеха, построенного уже Михельсоном, последним владельцем завода, в годы первой империалистической войны. Его большое и продолговатое одноэтажное кирпичное здание с довольно широкими окнами выходило на улицу.

Собирая материал для газеты, я расспрашивал стариков об истории завода. Особенно много узнал я от одного из старых служащих завода — Бондаренко, который приходился свойственником первому

конторщику завода, лично знавшему основателя предприятия — первого Гоппера. Записи по истории завода, сделанные в те годы,годились мне много лет спустя, при писании романов «Зарево» и «Утро Советов».

Еще до прихода на завод я знал, что завод имени Владимира Ильича — это один из старейших московских заводов. По истории партии, написанной старым большевиком Шалавиным, мне было известно, что один из первых марксистских кружков в Москве был основан именно на этом заводе. Модельщик Самохин еще в девяностых годах основал этот кружок. О Самохине мне никто ничего не мог или не хотел сказать; старики модельщики, когда я зашел в их светлый и чистый, пахнувший деревом цех, на стене которого еще сохранялся вырез, где до революции вставлен был киот и горела неугасимая лампада, даже и говорить со мной не захотели. Молодые же модельщики, вроде Ильи Абезгауза, сами недавно пришли на завод и ничего не могли мне рассказать. Но мне вскоре же показали участника кружка Самохина, старого рабочего литейного цеха, печника-вагранщика Дмитрия Наумова. Этот невысокого роста старик с пышными усами казался небольшим среди вагранщиков, в большинстве своем людей крупных. После смерти Владимира Ильича Наумов был в числе первых вступивших в партию в Ленинский призыв. Из биографии, им рассказанной, я узнал, что он принимал участие в революционной борьбе — в 1905 году он дрался на баррикадах Пресни, неоднократно состоял в стачечных комитетах. Взгляды у него были марксистские, с резко выраженной антирелигиозной окраской. Когда я пришел на завод, он был председателем заводского союза безбожников. Он-то и рассказал мне, как они с Самохиным еще в девяностых годах свели знакомство со студентом Сергеем Ивановичем Мицкевичем.

Сергея Ивановича Мицкевича мне найти было нетрудно. Он жил в Кремле, я позвонил ему по телефону, и он разрешил мне прийти к себе на квартиру. И вот я вижу Сергея Ивановича в его скромной штатской тройке. В остро подстриженной бороде поблескивает седина, глаза внимательно зорки и добродуш-

ны. Самым своим существованием свидетельствует он о реальности того легендарного времени, когда зарождалась «Искра» и когда искра разгорелась. И вот в повседневном труде наших социалистических предприятий уже осуществляются идеалы того первого поколения пролетарских революционеров.

Время наших отцов, словно повесть из века Стюартов!
Отдаленней, чем Пушкин, и грезится словно во сне!

Как он оживился, как молодо блеснули глаза его, когда я назвал ему Самохина! Со времени их встречи прошло около тридцати лет. В начале разговора, кроме того, что встреча их произошла в трактире «Стрелка», рядом с заводом, Сергей Иванович мало что сказал мне, — он словно присматривался ко мне. Но постепенно из тьмы прошлого как живой вырисовывался сдержанный, немногословный, но уже тогда обнаруживший серьезный склад ума Самохин.

Произошла ли моя встреча с С. И. Мицкевичем до смерти Владимира Ильича или уже после, я не помню, да, пожалуй, это и не так важно. Но то, что скорбь о смерти великого учителя слилась в душе моей с ощущением исторической неразрывности ушедшего в прошлое времени основания партии с сегодняшним днем и торжества ленинского дела, то есть, нашего революционного, пролетарского дела, — это так.

Я хотя и был уже демобилизован, но жил еще в общежитии Высшей военной школы связи. Мы с женой, как всегда в воскресенье, собирались идти на лыжах, как вдруг раздался стук в дверь, — на всю жизнь запомнившийся стук! В дверь вошел Вячеслав в сером военного покроя костюме, который он носил дома, в носках и тапочках... И когда он взглянул на нас, весело-беззаботных, полных предвкушения воскресной прогулки, на его продолговатом и бледном лице появилось выражение жалости, глубокого сочувствия...

— Вы еще ничего не знаете? — спросил он. И сказал: — Ленин умер.

Он еще что-то говорил. Он узнал об этом ночью. Ему позвонил товарищ, который дежурил в райкоме и один из первых услышал скорбную весть.

Вячеслав уже ушел из комнаты, а нам казалось, что его серая, зловещая и длинная фигура с грустным и добрым лицом еще высится в дверях. «Как все, как всякий человек...» — сквозь всхлипывания твердила Марианна, и эти, казалось бы, бессвязные слова вдруг с предельной остротой выразили то самое острое и скорбное, что ощущал, но никак не мог выразить я, — что самый лучший из людей, он, которого никогда не забудет человечество, он, дерзновенно и научно-точно осуществивший самые высокие мечты самых лучших людей человечества, умер так же мучительно, как умрет каждый из нас, простых людей. Это вызывало негодование, и возмущение, и жалость, которая безмерно приближала к нему, и желание отдать свою жизнь, лишь бы он жил, и невозможность сделать это, и сознание бессилья.

Я сел возле Марианны, и мы плакали вместе. Она первой пришла в себя. Поглаживая меня по голове, она тихонько отталкивала меня от себя. Потом она встала и, протирая глаза своей сжатой в кулачок рукой, сказала тихо, почти шепотом:

— Я в университет. А ты?

Она сквозь слезы смотрела на меня своими небольшими, очень четко вырисованными, зеленовато-серыми глазами.

— Я на завод...

Она одобрительно кивнула головой. Мы поняли друг друга. В те дни великого народного горя очень трудно, почти невозможно, было усидеть дома. Хотелось быть с людьми.

В студеном тумане и скрипучем морозе все ближе подвигаемся к Дому Союзов, на балконе которого ярко пылает колеблемый ветром дымный факел. Какие странные, неповторимые слова исторгало великое горе из глубины сердец! У меня в записной книжке того времени записано:

«Большой, живой, всевидящий глаз, улыбка... и вождь, творец и брат...» — это сквозь всхлипывания

сказала женщина довольно пожилая, после того как прошла мимо гроба.

Трещали киноаппараты, мерцали прожекторы и освещали в пышных гюдах цветов полное бессмертной думы лицо, более живое, чем повернутые к нему, придавленные горем, бледные лица идущих мимо него людей. Густо и тихо шли люди — бесконечно, непрерывно, и порой раздавались всхлипы, стоны. Знакомый журналист кивнул мне. Я подошел к нему. За десять минут, что я пробыл в зале, упало в обморок семь человек.

В то время повсюду — и в окнах и на стенах домов — были портреты Ленина. Отовсюду глядел он тебе в лицо, в глаза, в самую глүбь души. Но тот портрет, который мы увидели, был какой-то особенный: тонкая, прозрачная корочка льда покрыла стекло уличной витрины, и ее выпуклость вдруг придала большому, исполненному красками портрету ту изменчивость, которая отличает живое лицо от нарисованного. Улыбка дрожала на губах, глаза глядели проникательно-весело. Не только мы заметили этот необыкновенный портрет. Увидев его, нельзя было не остановиться, и черная безмолвная толпа около витрины становилась все больше. Люди затаив дыхание глядели в это лицо, чудесно живое и умно-ласковое.

Я много записывал в те дни, и как лейтмотив всех моих записей проходит: «Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить...» Это и в стихах, и на плакатах, и в трубах оркестров.

Да, это было страшное горе, но в этом горе народ вдруг необычайно вырос, — так взростеет юноша-сын после смерти отца.

Едва ужасная весть дошла до рабочих завода имени Владимира Ильича, сразу же после митинга в клубе завода, где выступил В. В. Куйбышев, в одиннадцать часов вечера рабочий Манзулов принес первое заявление о вступлении в партию — и заявления потекли одно за другим. Общенародное горе нашло выход, оно превратилось во всенародное действие, в стремление передать свою силу партии Ленина...

Заседания происходили в помещении одной из за-

водских столовых — в продолговатой и низенькой комнате, очень ярко освещенной. В ней горела одна сильная лампочка, без абажура. Почти всю эту комнату занимал длинный стол, покрытый клеенкой. За ним тогда размещалась вся ячейка. Каждое заявление обсуждалось подробно. В эти дни беспартийные, даже те, кто еще не считал себя готовым к вступлению в партию, почувствовали свою кровную связь с партией. И они предупреждали о людях, недостойных получить партийный билет, и считали нужным одобрить лучших и честных. За тридцать с лишним лет многое сгладилось в памяти, но в моих записных книжках до сих пор сохранились записи некоторых речей, тогда произнесенных, а в памяти по-прежнему живы впечатления от этого глубочайшего, сотрясшего весь рабочий класс, великого горя, которое поднимало людей и обогащало их мысль до предельной зоркости, мудрости.

После рабочего дня лица усталые, иногда посоловелье. Курить разрешено, и комната наполняется голубоватым дымом... Разговор идет неторопливо, все-рвез...

— Ведет себя сдержанно, самостоятельный парень, на которого можно надеяться.

Наступает долгая пауза. Потом где-то из последних рядов поднялась рука. Встает пожилой человек. На лице волнение и решимость.

— Тут у нас завязалась одна свадьбишка по соседству. И вот этот товарищ, о котором речь, имея интерес к этому делу, пошел в церковь поглядеть. И встретил там одного нашего кандидата партии, Шумилина. «И ты здесь?» — «А ты?» Обоим стыдно стало, значит...

Рассказав об этом происшествии, которое мне кажется забавным, он садится. Но никто не смеется. Слышно, как скрипят скамьи. Поднимается большого роста человек со светлыми усами и красным, словно сейчас из бани, лицом и говорит придушенным голосом:

— Мы тут же оба ушли из церкви. — И он исчезает, словно его сдернули.

Председательствующий, секретарь ячейки, стучит карандашом о чернильницу.

— Мое мнение — подождать с ним, — говорит с места тот, кто рассказал историю встречи в церкви. — Я не спорю, парень он сознательный. И надежный. А в церковь ходить для того, чтобы поглазеть, — это ни к чему.

— Погодим, пусть образуется, — говорит секретарь ячейки. — А Шумилину сделаем замечание, кандидатскую карточку получил, значит соблюдай...

Собрание одобрительно гудит. Обсуждение вопроса закончено.

Обсуждается еще несколько кандидатур, и снова об одном из подавших в партию сообщают, что он венчался в церкви. Я, судя по предыдущей истории, уверен, что и этого в партию не примут. Но нет...

— Вернулся он из Красной Армии домой и встретился тут с одной, вдова с детьми. Она его одела, обула. Восемь месяцев жили вместе, потом она говорит: «Хочешь, не хочешь, а венчайся в церкви, а то я от тебя уйду...» И такое она ему влияние на чувства сделала, что он поторопился, пошел в церковь и венчался. Но к обрядности настроен холодно, в церковь ни ногой...

На задних скамьях слышно похохатывание.

— Парень встает на нашу платформу, уже поднял ногу одну, — говорит Николай Яковлевич Иванов, один из самых старейших, влиятельных членов партии на заводе. Со своей сильной фигурой, смелым лицом и красивыми, пышно-рыжими усами, он похоже, что сошел с плаката. В Октябрьские дни Николай Яковлевич был районным организатором Красной гвардии в Замоскворечье. Это он задержал Каплан после того, как она стреляла во Владимира Ильича. Говорит он хорошо, увлеченно, легко подыскивая слова, порою неожиданные, и его слушают с одобрением.

— Рабочий он хороший, — добавляет кто-то невидимый из глубины собрания.

— Он не только хороший рабочий, а хороший работник для партии, — поправляет кто-то. — А что он венчаться пошел, это можно понять... В профсоюзной

работе еще при старом режиме участвовал, членские взносы собирал, дело тоже и мелочное и щепетильное, а у него всегда в порядке! — быстро говорит кто-то из-за спины.

Облик человека ясен! Все руки подняты.

Называется следующая кандидатура и зачитывается заявление машинистки из конторы завода:

«Я его называю гражданином по привычке, но он недостоин этого названия за свои поступки — недостойн!»

Поступки — это участие обсуждаемого в каком-то хищении. Правда, народный суд оправдал за недоказанностью. Но здесь судят строже, и заявление машинистки убеждает своей нервностью, искренностью.

— Как же, мы были на суде, — говорит один из рабочих, еще молодой, несколько болезненного вида, секретарь завкома Давыдов. — И был после суда разговор, так он (речь идет о вступающем в партию) говорит: семейные обстоятельства. А какие у него семейные обстоятельства? Всего он и жена...

И чей-то густой голос произносит:

— Мне думается, едва ли он принесет пользу партии.

И решение принимается, четкое, беспощадное, справедливое решение.

— А кто за него ручался? — спрашивают с места.

И приходится сознаваться: ручались за него три старых человека. Их тут же порицают, напоминают об имени Ленина.

Переходим к обсуждению следующей кандидатуры.

— Он вчитанный. Развитый! Но меньшевистски настроен. Я его спрашиваю: «Что тебя заставляет идти в партию?» А он: «Я для критики иду в оппозицию». Так зачем же тебе вступать? Будь в оппозиции, а не в партии.

— Как же! — подтверждает кто-то. — Я им земляк. Мы оба из Брянска. У него и отец и все дядья торгоши.

На лицах собравшихся появляются улыбки, все голосуют против.

Когда прочли, что один из вступающих не выполнял приказов Керенского, снова видны улыбки.

— А кто их выполнял?

— Кто хочет сказать «за»?

— Не «за», а мимо! Он всегда против евреев орет! «Я, говорит, иду в партию потому, что партийцу легче везде должности дают...»

Руки поднимаются дружно. Во вступлении в партию отказать.

— Этот старик, который где бы ни стоял, куда бы ни пошел, везде агитирует за советскую власть. Как видит — три человека собрались, тут же подходит, начинает агитировать...

Рекомендующий тоже человек уже старый, с живыми, добрыми глазами. Говорит он легко, просто.

— А по-моему, он из партии выходил? — спрашивает его секретарь ячейки Ларионов.

Снова тишина, требовательная, настойчивая. С места встает небольшого роста человек — в густой бороде его поблескивают седины, — говорит взволнованно и угрюмо:

— Из партии я выходил потому, что назначили комиссаром продотряда в девятнадцатом году. А я печник, неграмотный человек, вот и вышел.

— Как старика, его можно для примера держать... — говорит кто-то.

Но тут слово берет рекомендовавший печника, круглолицый Данилов, один из самых старых членов партии на заводе.

Он сразу уловил оттенок фальши в этой реплике.

— Нам для примера есть Ленин, и больше нам никто не нужен. А что он из партии вышел, так и вернулся. Он сам идет навстречу всем вопросам и разрешает как коммунист все эти вопросы беспартийным. Давай голосуй! — говорил Данилов повелительно и первый поднимает руку.

Глаза его блещут, старое лицо разурмянилось, и за ним поднимают руки все...

Таковыми навсегда запомнились мне эти усталые

после восьми часов работы, напряженные лица, эти взволнованные голоса, эти высокой требовательностью проникнутые речи, в которых припоминались мелочи поведения, особенности характеров. «Очень уж он боязливый товарищ,— сказали об одном,— кроме плохих слов (подразумевались ругательства), ничего от него не услышишь. Мне-то думается, что едва ли этот человек сделает пользу партии».

Собирая материал для стенной газеты, я много часов проводил на заводе. Если материал не приносили, я сам шел в цех, разыскивал рабкора и брал у него заметку, а то, случалось, и записывал ее прямо с его слов, тут же, у станка.

Задержавшись на заводе, я подчас и обедал тут же, в рабочей столовой. Обед стоил на новые деньги от двадцати четырех до тридцати двух копеек. Это был сытный, добросовестно приготовленный обед,— на второе можно было взять или мясное, или кашу. Именно здесь, в столовой, особенно чувствовались благодетельные последствия финансовой реформы: советская копейка стала полновеснее и значила неизмеримо больше отмененного «лимона», как презрительно называли обесцененный миллион.

Смерть Ильича глубоко всколыхнула рабочую среду. И то, что происходило на партийных собраниях, где принимали в партию новый призыв, снова обсуждалось рабочими в столовой. Я слышал, как товарищ встречал товарища вопросом:

— Ну что, приняли?

— Крутись не крутись, не примут... — мрачно ответил товарищ, который, по моим наблюдениям на партийном собрании, как раз был уже принят.

— А если примут? — не без лукавства спрашивал собеседник, очевидно тоже уверенный, что товарищ его будет принят.

— Не бойся, не примут... — И в этом отрывисто-мрачном ответе чувствовалось глубокое волнение, целомудренно скрываемое.

На нескольких партийных собраниях подряд шла эта длительная, тщательная работа. И вот она закон-

чена. Отобраны лучшие, взвешенные самой полновесной мерой — именем Ленинского призыва.

На большом торжественном собрании в клубе подытожен был прием Ленинского призыва. Новые члены партии пришли в праздничных одеждах, чисто выбритые, подтянутые. На заднике сцены плакат: Ленин крепко стоит на земном шаре и указывает путь в грядущее. Только что произнесенные слова сталинской клятвы напоминают каждому о великой ответственности за будущее страны, о великой цели...

К этим же дням 1924 года относится доклад Глеба Максимилиановича Кржижановского о Ленине. Точнее сказать — это был вечер воспоминаний о Ленине в клубе завода. Благодаря записной книжке у меня сохранилась не только память о характере этого доклада, но и отдельные выражения речи докладчика, дающие представление о взволнованном, подлинно поэтическом складе его речи. По мере того, как Глеб Максимилианович говорил, нам рисовался Петербург того времени. «Чудовищный, страшный город, город дворцов и дымных заводских окраин, город глубочайших классовых противоречий и социальных контрастов...»

Глеб Максимилианович рассказывал о том, как их, молодых студентов, водили на экскурсии и их «за сердца брали» эти контрасты — ощущение мощи капитализма и неисчислимых страданий рабочего класса.

— Лучшей подготовки для чтения Маркса не надо было. И мы, революционно настроенные юноши, взяли за Маркса, и тот кружок, к которому я принадлежал (нас впоследствии называли «стариками»), основательно изучил Маркса, и мы стали очень горды от сознания того, что нам понятна великая мудрость Марксова учения. Кто два раза не прочел «Капитал», того мы не считали передовым человеком. И, марксисты, пролетарские революционеры, мы считали себя обязанными нести свои знания Маркса рабочим. Мы сводили знакомство с передовыми рабочими и каждого нового знакомого из рабочей среды сразу сажали за «Капитал» и заставляли читать. И нужно удив-

ляться, что находились такие светлые головы среди питерских рабочих, которые, несмотря на это, усваивали «Капитал», но, понятно, тогда это были единицы. В наше оправдание могу сказать только одно: мы хотели, чтобы не искаженным, а в чистом виде учение Маркса дошло до рабочего класса...

И вот приехал Ильич и сразу же сбил с нас нашу ученую спесь. Он начал с тетрадок, переписанных от руки и передававшихся из рук в руки. Такой была вначале знаменитая, вошедшая в историю русского рабочего движения брошюра «О штрафах». Эта тетрадь содержала простой и ясный ответ на реальные запросы и нужды рабочего класса, она подводила к пониманию коренных причин его несчастий — к пониманию царизма и капитализма. И рабочий класс Питера всколыхнулся, и начались забастовки.

Петербург! Нужно себе представить этот чудовищный город, столицу империи, резиденцию царя, его дворцы и проспекты, его огромные заводы! И вот Ильич разбил город на районы и нас, таких умных, начитанных и гордых юнцов, разослал по рабочим окраинам... Ильич добыл мимеограф, и с помощью этой, хотя и примитивной, техники мы стали размножать прокламации. И теперь наша организация научилась разговаривать с рабочим классом Питера. И мы по слову Ильича приняли наименование: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Так или примерно так говорил Кржижановский, и видно было, как по-молодому взблескивали его горячие карие глаза, жесты были легки и четки. А порой он вдруг, весь подобрившись, словно вытягивался, как бы становился «во фронт» перед образом того, о ком рассказывал... А иногда он похаживал по эстраде, задумчиво улыбаясь...

— Вот так, уже в ссылке, мы гуляли по берегу Енисея и вспоминали о пережитом, о Питере, о товарищах... И бывало, что я, — а я был горячий юноша, я стихи писал, у меня даже кличка была «Поэт», — говорил о том или ином деятеле питерского периода: «Вот хороший человек...» А Ильич останавливал меня:

«Ну что это, Глеб, значит — хороший человек? Что он добер, так выходит? Добер?..»

И Глеб Максимилианович так точно передает живые интонации речи Ильича и так по-русски звучит это насмешливое «добер», что в зале сразу вспыхивает смех и аплодисменты.

— Не доброта благотворителя нужна рабочему классу, ему нужно, чтобы люди, которые к нему идут, несли ему свои знания, свой ум, свое готовое к полному самопожертвованию сердце, как это сделал Ильич и тем дал образец пролетарским революционерам всего мира.

И нам, слушателям представлялись эти два совсем молодых еще человека на берегу огромной пустынной сибирской реки.

— Ильич тогда уже говорил о создании массовой рабочей партии в России, и когда я начинал сомневаться, он твердил: «Ты увидишь, Глеб, ты увидишь, как это будет!» Да, он видел все наперед, на много десятилетий вперед!

После доклада задавали вопросы. Некоторые из них я записал:

— На какие средства жили революционеры?

— Как здоровье Надежды Константиновны?

Просили также рассказать о болезни Владимира Ильича.

И Кржижановский рассказывал о ходе этой роковой болезни и о том, как Ильич сказал ему после первого припадка: «Мне кажется, Глеб, что я немножко большую нагрузку на себя взял...»

На этом вечере выступали также и другие встречавшиеся с Владимиром Ильичем.

Об одном из них я записал: «Мелочная память, в которой через всю жизнь, как в шкатулке, где хранятся гербовые пуговицы, старые марки, сохранились всякие пустишки».

И еще:

«Этот человек вспоминает всякий случай, когда Ильич по тому или иному поводу не сразу принимал решение, а он, рассказчик, никогда не колебался ни минуты».

Кржижановский слушал этого «воспоминателя» и часто-часто моргал, словно перед его лицом шел быстрый и мелкий моросливый дождь. И только один раз кивнул головой, когда «воспоминатель» сказал: «Ильич на эстраде, как волна, — назад, вперед, назад, вперед...»

Среди выступавших был также и Николай Яковлевич Иванов. Он рассказал о том, как встречали Ильича в семнадцатом году, когда он вернулся из-за границы:

— К Финляндскому вокзалу стекались несметные массы, и у многих рабочих были винтовки в руках. Владимиру Ильичу был подан роскошный автомобиль, но он не сел в него, он встал на броневик, и его окружили рабочие...

Он говорил словно песню пел, словно плакат рисовал, и это как раз и было то, что нужно собранию. Былинным богатырем рисовался нам Ленин. И сразу, как только Николай Яковлевич сошел с трибуны, к нему тут же кинулись две раскрасневшиеся девушки-комсомолки.

— Николай Яковлевич, очень хорошо ты сказал!

— Замечательно сказал!

Разглаживая свои красивые усы, Николай Яковлевич с удовлетворением посмеивался...

Ту записную свою книжку, краткие записи в которой дали мне сейчас основу для описания происходившего на заводе в первые дни 1924 года, открыл я следующими словами:

Устал — встряхнись!
Ослаб — подтянись!
Забыл — вспомни!
Революция — не кончилась!

Помню, как, придя раз в клуб завода имени Владимира Ильича, я увидел на красном полотнище, прибитом к заиндевевшей стене, эти слова, этот суровый и недвусмысленный призыв.

Суровостью веяло от всей обстановки. Помещение

было освещено слабо, паровое отопление не действовало, и только в одной из комнат топились печка-буржуйка... Я так и не узнал, кто автор этого поистине замечательного призыва, но эти слова стали девизом моим. Казалось, что Ленин своей смертью продолжил дело своей жизни, его смерть принесла отрезвление после шумной дискуссии 1923 года, которая оказалась совсем ненужной и даже вредной для партии. Мне остался памятен этот клуб особенным своим настроением, в котором соединялись суровая приподнятость и теплая, товарищеская сердечность.

Постоянным посетителем клуба был старый большевик Данилов, которого я уже заметил на партийных собраниях. В клубе Данилов садится у самой раскаленной печки. Округлое лицо его покраснелось, но по блеску глаз и мягкой улыбке видно, что не меньше, чем печка, греет его песня, которую здесь же поет собравшаяся в кучку молодежь. И я записываю:

«От их песен идет сияние и тепло. Также и от их лиц, этих молодых лиц, — первый раз на земле такие лица, такие песни:

Плавим землю, как старый чугунок,
На кострах всенародных коммун!

И Ленин на плакате — том самом, который является задником сцены, — крепко стал на земной шар...»

Позднее я узнал, что Данилов был прикреплен к комсомолу — это была его партийная обязанность. Но он не ограничивался тем, что посещал все комсомольские собрания. Свою обязанность в отношении молодежи он понимал так, что и нерабочее время он должен проводить с молодежью. И, сидя возле раскаленной печки и греясь, он с живым интересом прислушивался к разговорам и спорам. Как сейчас вижу его милое, округлое, поросшее седой щетиной лицо, одновременно и старчески пронизательное и ребячески оживленное. Иногда он вставлял свое слово и рассказывал что-либо из своей жизни. Так, во время оживленного спора о том, имеет ли право коммунист вла-

деть собственностью (речь шла о маленьком домике, вернее сказать — избе), Данилов рассказал, как он, решив вступить на путь революционной борьбы, продал такой построенный на свои средства домишко... Вся эта история впоследствии вошла в повесть мою «Комиссары». В повести ее рассказывает старый большевик Злыднев.

Таких историй Данилов рассказывал множество. Но не случайно мне запомнилась одна из них — о том, как в 1905 году они с товарищем, исполняя поручение правления Союза металлистов, заехали в Западный край, в Литву, на инструментальную фабрику.

— Понимаешь, и хозяин еврей и рабочие все евреи. Хозяин бритый, в справной троечке, руки все в кольцах. А рабочие все бородатые, с пейсами, работают в шапках, в лапсердаках. Хозяин ничего, по-русски говорить может, и встретил нас так ласково — разлюбезное дело. Мы объясняем, что из-за забастовок нам пришлось уехать из Питера, жить нечем. Хозяин в ответ: «Пожалуйста. Я очень люблю русских рабочих и особенно питерских. Питерские рабочие — борцы за свободу, а я сам за свободу. Кто же от царя страдает больше, чем еврей?!»

Вот поступили мы к нему на фабричку. Рабочий день — десять с половиной часов, станки старенькие, плоховатые, а работа тонкая, требует такого глаза, такого мастерства — художество, а не работа! Начинаем мы постепенно кругом оглядываться, с соседями пытаемся разговоры заводить... Какое там! Нахлобучат шапки, глядят со злобой и все бурчком отвечают, а чего отвечают — ни мы их, ни они нас не понимают. А ведь у нас свое поручение: мы должны здесь отделение нашего профсоюза — его тогда называли «Общество рабочих по обработке металла» — открыть. А как его откроешь без языка?! А хозяин рад, с нами дружбу свел, если идет по мастерской, обязательно подойдет, руку подаст. Зазвал как-то нас к себе, про питерские дела спрашивает, все нас нахваливает: «Вы, говорит, просвещенные люди, а что наши еврей — уперлись в религию, знать ничего не хотят, оттого и на вас смотрят зверем...» А мы думаем: «От-

того, видно, они смотрят зверем, что ты им невесть что про нас наговорил!»

Раз в воскресный день пошли мы на вокзал столичных газет купить и, покупая те газеты, разговорились с одним студентом по поводу событий — он из таких шустреньких меньшевиков-бундовцев... Но хотя поспорили, а знакомство завязали, он по-русски может говорить. Пригласил нас заходить к нему. И тут появился у меня план — через его посредство обосновать у нас на фабричке союз. Товарищ мой сначала даже запротестовал: как это можно, если он бундовец, — ведь бундовцы пропагандируют самую ересь, что профсоюзы должны строиться по национальному принципу и независимо от политической борьбы. Ну, а что поделаешь? Пусть только дело стронется! А когда вовлечем массу в политическую борьбу, потом уже оформим все по-большевистски, по-интернациональному, а не по-бундовски. И что ж? Так, по-нашему, и вышло. Рассказали мы нашему студенту о том, какая ужасная эксплуатация на заводе, и пристыдили его. Вы, мол, бундовцы, крутитесь среди сапожников, портных и булочников, а на завод никакого внимания... Так, с его помощью, собрали мы митинг, мы говорим, он переводит, мы того пуще, он запинается, а все-таки переводит. И против хозяина, и против царя... Вижу — наших евреев проняло, загальдеи, и представь, оказывается, были среди них ребята грамотные по-русски, а хозяин их против нас настроил, уверял, что мы-де у них работу отбивать приехали. Тут у нас уже дело пошло крутиться, мы и забастовку провели и отделение союза металлистов основали!

С каким-то особенным вдохновением рассказывал Данилов эту историю. И правда, что-то чудесное было в этом незаметном подвиге двух питерских рабочих: и русский революционный размах, и подлинный интернационализм, и большая тактическая гибкость истинных учеников Ленина.

Со времени великой утраты вся жизнь моя шла под ее скорбным и серьезным знаком. Я тогда взялся всерьез за чтение всех произведений Ленина, не ограничиваясь теми основными его трудами, которые уже

были мне известны. Теперь я читал подряд все, что вышло из-под пера Ленина. Мне хотелось представить себе историю партии в ее живой конкретности, такой, какой она рисовалась в том докладе Кржижановского, о котором я уже рассказал. Тут, очевидно, действовал также и художественный инстинкт. И я стал собирать и читать воспоминания старых большевиков и наталкивался иногда на произведения, которые воспроизводили борьбу партии во всей ее живой правде.

Разве можно забыть такие книги, как воспоминания Шаповалова, в которых рассказан путь рабочего-революционера, процесс его душевного формирования с поражающей правдивостью и высокой сознательностью! К числу таких книг относятся также живо написанные воспоминания профессиональной революционерки-подпольщицы Зеликсон-Бобровской.

До какой степени я был в то время обращен душой к героическому прошлому рабочего класса, видно по наметке плана первомайского номера стенной газеты, сохранившейся в моей записной книжке. В этом номере предполагалось представить воспоминания: Стрелкова (старого большевика, рабочего, побывавшего в эмиграции) о Первом мая за границей, Н. Я. Иванова — об одной из маевек до 1917 года, Титова (тогдашнего предзавкома) — о Первом мая в Польше, Ларионова (секретаря комячейки) о маевках в Москве.

Для оформления стенгазеты к нам были прикреплены два молодых художника. Это были комсомольцы из Вхутемаса, и, как большинство студентов этого художественного вуза того времени, они придерживались самого «левого», то есть изрядно зараженного формализмом, направления. В основу оформления стенгазеты они положили пропагандируемый тогда художниками-лефовцами «фотомонтаж», который подкупал сердце своей немудреностью: брались иллюстрированные журналы, из них вырезались фотографии, в соответствии с содержанием номера их соединяли в рельефные группы, что вместе с лозунгами и стихами давало эффект яркий и действенный.

Я сказал, что художников было двое. Но мне запомнился только один из них. Это был долговязый, грубоватый парень, в его больших светлых глазах было выражение полной уверенности в своих действиях. Ничего, кроме «фотомонтажа», он не признавал, — хотя, как я заметил, он вполне «владел кистью», что особенно сказывалось в акварели, когда из-под его кисти ложились на ватмановскую бумагу, на которой оформлялась газета, свежие и приятные для глаза краски. В значительной степени благодаря работе наших художников первомайский номер стенгазеты получился у нас очень удачным.

У меня сохранились некоторые призывы, подготовленные для первых номеров стенной газеты. Сейчас эти призывы кажутся мне довольно наивными, но в них, как мне представляется, сохранился аромат времени.

«Пиши в стенную газету!»

«Ты заметил на заводе злоупотребление и хочешь его устранить! Ты нашел способ улучшить производство и хочешь о нем оповестить! Пиши в стенную газету!»

«Через стенную газету голос каждого рабочего услышат все!»

«Стенная газета — трибуна, на которую каждый может выйти и сказать о своих нуждах и сомнениях!»

«Какое бы событие ни случилось в цехе, если ты считаешь, что о нем надо оповестить товарищей, пиши в стенную газету!»

• «Ум — хорошо, а два — лучше, а если о твоём горе подумает весь завод, тогда, пожалуй, что-нибудь и придумаем!»

«Шептуном называется тот, кто меж товарищей сеет непроверенные слухи. Гражданином называем мы человека, который идет в стенгазету и сообщает о своих недоумениях!»

«Если ты не в состоянии написать в стенную газету сам, зайди в завком от... и до... и расскажи дежурному члену редколлегии все, что ты хочешь сообщить!»

«Если ты видишь невыполнение пункта коллективного договора, сообщи об этом в стенгазету!»

«Если ты заметил недостатки в охране труда, пиши в стенгазету!»

«Перо рабочего — враг бесхозяйственности!»

«Заметил непорядок в клубе? Пиши в стенную газету!»

Работа в стенной газете требовала постоянного и тесного контакта с партийной организацией, с ее руководством. Когда я пришел на завод, партийная наша организация насчитывала не больше двадцати человек; кандидаты, пришедшие в партию в Ленинский призыв, хотя это и были лучшие люди рабочего класса, еще не были подготовлены к активной партийной работе, их еще самих надо было воспитывать.

Но, несмотря на свою малочисленность, партийная организация была очень боеспособна, она не оставляла ни одного члена партии без партийных поручений. Такие члены партии с дореволюционным стажем, как упомянутые выше товарищи Иванов и Данилов, а также товарищ Машуль, латыш по происхождению, работали у станков и обладали не только высоким нравственным авторитетом у рабочей массы, но также известны были на заводе, как превосходные, высокой квалификации производственники. То же можно сказать и о других коммунистах, непосредственно работавших в цехе, — их авторитет как производственников стоял очень высоко. Вот почему партийная организация, наметив проведение какой-либо важной задачи, при всей своей малочисленности всегда с этой задачей справлялась.

Я уже упоминал о том, что товарищи Иванов и Данилов были неплохими агитаторами, но меня всегда поражало действие кратких выступлений Машуля, который и по-русски-то говорил затрудненно да и по характеру своему был немногословен. Но когда на собрании среди рабочих поднимали голос крикуны и демагоги, слово брал Машуль, и при виде его внушительной фигуры в темной блузе, его смуглого, словно отлитого из металла, лица все сразу затихали.

Насколько я помню, особенно много разговоров вызвало заключение нового коллективного договора. Машуль выступил, как всегда предварительно все

продумав, в его темных больших руках белела бумага. Он давал сопоставление нескольких цифр, но эти цифры звучали так, что крикунам уже не о чем было кричать, — неоспоримая истина, что выгода государства и выгода рабочего совпадают, была предельно убедительна для рабочей массы.

Очень интересны были общие собрания партийной организации. На них всегда присутствовали видные коммунисты, так называемые прикрепленные к партийной организации. В нашей партийной организации состояла, до своего отъезда на Северный Кавказ, секретарь Замоскворецкого района, соратник Ленина еще со II съезда партии, Розалия Самойловна Землячка. Иногда она брала слово по текущим вопросам партийной работы, говорила кратко, деловито, без красных слов.

Видный работник ЦКК, член партии с 1916 года, товарищ Стрелков рассказывал о ходе чистки вузовских ячеек. Известный комсомольский работник Игнат активно участвовал в жизни нашей организации. Секретарем партийного бюро был товарищ Ларионов, он отдавал делу партии все свои силы и при этом оставался всегда отзывчивым и добрым товарищем. Его, так же как и председателя завкома товарища Титова, уважал и любил весь завод.

О директоре нашего завода, товарище Янине, у меня еще будет случай сказать подробнее.

Стенгазета брала у меня все больше времени, но я с охотой занимался ею, целые дни проводил на заводе и в партийной организации. Тогда-то и зародилась у меня мысль о том, чтобы пойти работать на производство, встать к станку.

V

Чем больше общался я с рабочими, тем глубже становился мой интерес к быту рабочего класса, к духовной жизни рабочего. Были у меня также соображения о преодолении противоположности между ум-

ственным и физическим трудом. Конечно, в мотивах, которые привели меня к станку, было много наивного, и все же я в этом шаге ничуть не раскаиваюсь...

Нелегко далась мне работа у станка. Один из старых рабочих завода недавно напомнил мне, как я жаловался, что, вернувшись с работы домой, буквально валился с ног. Случалось, что, придя домой, я тут же засыпал, чтобы проснуться лишь на следующее утро, когда надо было торопиться бежать на завод. А ведь нужно было также вести стенную газету.

Только после окончания рабочего дня рабочие имели возможность посещать клуб и кружки, бывать на спектаклях, концертах и лекциях. Коммунисты шли на партийные собрания. Так я что называется на «своей шкуре» понял, почему рабочий класс с первых шагов своей борьбы столько пафоса и напора вкладывал в борьбу за восьмичасовой рабочий день.

В то время получилось так, что заработок мой на заводе был единственным источником моего существования. «Неделя», изданная в 1923 году несколькими тиражами, некоторое время в Москве не переиздавалась, областные издательства, переиздававшие ее, не всегда платили деньги. Конечно, я мог бы зарабатывать рецензиями и статьями, но не хотел этого и при всей незначительности своего рабочего бюджета укладывался в него, и мне нравилось так жить.

Рядом со мной на токарном станке работал коммунист Иван Федорович Волков. Мастер своего дела, человек большой доброты и ума, он никогда не спрашивал меня о причинах моего странного, с точки зрения окружающих, поступка — почему я пошел к станку. Он видел, что я живу со своего заработка. Когда другой мой сосед по станку, о котором речь пойдет ниже, начинал ко мне привязываться, допытываясь, с какими тайными целями я это сделал, Волков по-своему объяснял ему мой поступок. «Хочет человек иметь ремесло. Конечно, писать — это, знаешь, какое дело, не всякий ведь может стать Горьким...» — говорил он. Я сам никогда не додумался бы до такого объяснения.

Токари, работавшие со мной в одном цехе, хотя и знали меня как редактора стенной газеты, но к тому, что я пошел работать к станку, относились выжидательно. Не то Иван Федорович Волков.

Наладив свою работу и пустив станок на самоход, он прежде всего подходил ко мне. Он больше показывал, чем учил, всегда терпеливый, снисходительный, добродушный. Меня удивляло, что, заведя со мной разговор или следя за моей работой, он возвращался к своему станку как раз тогда, когда резец подходил к опасному пределу.

— Откуда вы это знаете? — спрашивал я.

— Научишься еще... — отвечал он с усмешкой.

Мой сосед с другой стороны был человек совсем иного склада. Он и работал хорошо и зарабатывал неплохо, но сильно выпивал и в таких случаях приходил в брюзгливое настроение. Тогда доставалось и нам, ближайшим соседям его по мастерской, и всем коммунистам, и советской власти. Особенно забавно было, когда он, сильно выпивший, сетовал на падение всяческих устоев, причем особенно поносил своего сынишку, который непочтительно говорил с ним и для которого он не жалел своего ремня. По поводу такого рода домогательств методов воспитания Волков, у которого была большая семья, иногда вступал с ним в спор, — как раз его отцовский авторитет в семье стоял настолько высоко, что ему не было нужды прибегать к телесным наказаниям.

Раз утром, придя в мастерскую, я заметил, что Волков покачивает головой, посмеивается. Я спросил, что именно привело моего учителя в веселое настроение, и узнал, что наш сосед настолько зверски избил своего сынишку, что тот пошел в милицию и показал свои раны и кровоподтеки. Из милиции пришли на квартиру к нашему соседу и пригрозили, что если он не перестанет зверствовать над своим сыном, то его подвергнут тюремному заключению.

— Я из дому уходил, с него подписку брали, — посмеиваясь, рассказывал Иван Федорович, — вот он и задержался.

Вскоре появился наш сосед. Его обрюзгшее лицо от негодования и ярости дрожало, как студень.

— Сына поучить нельзя, а? — кричал он. — Это что же за власть такая?! Сына против отца поддерживают!

— Учить надо не боем, а словом, — ответил Волков. — Тебя небось за то, что ты сына тиранишь, не бьют, хотя, может, и стоило бы... — сказал он без обычной улыбки.

Его серые, с небольшим зорким зрачком глаза с неожиданной суровостью взглянули на соседа. Тот сразу смолк и отвел глаза.

Иван Федорович был членом партии. Насколько мне помнится, он вступил в партию еще в трудном девятнадцатом году. Он был типичным представителем рабочего класса завода. В большинстве своем эти рабочие происходили из тех семей крепостных, которые были взяты на оброк у помещиков основателем гопперовской династии и с тех пор три, а иногда и четыре поколения работали на заводе. Отлично знающие свое дело, они гордились тем, что своей работой служат советской власти. Этим людям была свойственна большая нравственная устойчивость, она-то и сказывалась в поведении учителя моего Волкова, в его взглядах на жизнь.

В революцию 1905 года такие люди шли на баррикады Пресни, они во время Октябрьских боев 1917 года штурмовали Кремль. Из этой среды выходили герои гражданской войны, из них вербовались безукоризненной честности комиссары продовольственных и заградительных отрядов. Наиболее сознательных и образованных из них выдвигали, на профсоюзную, советскую и партийную работу. Таким был упомянутый выше товарищ Стрелков, работник контрольных комиссий партии, таким был заместитель председателя Моссовета Петр Яковлевич Волков, однофамилец моего учителя. При мне наша парторганизация послала выдвиженцами через МК партии товарищей Смирнова и Полковникова в «Москвауголь», Михеева в Наркомпрос, Осипова в Наркомвнудел, Абезгауза в

Центральную Контрольную Комиссию и Народный Комиссариат рабоче-крестьянской инспекции СССР.

Перед этими выдвиженцами Московский комитет поставил задачу освоить порученную им работу и заслужить авторитет у своих коллективов и организаций, чтобы их обязательно выдвинули на общественную работу в тех организациях, куда они были посланы.

Со всеми этими выдвиженцами я порою встречался на заводе. Даже те из них, которые были уже откреплены от заводской партийной ячейки, все равно время от времени появлялись на заводе, принимали участие в заводских делах, охотно отчитывались перед той или иной рабочей организацией.

Когда представители буржуазной демократии нам тычут свои хваленые «свободы», я представляю себе эту подлинную советскую демократию, которую я в действии видел на заводе имени Владимира Ильича и позднее на других предприятиях, и мне становится смешно: разве можно сравнить действительную демократию советского строя, это подлинное господство народа, с крикливой и обманной буржуазной демократией, при которой рабочие на предприятиях, где они работают, являются наемными рабами владельцев предприятий и «свобода» сводится к ограниченному праву один раз в несколько лет проголосовать за одного из кандидатов буржуазных партий!

Рабочие хорошо сознавали свою руководящую роль в государстве и гордились ею. В нашей стране из горнила боев против капитализма вышел нравственно стойкий и гордый рабочий класс; похоже было, что эти люди знают какой-то точный кодекс нравственного поведения. Так думалось мне, когда я наблюдал за Иваном Федоровичем Волковым. Но Волков был коммунист, а мне запомнились и беспартийные рабочие с такой же, как у него, нравственной закалкой.

Посредине лета 1924 года я на несколько дней поехал в Дом отдыха металлистов в Звенигород. Со мной рядом в комнате находился кузнец с нашего же завода, — фамилию его я, признаться, забыл. Это

был уже пожилой, атлетического сложения человек. Волосы его изрядно поредели, на лбу обозначились морщины. Хотя была у него большая семья и жилось ему не очень легко, любимой темой его разговоров со мной были его дети, о которых он говорил с какой-то сознательной, бережливой любовью.

— Катерина, значит, вышла замуж в этом году, — медленно говорил он. — Что ж, зять ничего, живут они хорошо. Дело тут пущено в ход... Мишка в этом году ФЗУ кончает, значит тоже пойдет в ход. А вот насчет Аннушки еще крепко подумать нужно. Такая она книжная, такая успешная. Особенно ее в школе за математику хвалят. Значит, в будущем году, после второй ступени, надо двинуть ее в институт — пусть в инженеры выйдет. Она, видно, крепко в ход пойдет...

Это выражение «пойдет в ход» очень запомнилось мне. В нем неразрывно слиты были и нежная забота о родном детище и высокосознательное стремление, чтобы его сын или дочка приносили пользу людям, советскому государству. Ведь он сознавал, что ему нелегко придется, когда Аннушка, вместо того чтобы зарабатывать и «приносить в семью», будет несколько лет учиться в вузе. И он, привольно раскинувшись рядом со мной на лежаке, озабоченно поглядывал на жилы, вздувшиеся на его могучих руках.

— Ну, да ничего, советская власть, она в этом деле на помощь придет. Верно я понимаю, товарищ? — И он взглядывал на меня, словно ища подтверждения.

Сам он газет не читал, но, увидев у меня газету, непременно спрашивал о новостях и особенно интересовался, как обстоят дела с лейбористским кабинетом Макдональда в Англии, который в то время ненадолго пришел к власти. Я уверял, что Макдональд у власти долго не удержится. Ведь собственность на фабрики и заводы остается в руках у капиталистов. Он, покачивая головой, вздыхал. Здравый политический смысл русского рабочего подсказывал ему, что я прав, но очень он сочувствовал английским рабочим, и, видно, очень ему хотелось, чтобы они удержались у власти: «Хотя они и ошибаются, но ведь свои, товарищи...»

По обязанности редактора стенной газеты я и до того, как стал работать у станка, уделял большое внимание повседневным мелочам производства. Сейчас же, когда сам стал работать, я на опыте своем понял все значение для рабочих этих повседневных мелочей. Раньше серьезное обсуждение количества писсуаров в уборных на заседании инспекции по охране труда просто рассмешило бы меня. Сейчас, когда я знал, во что обходится каждая минута рабочего времени, мне и в голову не приходило смеяться над подобными «мелочами».

А вопрос о переустройстве вентиляции в механической мастерской будил у стариков рабочих воспоминания о бывших владельцах завода, об их отношениях к рабочему: на молебны денег не жалели, а за требование вентиляции гнали с завода!

В 1924 году завод был на подъеме. Еще при жизни Владимира Ильича и при его содействии завод получил заказ на изготовление машин для гидравлической добычи торфа. Машина эта работала по принципу размыва торфяных залежей водяной струей высокого давления при последующей переработке и транспортировке торфяной массы по трубам в виде жидкости. Она изобретена была инженером Классоном. В молодости связанный в Петербурге с Союзом борьбы за освобождение рабочего класса, Классон впоследствии отошел от революционного движения, хотя и сохранил связь с В. И. Лениным. Вот почему этот заказ снова возвращал мысли рабочих к Владимиру Ильичу, напоминая о том, что он заботился о заводе и уверен был в силе и способностях рабочего коллектива. Машина эта на некоторое время определила производственное лицо завода, даже наша стенная газета была названа «Редуктор» — так называлась одна из деталей машины.

Каждый рабочий знал, что торф, который будут добывать наши машины, должен пойти в топку действующей Богородской электростанции, а в дальнейшем в топку уже строившейся в то время Шатурской электростанции, первенца плана ГОЭЛРО. На заводе работали сверхурочно, — наши рабочие рас-

сма тривали правительственный заказ как выполнение завещания Ленина, который еще в начале марта 1923 года писал:

«Товарищам, работающим в Гидроторфел

Благодаря моей помощи, вы теперь получили то, что необходимо для ваших работ. При всей нашей бедности и убожестве вам сверх ранее выданных сумм ассигнованы еще крупные суммы. Строжайше озаботиться:

1. Чтобы не сделать чего-нибудь зря.

2. Чтобы не размахнуться больше, чем это позволяют отпущенные средства...

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)
2 марта 1923 года. № 8230».

Это письмо в свое время было оглашено Николаем Яковлевичем Ивановым на общем собрании рабочих в старом механическом цехе и крепко запомнилось, вокруг него наша партийная организация мобилизовала весь завод, и количество выпускаемых машин повышалось из месяца в месяц. Завод имени Владимира Ильича в то время одним из первых перешел на хозяйственный расчет, производство велось на основе единого, самостоятельного финансового баланса. Суровый хозрасчет и режим экономии находили постоянное воплощение в практике работы тогдашнего директора завода Г. К. Янина.

Он очень запомнился мне со своей внешне суровой и сдержанной манерой, глуховатым голосом и бледным лицом, обрамленным аккуратно подстриженной темной бородой.

Как раз в то время, когда я работал на заводе, на цеховых собраниях, в завкоме и в партийной организации шло основательное и оживленное обсуждение коллективного договора. Это было дело, которое касалось жизненных интересов каждого рабочего, и пункты коллективного договора рассматривались со всей тщательностью. Потом договор был подписан и пошел на утверждение в областной комитет Профсоюза ме-

таллистов. Согласно этому договору в основу исчисления заработной платы положена была оценка одного часа работы в двадцать товарных копеек. В обкоме профсоюза эта оплата показалась заниженной — у тогдашних руководителей профсоюза было несколько преувеличенное представление о доходах завода имени Владимира Ильича. Руководители обкома профсоюза считали, что в основу исчисления заработной платы на заводе должно быть положено не двадцать копеек за час рабочего времени, а двадцать две копейки. Потому обком профсоюза предложил заводским организациям вновь вернуться к обсуждению коллективного договора.

При этом вторичном обсуждении завком и партийная организация поддержали точку зрения обкома профсоюза, и только директор категорически заявил, что он придерживается прежней точки зрения. И он остался непоколебим, хотя выслушал много колкостей и неприятных замечаний по поводу того, что у него есть тенденция к эксплуатации рабочего класса и т. д.

Когда мы вместе возвращались после этого собрания, я сказал, что меня удивила его несговорчивость по вопросу столь незначительному.

— То есть как это незначительному? — переспросил он с удивлением и даже с раздражением. — Да ведь из таких как будто бы незначительных двух копеек разницы складывается реальный бюджет завода, а затем бюджет всей нашей промышленности и в конце концов всего нашего государства! Они толкуют мне, что я-де эксплуататор, но мне только распространяться не хотелось на собрании по этому вопросу! Вот, например, мне по штату положена легковая машина, и она у нас имеется, а я всегда хожу пешком. Это, кстати, и для здоровья полезно. И когда я посчитал, во что обойдется заводу моя езда на машине, тоже получилась довольно основательная сумма. И что бы там они ни говорили, я им по этому вопросу не только двух копеек, но и копейки не уступлю! Потому что это моя обязанность — экономить каждую советскую копейку, которая пойдет на укрепление нашей государственной промышленности, на построение социализма

в нашей стране, то есть на то великое дело, ради которого тысячи наших лучших людей отдали свою жизнь! Нет, я буду конфликтовать, я до примирительной камеры при Наркомтруде дойду!

На цеховых собраниях Янин апеллировал к государственному разуму рабочих, и его точку зрения поддержали. Но эпизод этот навсегда сохранился в моей памяти — он довершил мое представление о старом большевике Г. К. Янине, воплотившем в себе лучшие черты советского хозяйственника.

На одном из заседаний партийной ячейки Янин сказал в ответ на упрек в пуританстве — речь шла о пьяном дебоше, устроенном одним из членов партии в присутствии беспартийных рабочих:

— Что ж, мы и должны быть в какой-то степени аскетами в то трудное время, которое мы переживаем. А тот кто не понимает, что это время поставило перед нами новые трудные задачи, тому суждено запутаться в сложной обстановке нэпа, как это и получилось с этим товарищем.

Более тридцати лет прошло с тех пор, я мог не запомнить того или иного слова этой речи, но самый смысл ее, так же как наружность Янина, это бледное, с темной бородкой лицо, помню я отлично. И сочувственно откликнулась на его слова моя душа.

Ведь тогда в восторге, опьяненный восстановлением частной торговли, нэпман пел:

Разговор теперь иной.
В каждом доме по пивной,
В доме пролетаря
«Новая Бавария»!

И мелкобуржуазные упадочники в политике и в литературе подпевали: «В каждом доме по пивной», — слышите, революция идет к своей гибели!»

Строится дом, и каждый кирпич хочет меня убить... —

мрачно декламировал один молодой поэт.

— Он хочет убить не тебя, а нэпмана! — ответил я, и мне представлялась крепнущая мощь нашего рабо-

тающего для социализма завода, и фигура коммуниста Янина вырисовывалась передо мной во всей своей силе и правде.

Впрочем, суровый и непреклонный Янин проявлял порой большую доброту и чуткость. Так случилось, когда у одного из старейших и ценных рабочих завода, у ремонтного слесаря, умерла его старушка жена. Не помню фамилии его, назовем его условно Васильев. Но сам он хорошо запомнился мне, со сбитой набок челюстью, веселыми и даже озорными глазами, хрипловатым баском, которым он отпускал незатейливые шутки. Он сильно любил выпить, и его старушка жена, работавшая на одной из ближайших текстильных фабрик, порою составляла ему компанию. Выпивали они дома, а потом оба, старенькие, пьяненькие, выползали на улицу и вместе пели старинные песни своей молодости.

Солнце садилось в низкой и алой пыли, невидимый за новыми, высокими зданиями, грохотал завод, дети играли в канавах, юноши и девушки церемонно проходили между жиденькими деревьями недавно посаженного бульвара, и не было ни среди детей, ни среди юношей единственного, погибшего во время гражданской войны, сына этих стариков, — того голубоглазого сутулящегося милого мальчика, имя которого они боялись произносить даже друг с другом.

Однажды в обеденный перерыв старик, против обыкновения, пришел трезвый к секретарю партийной ячейки. Старик Васильев был беспартийным, но так как погибший на фронте гражданской войны сын его состоял в партии, у него было особенное отношение к партийной организации, он как бы считал себя ее родственником. Лицо у Васильева было серое, губы дергались.

— Беда у меня, дорогие товарищи, — сказал он секретарю ячейки и всем тем, кто находился в комнате. — Старуха померла.

Конечно, всем было жалко старика. Он теперь остался совсем один на свете.

— Ну, не горюй, Петрович, — сказал секретарь ячейки. — Ты же знаешь, мы все тебя любим...

Старик кивнул головой, он был в этом уверен, потому и пришел сюда.

— Похоронить нужно, — сказал он. — Похоронить нужно с честью. Оркестр нужен для похорон.

Все переглянулись. В то время оркестр был очень большой роскошью, не на всякое торжественное заседание удавалось достать оркестр.

— Ну, зачем же оркестр? — миролюбиво сказал секретарь. — У нас есть при клубе хоровой кружок, попроси ребят — они споют что-нибудь соответственное.

Старик рассердился.

— Чтоб спеть такое соответственное, так это я могу и певчих из церкви позвать. Но она не того достойна, она была мать коммунара! — сказал он с несвойственной ему торжественностью.

— Чего же ты хочешь? — спросил секретарь ячейки, уже начиная сердиться. — Где я тебе возьму оркестр? Ведь это денег стоит, а хозяин у нас, сам знаешь, какой! Ты ему только заикнись насчет оркестра...

— Ну что ж, я заикнусь! — зловеще сказал старик и ушел.

После его ухода начался громкий разговор. Одни жалели старика и считали, что действительно было бы хорошо нанять оркестр, другие говорили, что это пустяки и нельзя старуху пьянчужку хоронить с оркестром, третьи высказывали предположение о том, какой характер будет носить разговор Янина с Васильевым.

Вдруг дверь открылась, и все смолкли. В комнату вошел Янин и сказал, обращаясь к секретарю ячейки:

— У меня что-то телефон не работает. Вот что, Тимофеев, — обратился он к большеротому, с выпуклыми и добрыми глазами секретарю комсомола, — вот тебе записка моя командиру полка, чтобы дали нам оркестр. Надо Елену Осиповну похоронить как полагается... Она нам не чужой человек была.

И на безмолвный вопрос, изобразившийся на лице секретаря, он сказал со вздохом:

— Конечно, в копеечку нам это влетит, но ничего, деньги мы найдем.

Я был на этих похоронах.

Старуху везли кони в черных пополах, гроб был обит красным кумачом, оркестр шел за гробом и играл траурный марш Шопена и любимую песню Ильича «Замучен тяжелой неволей...» Многоголосый хор рабочих завода подхватывал торжественные, скорбные слова. Со середины пути стал накрапывать дождь, но старуху проводили далеко за город, на новое кладбище, где похоронены были красногвардейцы, и над гробом ее была сказана только одна речь, и сказал ее Янин.

Он говорил о чести и славе скромных тружеников и тружениц, таких вот, как муж и жена Васильевы, об отцах и матерях, подготовивших и воспитавших то поколение молодых орлов, которое крови своей не пожалело на создание нового строя. Он говорил, что нам еще рано праздновать и торжествовать, что мы живем в суровое время, но мы имеем все для того, чтобы осуществить на нашей земле социализм, дерзновенную мечту человечества.

С того времени прошло больше тридцати лет, и, возможно, кое-что в моей памяти сохранилось не совсем так, как я здесь написал. Но таким запомнился мне Янин Григорий Кузьмич, большевик-подпольщик, ставший одним из многих ответственных работников советского государства, одним из тех работников, для которых слова «режим экономии», «режим сохранения советской копейки» стали девизом и повседневным правилом. Эти люди сделали все, чтобы скопить и сберечь средства, необходимые для осуществления пятилеток строительства социализма.

И если от гражданской войны остались как типические выразители эпохи командир Чапаев и комиссар Фурманов, то от эпохи восстановления следовало бы сохранить в памяти народа героя этого времени, хозяйственника-коммуниста Григория Кузьмича Янина. И право, те качества, которые он и подобные ему люди обнаружили, мы и сейчас требуем от работников советского государства.

Этот эпизод еще запомнился мне потому, что после похорон я был приглашен на поминки на квартиру к старику Васильеву.

Уж не помню, за что мне была оказана такая честь. Приглашены туда были только старики рабочие, сверстники и дружки хозяина, но после нескольких выпитых рюмок вдруг те самые старики модельщики, которые раньше ничего не отвечали на мои расспросы о Самохине, вдруг заговорили сами. Первым назвал имя Самохина старик модельщик Михаил Алексеевич Алексеев.

Оказывается, до того как стать марксистом, Самохин пережил период религиозности — в белой рубашке в церковь ходил, не то что Дмитрий Наумов, который всегда был безбожником. С вопросов религии эсе и началось. Дмитрий Наумов, достаточно образованный, вступил в спор с Самохиным по общим вопросам мировоззрения, и под натиском новых для него научных истин о вселенной, о происхождении жизни на земле рухнули религиозные и церковные положения. Ну, а когда рухнули, Самохин уже сам после бога легко сокрушил царя. И стали они искать студента... — с таинственным видом говорили старики.

А студентом этим и оказался Сергей Иванович Мицкевич, он принес книжку «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса и стал его толковать.

Я своими жадными вопросами подливал масла в огонь, и мне было рассказано о первой маевке гопперовских рабочих, происшедшей в Орловой роще. И тогда Михаил Алексеевич вдруг ушел и принес мне старый, выцветший групповой снимок — первая маевка в Москве, 1885 или 1886 года. Среди по-весеннему мелколистных берез и осинок стояли по-праздничному одетые, в картузах с лакированными козырьками и отглаженных пиджаках, рабочие.

Фотография эта была вручена мне. И когда на заводе появился корреспондент «Известий» Н. И. Мильграм и узнал, что у меня имеется такая фотография, он попросил ее у меня, с обещанием напечатать в газете и вернуть. Фотография эта появилась на страницах «Известий» не то в 1924, не то в 1925 году.

Громадное впечатление произвели на меня эти рассказы. Особенно ярко вырисовывалась передо мной фигура Самохина, который вскорости переехал в Пе-

тербург и был одним из сподвижников Ленина по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса. В Самохине было сходство с молодым Шаповаловым, таким, каким он представлялся мне по своей замечательной книжке.

Мне захотелось написать пьесу о тех временах, о заре рабочего движения в Москве, — наброски этой пьесы сохранились у меня в записной книжке.

К этому времени я с работой у станка уже свыкся. Теперь, поставив станок на самоход и задумавшись, я вдруг вздрагивал именно тогда, когда мог запортить изделие, — раньше такого рода казусы со мной случались.

После некоторых лихорадочных и неосуществленных литературных замыслов, за которые я порою хватался и которые словно таяли в моих руках, передо мной все с большей отчетливостью стали вырисовываться основные черты последнего, пережитого мною в армии периода, когда я работал сначала в одной, а потом в другой военных школах — сначала на Окружных военно-политических курсах, потом в Высшей военной школе связи. Теперь передо мной стали проступать типические черты этого ушедшего в прошлое периода, а работа на заводе помогла мне совсем по-новому увидеть лучших из своих сослуживцев и друзей по армии — комиссаров. Я как бы добрался до их самых глубоких классовых корней. Работа на заводе помогла мне объяснить реалистически те черты их психологии, которым раньше я не придавал значения или которые романтически преувеличивал. Так стали в моем воображении вырисовываться комиссары пролетарского происхождения: Злыднев, Васильев, Лобачев, Громов...

Так рождались «Комиссары», они задумывались под непрерывный и изрядно утомительный шум трансмиссий, под особенный, мягко-металлический звук резца, снимающего стружку...

К теме «Комиссаров» приволили меня также раздумья над той обстановкой, которая складывалась в то время в стране, в партии.

И в дискуссии 1923 года и в дискуссии 1925—

1926 годов оценка нэпа обычно была той отправной точкой, от которой спорящие потом, уже в процессе спора, приходили к различным оценкам соотношений классов, характера государства и т. д.

Вот почему моя мысль вернулась к недавнему прошлому, когда декрет о продналоге и брошюра Владимира Ильича обозначили грань между военным коммунизмом и новой экономической политикой. И так как я сам этот переход от военного коммунизма к нэпу совершил, будучи в учебно-политическом руководстве Окрвоенполиткурсов в Екатеринбурге (ныне Свердловск), где были собраны на политическую переподготовку комиссары и политработники всего округа, то у меня возникло стремление показать, как на этом важнейшем, узловом моменте истории партии, на переходе от военного коммунизма к нэпу, происходила проба большевистского качества партийного коллектива.

Я старался понять и осмыслить еще самому мне неясные образы Миндлова и Арефьева, если можно так выразиться, пробуя их на переходе к нэпу. И «проба» удалась, они мне стали ясны. Тогда я стал таким же способом «пробовать» комиссаров рабочего происхождения, и на этой «пробе» для меня прояснились и обнаружались различные, иногда положительные, а иногда и отрицательные, свойства моих героев: одни из них определялись как большевистские революционеры, другие — как люди с элементами отсталости, мелкобуржуазности, застоя.

Я поставил своей целью показать, что на таком узловом моменте, как переход к нэпу, закалялось основное ядро партии и выявляли себя не только чуждые элементы, но также сказались неустойчивые и «надтреснутые» партийцы, причем порою проявлялось это не только в прямой форме политического уклона, но и в тех оттенках и настроениях, по которым можно судить о степени подготовки коммуниста к новому этапу жизни страны.

Мне хотелось показать как жила партийная организация на таком переломном моменте, как переход от военного коммунизма к нэпу, как происходила борьба

ба за правильную партийную линию, показать, что толкает людей в уклоны от правильной линии и как, упорствуя на ошибках, коммунисты отходят все дальше от правильной линии партии.

Фактического материала у меня было достаточно — я с 1921 года по 1924 год был в двух военных школах, — и я решил показать такую школу на переломе, черпая материал то из одной, то из другой школы и типически его обобщая.

Но когда я уже остановился на теме «Комиссаров» и определил ее для себя, я понял, что дальнейшая работа у станка будет мешать мне в максимально быстрые сроки закончить эту работу.

Удача «Комиссаров» окончательно определила то, что я стал профессиональным литератором. Но краткий период работы на заводе имени Владимира Ильича наложил отпечаток на всю мою жизнь. Мне стали ясны те основные устои, на которых держится советское общество. С тех пор я не мыслю себе работы в литературе без постоянной связи с жизнью трудящихся людей. Это стало одним из основных принципов моей творческой работы.

С тех пор как литература стала моей профессией, я провел свою жизнь в писательской среде. И я об этом не жалею. Среди советских писателей встретил я много прекрасных людей.

Составляя эту книгу о моих друзьях и современниках, я еще раз убедился, что эти люди обладали лучшими чертами, свойственными советскому человеку и человеку вообще.

Здесь собраны воспоминания о людях, которых уже нет на свете. Но я мог бы написать такую же книгу об очень многих ныне здравствующих и работающих писателях — моих друзьях и современниках. Это прекрасные, честные, высокоидейные труженики, рассматривающие наше писательское дело как высокое служение народу, как могучее орудие нравственного и культурного его совершенствования, как одно из средств построения коммунистического общества.

Большевик, воин, писатель

I

С тех пор как я в первый раз прочел «Чапаева», прожита целая жизнь. Жизнь прожить — не поле перейти: все, что несущественно и случайно, стирает время. Но то, что положено в основу души, с годами особенно затвердевает, и об этом уже никогда не забудешь.

В начале 1923 года я прочел первый вариант «Чапаева», выпущенный Истпартом. Фамилию автора — Фурманов — я слышал ранее. Это был видный политический работник Красной Армии и редактор военно-политического журнала «Политработник».

Встреча с первой книгой Дмитрия Фурманова была переживанием настолько сильным, что мне, как это всегда бывает в таких случаях, запомнились все обстоятельства того зимнего дня. Это произошло в воскресенье, в свободное от служебных дел время. Помню, как после утренней прогулки по заснеженным переулкам Москвы вернулся я домой, прилег на кровать, раскрыл журнал, и как только дочитал до первого знакомства Фурманова с Чапаевым, тут уж не мог удержаться и находившиеся в комнате стали взволнованными и внимательными слушателями этих замечательных страниц.

Вскоре после прочтения «Чапаева», в эту же зиму, в первый раз увидел я Дмитрия Андреевича. Это было в начале зимы 1923 года, в редакции журнала «Молодая гвардия», помещавшейся тогда на Новой площади, за Китайской, ныне не существующей стеной.

Дмитрий Андреевич был в солдатской, насколько я помню, зеленой шинели, в папаше солдатского образца — ее боковины были отстегнуты и опущены, прикрывая щеки и даже шею. Был суровый зимний день, белое небо без солнца, по земле наискось летела жесткая крупа...

Приехал Дмитрий Андреевич на открытой машине, сильно замерз. Я впоследствии замечал, что лицо его плохо выносит морозы — оно в зимнюю пору бывало слегка обветрено. С первого взгляда он понравился мне, но это было странное по двойственности впечатление.

В тот день Дмитрий Андреевич принес в журнал «Молодая гвардия» рукопись. Улыбаясь дружелюбно, он требовал (иного слова не подберешь), чтобы я дал ему точный — до часа! — срок ее прочтения. Когда я попросил его позвонить по телефону, он вынул аккуратненькую книжечку и записал туда время, когда надлежало позвонить.

Но при этом он не производил впечатления черствости или чопорности. Он был непринужденно приветлив, после него осталось впечатление бодрости, словно по редакционной комнате прошел веселый и свежий ветер.

Наружность Дмитрия Андреевича Фурманова хорошо передается его photographиями. Как все непринужденные и непретенциозные люди, он удачно получался на фотоснимках. Берешь сейчас любое фото — и въявь представляются его темно-карие быстрые глаза, взгляд, веселый и пристально задерживающийся на собеседнике, приветливый и одновременно берущий всерьез, упрямо-внимательный, несколько даже углубленный в себя. В посадке головы есть упрямство — он держит ее несколько лбом вперед, особенно при ходьбе, быть может от привычки все время раз-

мышлять... Походка у него быстрая, легкая, стройность сложения почти юношеская, плечи немного покаты, и над высоким лбом мягко кудрявятся волосы. Складу его красивого рта свойственны серьезность и вместе с тем всегдашняя готовность рассмеяться.

Так он выглядел — один из самых привлекательных людей, которых мне пришлось встретить в жизни.

По своему душевному складу Дмитрий Андреевич Фурманов был так же привлекателен, как по своей наружности. В обращении с людьми у него господствовал внимательно-ласковый и ровный тон. В литературное дело принес он до этого невиданную организованность, деловитость и дисциплину.

В Фурманове было воплощено то самое лучшее, что в складывающуюся советскую литературу принесли писатели, пришедшие по окончании гражданской войны с различных участков политической работы, комсомольские активисты, политработники армии, журналисты, советские работники. В революцию он вступил сложившимся человеком и первый, еще в огне гражданской войны, нашел те черты, которые должны быть свойственны писателю нового типа, участнику борьбы за социализм, строителю его и при этом пристальному и постоянно наблюдающему и исследователю действительности.

Так возникли «Чапаев», «Мятеж», «Десант», так создавалась новая книга «Писатели» — книга о литературной среде, в которую Фурманов принес все те же страсть и пафос революционера, двигавшие им в его политической работе в армии, и то же пристальное, трезвое и взволнованное внимание.

Едва ли не больше, чем кто-либо другой из писателей его поколения и его формации, он чувствовал принципиальную новизну того, что он принес в литературу. Но при этом именно ему меньше, чем кому бы то ни было другому, были свойственны чванство и зазнайство в отношении всего того, что до него и рядом с ним существовало в советской литературе.

Помню, как его поразили первые произведения Бабеля. Кажется, вот бы почва для антагонизма — Бабель писал о тех же людях, рядом с которыми

комиссар Фурманов провел гражданскую войну, и писал так непохоже... Фурманову в Бабеле многое казалось неправильным, уродливо искаженным. Но, как сейчас помню, Дмитрий Андреевич заметил в Бабеле то, что многие совсем не склонны были тогда замечать, — его высокое мастерство в овладении словом.

Всеволод Иванов, Леонов, Сейфуллина и многие другие писатели, почти одновременно с ним или немного раньше начинавшие свой путь в литературе, — никто не уходил от его глаза, заботливого и хозяйского. Именно *хозяйского*. Не только представителем молодой и воинствующей литературной школы чувствовал он себя — это чувство у него тоже было, но при этом он умел сохранить хозяйскую бережливость ко всей складывающейся тогда советской литературе. Это великое партийное чувство, кроме Фурманова, было из писателей-коммунистов свойственно тогда едва ли не одному А. С. Серафимовичу. Именно такие качества и обусловили исключительно большую организаторскую работу в литературе, которую Д. А. Фурманов за короткое время проделал.

Придя в новую для него и достаточно сложную литературную среду того времени, Дмитрий Андреевич Фурманов сумел изучить ее, по-большевистски разобраться в ней и установить и выделить положительные черты, черты складывающейся советской литературы, от всего наносного, чужеродного и вредного. Он первый начал борьбу против некоторых крикливых политиканов, которые порою пытались выдать себя за правоверных носителей партийных взглядов в литературе.

Этой борьбе за правильность линии партии, борьбе тем более тяжелой, что даже товарищи, ему наиболее близкие, порой не понимали его и оценили все значение его борьбы только после его смерти, Дмитрий Андреевич отдавал все свои силы.

Дмитрий Андреевич принимал деятельное участие в подготовке исторического документа — резолюции ЦК партии о художественной литературе, опубликованной в 1925 году. Эта резолюция явилась програм-

мой дальнейшего роста советской литературы, вокруг нее группировалось все здоровое, что было как в среде коммунистов-писателей, так и в среде писателей беспартийных.

Меня всегда поражало то, как много успевает Дмитрий Андреевич. Он был первым секретарем Московской ассоциации пролетарских писателей, он проводил заседания, ездил по кружкам и группам, участвовал в литературных дискуссиях, представлял организацию вовне, буднично руководил ею повседневно. Одновременно он работал главным редактором литературно-художественного отдела ГИЗа, что означало тысячи печатных листов, которые он прочитывал и правил. Но, работая на этой должности, он на практике осуществлял линию партии в литературе и первый начал без визга и шума парализовать дезорганизующее, антипартийное влияние некоторых, по тем временам довольно влиятельных, «деятелей» литературы. Фурманов вел литературный кружок в одном из рабочих районов Москвы и очень дорожил этой работой. При всей огромной организаторской работе он за это время:

- а) написал «Мятеж» и «Десант»,
- б) перередактировал «Чапаева»,
- в) написал целый ряд мелких рассказов и очерков,
- г) делал записки и разрабатывал план романа «Писатели»,

д) систематически, как и всю жизнь, вел дневник, в котором вся эта огромная работа, а также его повседневные наблюдения за людьми, с которыми он общался, мысли и чувства были записаны хотя и конспективно, но вполне достаточно для того, чтобы впоследствии подтолкнуть память и быть развернутыми в художественный образ.

При всем этом он внимательно следил за советской прессой и не просто прочитывал газеты, но делал постоянные записки и вырезки по интересующим его вопросам.

Он не смог бы сделать и половины того, что сделал, если бы строжайшим образом не регламентировал свою жизнь. Он объявил решительную войну вся-

кой богемщине и расхлябанности и всегда требовал делового ведения собрания, точного сбора, деловитости выступления, ответственности в выполнении поручения.

Сговариваешься прийти к нему на работу в два часа, а приходишь в половине третьего. Он отказывается разговаривать... Мы — друзья. Я по лицу его вижу, что он попросту рад меня видеть. Но тщетно я прошу дать мне «аудиенцию», он ласково смеется, но решительно отказывается разговаривать: у него уже идут другие дела, и, кроме того, он еще явно хочет приучить меня к аккуратности и делает это без всякого педантизма, очень весело и ласково.

Его очень возмущало и огорчало, когда опаздывали на собрания секретариата, правления. И вот неоднократно случалось, что опоздавший, придя на заседание, заставал следующую картину. Дмитрий Андреевич сам вслух ставит вопрос, после некоторого раздумья сам себе отвечает. Любовь Иосифовна Коган (тогда технический секретарь МАПП) ведет протокол. «Садись! — говорит Дмитрий Андреевич, сердито взглянув на опоздавшего. — Видишь, никого нет, первый ты, а уже опоздал на двадцать минут! Я тут сам разобрал два вопроса, — после заседания ознакомишься, если есть возражения, договоримся!»

Для Фурманова поджидать опоздавшего означало подчиниться расхлябанному стилю жизни, а этому стилю жизни он объявил войну и вел ее настойчиво и весело.

Дмитрий Андреевич Фурманов жил в непрестанном бодром и веселом ритме работы. Это было похоже на марш, на бодрый походный шаг под музыку, которую он слышал откуда-то изнутри своей молодой и вдохновенной души. В этом не было ничего принужденного, бездушно-ханжеского и доктринерского. Он жил напряженно, организованно и дисциплинированно. Ему было весело так жить, и, дружа с ним, невольно хотелось подражать бодрому трудовому темпу его жизни. Его день был настолько компактен, что наперед обдуманы были каждые четверть часа.

Встав рано утром и проделав гимнастику, Дмит-

рий Андреевич ранние эти часы, когда голова особенно свежа, посвящал своему очередному произведению, тому, над которым он работал. Был период, когда я часто оставался ночевать у него. Утром хочется поговорить с ним, приоткроешь дверь в его кабинет, увидишь в щель его упрямый затылок, всю его склонившуюся над письменным столом фигуру — и понимаешь, что тревожить его нельзя.

Поработав, он шел на службу. С Нащокинского переулка и до центра он обязательно шел пешком, стараясь по возможности выбирать различные маршруты, — это была его прогулка, — так же, как и после работы домой, пообедать и снова на собрание или на заседание — обязательно пешком. Я и сейчас без грустного волнения и нежности не могу смотреть на тротуар Пречистенского бульвара: сколько раз после какой-либо ожесточенной дискуссии того времени шли мы быстро и весело по безлюдному этому тротуару, мимо домов, которые вот так же, как сейчас, стояли более тридцати лет тому назад... Все то, что на дискуссии выражалось в отчетливых и сухих формулировках, в дружеской беседе расшифровывалось в лирике переживаний. Здесь — творческие планы, еще не отделенные от плоти собственной биографии, и вот писатель Фурманов, рассказывая о своей очередной работе (он работал тогда над «Мятежом»), вновь превращается во взволнованного участника замечательных событий... «Пьесу об этом написать надо!» — восклицает он, и это значит, что пьеса через год, через два, но будет написана!

II

На улице Фурманова, раньше Нащокинском переулке, еще и сейчас стоит дом, над воротами которого вделан барельеф, очерчивающий мужественный профиль молодого лица, — профиль Дмитрия Андреевича Фурманова.

В этом доме, в двух смежных комнатах, он и проживал. В первой помещалась столовая, а во второй,

которая была немного выше ее (от первой она отделялась одной ступенькой), — кабинет и спальня. Эта комната была прямо над воротами, как раз там, где сейчас находится барельеф. Возле окна, немного наискось, стоял письменный стол Дмитрия Андреевича. Стены заставлены книжными полками, и подбор книг отражал склонности хозяина: русская классическая литература, Маркс, Энгельс, Ленин и большая коллекция — иначе, пожалуй, и не назовешь — уникальных изданий, посвященных пражданской войне.

«Чапаев» был в то время уже написан, «Мятеж» создавался, а на полках Дмитрия Андреевича продолжал собираться материал, освещающий гражданскую войну. Здесь можно было найти редчайшие сборники и папки с материалами о Щорсе и Боженко, Буденном и Котовском, труды по военным вопросам, военные приказы товарищей Сталина, Фрунзе и Ворошилова.

Перед друзьями широко были раскрыты двери гостеприимного фурмановского дома, где за дружеским столом встречались земляки и старые друзья Дмитрия Андреевича — ивановцы — с новыми друзьями, с писателями. Дом Дмитрия Андреевича считали своим долгом посетить, порою при самом кратковременном пребывании в Москве, многочисленные военные сослуживцы Фурманова по Чапаевской дивизии, по Средней Азии, по Кубани. Начинались воспоминания и рассказы, — право, из одних этих рассказов можно было бы составить венок новелл о гражданской войне.

Дмитрий Андреевич, умея работать, умел и любил отдыхать. Он находил время и охоту сделать свои две комнаты притягательным центром для своих друзей. Нигде мы так хорошо не веселились и не отдыхали, как у Митяя. Он умел в каждом человеке выделить самое лучшее и культивировать в нем это лучшее. Он любил в товарищеском кругу вдруг вспомнить вслух о правильном, хорошем поступке кого-либо из нас, и ценная черта, нашедшая проявление в этом поступке, как бы передавалась всему коллективу. Это были

черты идейности, смелости, политической сознательности, находчивости в идейной борьбе, подлинной культурности. Но делал он это опять-таки не по прописям, а с живым и непосредственным восхищением. Так он учил нас ценить друг друга для нашего общего дела. И отсюда та чудесная атмосфера веселого отдыха, которую создавал Фурманов дома, когда устраивал вечеринку.

Кто бывал на фурмановских вечеринках, никогда их не забудет. Вечеринку он намечал точно, как день неотложного заседания, и так же настойчиво просил не забывать о ней и не опаздывать. Заранее обдумывал и подготавливал все веселое ее хозяйство. И вот он встречает гостей. Он сам праздник, воплощение этой вечеринки. Кудрявый, темно-румяный, в домашней рубашке с мягким воротником, он приветливо улыбается, посмеивается, подшучивает, глаза веселы, но особенная, «фурмановская» приглядка в глубине их сохраняется. Только приходишь и сразу попадаешь под его заботливую руку. Все обдумано: вина и закуски, музыка и танцоры, кого с кем посадить рядом, чтобы всем было весело. Всем весело, и ему веселее всех!

Но в работе, в веселье, в дружбе он не переставал все время и неустанно обдумывать, запоминать, записывать. Только после смерти Дмитрия Андреевича, просматривая его «Дневники», в полной мере можно было понять, какой интенсивной внутренней жизнью жил он все время, непрестанно фиксируя свои впечатления на страницах дневника, а потом в дневнике же анализируя свои первые впечатления и подвергая критике свои поступки. По «Дневникам» нетрудно установить, что подавляющее большинство произведений Фурманова основано на этих записях. У него был глаз на недостатки людей, и он умел прекрасно определять различную меру недостатков, за одни мог пожуричь, из-за других становился врагом... Вся гамма этих отношений к людям нашла свое выражение в «Дневниках» последних трех лет, в его подготовке к работе над романом «Писатели» — там хранятся характеристики беспощадные и пронизательные. Фур-

манов был человек коммунистического дела. И если он видел, что кто-либо к этому великому делу подмешивает какие-то корыстные и карьеристские расчеты, этот человек делался его врагом на всю жизнь.

Была у Фурманова еще одна черта, свойственная человеку коммунистического авангарда, — это скромность. Не того сорта ханжеская скромность, которая есть «унижение паче гордости», а особенная способность объективно отнестись к себе, к своим достоинствам и недостаткам, как бы взвесить себя на весах общепартийного дела.

Один товарищ рассказал мне о своих отношениях с Дмитрием Андреевичем Фурмановым. Фурманов был редактором периодического издания, а этого товарища (обозначим его, скажем, буквой Х) назначили его заместителем. И вот через некоторое время Х развил такую деятельность, что Фурманову стало нечего делать в журнале. Дмитрий Андреевич сам почувствовал это и встревожился. Спустя некоторое время Дмитрий Андреевич вдруг пришел на работу повеселевший и вполне дружелюбно сказал, обращаясь к Х:

— Слушай, Х, я вижу, ты лучше меня работаешь и прекрасно можешь работать без меня. *И хотя мне это очень неприятно*, пойдём к начальнику, заявим ему об этом, — ты будешь редактором.

— А ты?

— Мне работу подыщут...

Так они и сделали.

Я верю этому рассказу, так как Дмитрий Андреевич неоднократно проявлял эту замечательную партийную скромность в целом ряде аналогичных поступков.

Помню, как в период, когда он заканчивал «Мятеж», его, автора едва ли не наиболее хроникальных, близких к историческим фактам произведений советской литературы, очень сильно, видимо, тянуло отойти от этого своего жанра и усилить элементы мысли в своем творчестве.

Одна подобного рода попытка запомнилась мне особенно рельефно.

Это было на одном из еженедельных творческих собраний, происходивших в зале бывшего особняка Морозова. Дмитрий Андреевич прочел там свой новый рассказ. После реалистического рисунка «Чапаева» и первых набросков «Мятежа», с которыми мы уже были знакомы, рассказ об абстрактно-романтическом коммунисте, находящемся в тюремном заключении в какой-то абстрактно-капиталистической стране, казался нам неудачным. Товарищи один за другим выступали и критиковали Дмитрия Андреевича. Едва ли не половине выступавших призыв в армию еще предстоял через год или два, а он, комиссар прославленной чапаевской дивизии, слушал, мрачно положив на ладонь свою кудрявую голову, и молчал, не подавая реплик, изредка переспрашивая, когда ему неясен был смысл возражения.

Когда кончили выступать, он взял слово и сказал примерно следующее:

— Я очень много работал над этим рассказом, и он мне еще сейчас нравится. Но ваши доводы меня убедили, — очевидно, рассказ, правда, не удался. Что же мне делать? — весело спросил он и сам себе ответил: — Я не буду его печатать!

И действительно, рассказ этот был напечатан лишь по его смерти.

III

Он пришел на одно из собраний писателей-коммунистов, и, здороваясь с ним, я поразился тому, какая у него горячая рука. Я сказал ему об этом, он нахмурился, с укоризной покачал головой и глазами показал на жену свою, которая сопровождала его. Потом, улучив минутку, когда мы остались вдвоем, он сказал:

— У меня повышенная температура, если Ная об этом узнает, мне придется уйти, а ты кричишь громко: «Руки горячие!»

Так началась болезнь, коварная болезнь, которая свела его в могилу и отняла у советской литературы и у советского народа одного из выдающихся людей нашей эпохи.

Почти с самого начала болезни врачи сказали нам, что он должен умереть. Но при температуре 39—40°, уже потеряв сознание, Дмитрий Фурманов продолжал бороться за жизнь, за право по-прежнему отдавать ее революции. Эта борьба поражала врачей, и мы, его друзья, начинали надеяться на чудо — на выздоровление Митяя. Дом походил на вооруженный лагерь, на штаб борьбы. За это время все его товарищи продежурили у его постели, со всех концов Советского Союза получались телеграммы, запрашивающие о состоянии его здоровья, по телефону не переставая звонили, и очень часто мы не знали даже имен тех, кто справлялся о здоровье Дмитрия Андреевича.

Но вот приостановилось дыхание, похолодели руки, остекленели и пожелтели дорогие черты лица...

Смерть Дмитрия Андреевича Фурманова всколыхнула широкие слои нашей общественности, эхо ее прокатилось по всей провинциальной и партийной прессе. Все написанное Фурмановым было собрано в посмертные тома собрания сочинений, памятник поставлен на могиле, а все новые и новые поколения читателей читают его произведения с таким же глубоким волнением, с которым они прочитаны были их отцами и матерями.

Свежим ветром, сдувающим прочь всякое литературное жеманство и гнилую вонь декадентщины, которая в то время еще сильна была в нашей литературе, повеяло со страниц фурмановских книг. Он первый в нашей литературе показал во весь рост героическую личность советского человека, он дал образец реалистического изображения больших общественных событий, он показал новорожденную красоту нашего, по-революционному перестраивающегося, устремленного к коммунизму общества.

Помню, как летом 1925 года в одной санатории на Южном берегу Крыма пришлось мне самому наблюдать, как читатель знакомится с книгой Фурманова.

Этот человек в прошлом был матрос, потом красноармеец, а в то время, о котором идет речь, вузовец. Несмотря на последствия ранений, на туберкулез и переутомление, он стремился вознаградить себя за месяцы сидячей и молчаливой работы непрерывным и бодрящим всех окружающих весельем.

Однако пришли дни крымского весеннего ненастья. Туман сполз с гор, однообразно выло и грохотало море, в санатории было холодно и неприятно. У нашего друга поднялась температура, заложило грудь, заныл фронтальной ревматизм, прихрамывая ходил он из палаты в палату, покашливал, искал средств развлечься. Пришел и к нам в палату. Сыграли в тысячный раз в дурачка, подвигали шашки.

— Нет ли у вас, ребята, почитать чего-либо? — спросил он с легким зевком.

И мы дали ему «Мятеж» Фурманова. А когда он ушел, поговорили о том, что не следовало бы, пожалуй, давать ему такую серьезную книгу.

На следующий день погода поправилась, но с утра нашего друга не было ни слышно, ни видно. И только за обедом появился он с опозданием — случай неслыханный, так как аппетит у него был волчий, санаторного пайка ему всегда не хватало, в столовой обычно появлялся он первый. За обедом он все время читал и оставлял блюда недоеденными. А вечером, уже после того, как потушили в палатах свет, он ушел под тусклую электрическую лампочку, горевшую в коридоре, и слышно было, как няня гнала его оттуда.

— Вот книга, — сказал он в полдень следующего дня, перебирая бережно и ласково страницы уже прочитанного «Мятежа». — Как это так здорово можно написать об этом! И что это за человек такой, Фурманов?

Чувствовалось, что никогда до этого времени он не испытывал на себе могучего и возвышающего влияния художественной литературы, ранее она для него была только развлечением. И вдруг через посредство этой книги он вторично пережил всю ту борьбу, которую

сам проделал на фронтах гражданской войны и, пережив, в образах обобщил ее как свой личный опыт. Для него книга Д. А. Фурманова подняла литературу до уровня партийного дела.

После этого книга в санатории пошла по рукам. На нее установилась очередь. И каждый прочитавший ее приходил, расспрашивал о том, кто такой автор. И приятно было рассказывать о Фурманове, о том, какой это человек, приятно было потому, что рассказывать приходилось людям, полюбившим автора за те мысли и чувства, которые дала его хорошая книга.

Это было последнее лето жизни Дмитрия Андреевича Фурманова; — сам он отдыхал на другом берегу Черного моря, на Кавказе, в Новом Афоне.

IV

Дневники, оставшиеся после смерти Дмитрия Андреевича Фурманова, дают возможность проследить процесс формирования этого замечательного человека. С детства его тянуло к литературе. И с детства же присуща ему была тяга к деятельной жизни на пользу обездоленным, то, что впоследствии привело его к большевизму. Особенно интересны в этом смысле дневники семнадцатого года, справедливо озаглавленные «Путь к коммунизму», так как в них обнаружилась потрясающая по чистосердечию, по беспощадной правдивости критика своей политической деятельности, кропотливый и придирчивый анализ своих душевных движений. Однако цель этого анализа состояла не в том, чтобы вызвать бесплодное покаяние, а в том, чтобы от какого-то своего недостатка раз и навсегда избавиться.

И мы видим, как Фурманов преодолевает влияние народничества — революционного авантюризма, как с закономерностью естественного процесса в горниле революционной практики рождается замечательный большевик. Тот чистый, смелый, твердый и веселый,

добрый к друзьям, беспощадный к врагам человек, который, завоевав для партии крестьянского полководца Чапаева, благодаря свойствам своего замечательного художественного таланта сумел поставить ему памятник в виде книги о Чапаеве.

Были в Красной Армии в эпоху гражданской войны командиры, не уступающие Чапаеву ни в полководческом таланте, ни в мужестве, ни в личном обаянии. Достаточно назвать Буденного, Котовского, Блюхера, Опанасенко, Щорса, Пархоменко и многих других полководцев, вошедших в славную историю гражданской войны. Но Чапаеву, можно сказать, повезло — с ним рядом оказался на долгие недели и месяцы бранной жизни писатель-большевик Фурманов, возвращенный стойкой большевистской организацией рабочего города Иваново, воспитанный М. В. Фрунзе. Еще до революции, будучи студентом, а потом находясь на фронте империалистической войны, Фурманов готовит себя к писательской работе — пишет корреспонденции и очерки, ведет свои замечательные дневники. К Чапаеву прибыл не только комиссар, посланец партии, но и будущий писатель.

И вот по книге мы можем проследить, как происходит изумительная лепка характера Чапаева, как создается тип полководца гражданской войны, готового все силы отдать борьбе за советскую родину, за новую, небывало родную рабоче-крестьянскую власть и сохранившего вместе с тем в своих взглядах на мир ряд пережитков старого — проявлений бескультурья, бродяжьего и крестьянского анархизма.

Но рядом с Чапаевым был верный товарищ, строгий, внимательный, добрый, облеченный доверием партии и доверие это оправдавший, — военный комиссар Дмитрий Фурманов, он же Федор Клычков.

«Чапаев» написан от имени Федора Клычкова. Но о себе Клычков говорит прежде всего в отношении к Чапаеву. С первого же разговора, с вопроса об отношении к казачеству и к военным специалистам, Федор Клычков разглядывает и показывает нам Чапаева со всех сторон. Он любит и восхищается им, что при этом над всем главенствует и все определяет

основная задача Федора Клычкова — найти дорогу к сердцу знаменитого командира, завоевать у него авторитет и затем помогать ему в деле осуществления той великой исторической задачи, которая стоит перед Красной Армией в ту эпоху.

Мы с жадностью читаем о Чапаеве, читаем его биографию, похожую на песню, его живые рассуждения, то правильные, то неправильные, но всегда обнаруживающие недюжинный ум, и сами не замечаем, что по мере того, как перед нами вырисовывается образ Чапаева, мы, целиком захваченные жизненностью и обаянием этой фигуры, как бы в тени ее все время разглядываем и воспринимаем так же и другой живой образ — образ комиссара Федора Клычкова. Создание этого образа, образа комиссара в обстановке гражданской войны, является, пожалуй, задачей не менее ответственной и трудной, чем создание образа Чапаева. И эта задача также разрешена Фурмановым не менее блестяще.

В создании образа Федора Клычкова с особенной силой проявилось одно из наиболее замечательных свойств его дарования. Перечтите страницы, относящиеся к Саломихинскому бою, в котором участвует Федор Клычков, впервые в этом бою что называется обстрелянный. Все самые неприглядные душевные движения названы своими именами, и если подходить к человеку схематически, казалось бы, ничего путного ждать от Федора Клычкова читатель уже не может. Но, оказывается, художник, правдиво показав первые переживания Федора Клычкова в бою, добился главного — он внушил нам доверие к своему герою, — и потому мы на протяжении всего романа с волнением и сочувствием следим за его деятельностью. Вот он незаметно и скромно поправил знаменитого Чапаева, после того как тот свел итог гражданской войны только лишь к справедливой дележке. Вот под руководством Федора Клычкова создается в станице первый ревком, утверждается советская власть. Вот Федор Клычков на митинге яркими и умелыми словами рассказывает притихшим бойцам и крестьянам о международном положении республи-

ки, об успехах Красной Армии на других фронтах, о великих задачах революции.

Так, черточка за черточкой, складывается облик военного комиссара в его отношении и к легендарному командиру и командному составу дивизии, в его руководстве политотделом дивизии, во всей его деятельности политического руководителя дивизии, вдохновенной творческой работе военного комиссара, этой подлинной души Красной Армии.

Друзья военного комиссара, добродушно подсмеивающиеся над его манерой делать записи в своей записной книжке, в условиях, казалось бы, самых неподходящих, не подозревали, какое поистине великое дело творит их скромный, не обижающийся на эти шутки и упрямо продолжающий свои записи боевой товарищ.

Зато теперь мы по записным книжкам Дмитрия Андреевича Фурманова можем проследить зарождение «Чапаева». Эти четкие и разборчивые строки и сейчас дают толчок воображению, и мы воочию видим Чапаева на коне, в бурке, с биноклем, и рядом, чуть позади, друга и соучастника, комиссара Федора Клычкова, а точнее сказать — Дмитрия Андреевича Фурманова с неизменной записной книжкой в руках.

Фурмановские записные книжки! Перечитывая их, видишь, что, участвуя в самом тяжелом бою, писатель не переставал наблюдать, запоминать, оценивать и записывать. Таким он навсегда запомнился народу нашему рядом с полководцем Чапаевым. И когда Чапаева убили, Фурманов из своих записных книжек воссоздал образ Чапаева и навсегда запечатлел в памяти потомков фигуру героического полководца.

История создания «Чапаева» дает образец того нового отношения к задачам писателя, которое принесла с собой молодая советская литература. Дмитрий Андреевич Фурманов был одним из ее создателей еще в ту пору, когда, по выражению Николая Тихонова, «впервые научились мы словам прекрасным, горьким и жестоким...» В какой-то степени в этом стиле писал Фурманов.

Творчество Дмитрия Андреевича Фурманова отнюдь не фотографически протоколно. Он умеет в живых, описываемых им людях подчеркивать те черты, которые определяют принадлежность того или иного человека к определенной общественной группе, и поэтому живая индивидуальность всегда приобретает у Фурманова характер типичности. Его Чапаев не только живой, подлинный Чапаев — это собирательный тип целой разновидности крестьянских полководцев, порожденных эпохой гражданской войны.

Некоторым наивным читателям творчество Д. А. Фурманова кажется чрезвычайно простым и незамысловатым. Эка трудность — описать все, как было! Представляется, что стоит только пережить интересные события и все напишется само собой. Именно эти наивные рассуждения как раз и свидетельствуют о больших художественных достоинствах произведений Фурманова.

Ведь в том-то и состоит художественная задача писателя, чтобы в результате его работы читатель воспринимал произведение как нечто очень простое, чтобы он читал его легко и не замечал той колоссальной работы, которая над художественным произведением проделана. Гораздо легче заставить читать о занимательных выдумках, чем описывать действительные события и описывать их так, чтобы они были интересны. Потому что если об этих событиях читаешь с интересом, это значит, что они отражены с художественной силой.

Мне думается, что советскому писателю нужно соединить в себе и деятельного строителя, борца за социализм и в то же время постоянного и объективного наблюдателя жизни. Мне лично соединение этих двух обязательных для писателя сторон его творческой жизни далось нелегко. Но я всегда понимал, что попытка облегчить себе жизнь, отказавшись от деятельной ее стороны, приведет меня к сужению сферы искусства, к замкнутости в своем внутреннем мире. На моих глазах немало было примеров, когда подоб-

ная замкнутость приводила к прихотливому наблюдению своих внутренних душевных процессов, в конечном итоге — к психопатологии.

Дмитрий Андреевич Фурманов блестяще разрешил задачу соединения этих двух сторон творческой жизни писателя. Он был человеком непрестанного революционного действия. На советском строительстве, в Красной Армии, в литературной общественности он всегда и везде первый; он не только активист, но и обязательно руководитель и организатор.

Казалось бы, эта не прекращающаяся до самой смертельной болезни напряженнейшая и организованная работа не могла оставить места для художественного наблюдения. Однако Д. А. Фурманов при этом постоянно развивал свое художественное мастерство, искусство наблюдения, осмысливания и выражения. Он — агитатор, пропагандист в 1917 году, но день за днем несколько торопливых строк обязательно заносит в дневник; он — участник Октябрьского переворота, активный строитель советского государства, а дневник по-прежнему пополняется и пополняется. Несколько редакций, оставшихся от «Чапаева» и «Мятежа», свидетельствуют о неустанной работе по усовершенствованию мастерства.

Художественные требования, которые Дмитрий Андреевич предъявлял к себе, были очень строги. Об этом свидетельствует то, что при разборе фурмановского архива обнаружен был ряд очерков и рассказов, имеющих отнюдь не только биографическое, но и художественное значение.

Прошло более тридцати лет со дня смерти Дмитрия Андреевича Фурманова, но то, что сделал писатель во время своей короткой жизни, безвременно оборванной внезапной болезнью, так молодо, словно написано вчера.

Неизмеримо выросла Советская Армия в своей боевой мощи и в самой структуре своей со времени гражданской войны, и все же фурмановский «Чапаев» продолжает передавать новым поколениям революционный дух нашей армии, учит беззаветной преданности социалистическому отечеству, воодушевляет

на подвиг, воспитывает мужество и находчивость в бою, призывает к воинской учебе, внушает требования дисциплины. Самый образ Чапаева, особенно после знаменитой кинокартины «Чапаев», стал любимым героем советского народа. В «Чапаева» играют дети, народ окружил имя Чапаева легендарной славой, создал ряд чудесных сказок и песен о Чапаеве.

В самом начале Великой Отечественной войны я слышал, как политрук роты, входившей в состав одного укрепленного района, проводя беседу на тему о бдительности, начал ее с вопроса:

— Вспомните, товарищи: из-за чего погиб Василий Иванович Чапаев? Почему страна потеряла замечательного полководца, который, наверное, был бы сейчас среди наших славных генералов?

И не успел политрук закончить последнего вопроса, как сразу несколько голосов ответило:

— Часовые, часовые прозевали...

— Да! — веско и многозначительно подтвердил политрук. — Из-за того, что часовые на постах не были бдительны, проиграно было сражение и погиб один из замечательных полководцев Красной Армии.

Он развернул книгу, которую держал в руках, и тихо и внятно прочел:

— «Уже полночь давно осталась позади, чуть дрожат предрассветные сумерки, но спит еще станица спокойным сном. Передовые казацкие разъезды тихо подступили к околице, сняли часовых. За ними подъезжали, смыкались, грудились и, когда уже довольно накопилось, двинулись черной массой.

Прозвучали первые тревожные выстрелы дозорных...»

Он читал, а я словно въявь видел перед собой старшего друга своего. Из-под высокого, чистого лба и темных бровей особенный взгляд карих глаз, ласковый и внимательно-требовательный. Молодые веселые губы, готовые и к улыбке и к тому, чтобы отдать приказание, движутся, словно шепчут...

Молодые солдаты, только прибывшие из пополнения, затаив дыхание, слушали эту идущую из прошлого, из гражданской войны, эстафету.

И к нам, советским писателям сегодняшнего дня, из тридцатилетней дали тоже приходит эта славная фурмановская традиция — его записная книжка, как бы завещанная нам, младшим товарищам, последователям и ученикам его, как славное оружие писателя-воина и символ его писательской мужественной наблюдательности, потому что если военный писатель перестал наблюдать, записывать, запоминать, оценивать, хотя бы участвуя в самом жестоком бою, это значит, что он потерял свое оружие.

В фурмановском архиве сохранилась одна из записных книжек, впоследствии давшая материалы «Мятежу» — второй замечательной книге Д. А. Фурманова. Запись в этой книжке оборвана на полуслове, — карандаш сломался, писателя вместе с другими советскими работниками, попавшими в плен к мятежникам, потащили на расправу, и только стечение счастливых случайностей спасло ему жизнь.

Он смотрел уже смерти в глаза. Но до конца не дрогнула рука писателя-воина, записи его четки и ясны. Придет время — и в настороженной тишине уютной московской квартиры то, что наспех, несистематически и неполно схвачено в записных книжках, развернется в стройное повествование, каждая отрывочная запись расшевелит сонную память и из сокровищ ее поднимутся новые выразительные подробности...

Бессмертна боевая фурмановская традиция советской литературы. Во время Великой Отечественной войны мы увидели, как в записных книжках Симонова, Тихонова, Павленко, Вершигоры и многих других наших писателей зарождались произведения, ставшие гордостью советской литературы.

На заре славной советской эпохи действовал и творил Дмитрий Андреевич Фурманов. Ярко и полно воплотил он в себе лучшие черты советского человека и выразил эти черты в своем творчестве. Вот почему книги Дмитрия Фурманова стали классикой нашей советской литературы.

Мои встречи с Есениным



С поэзией Сергея Есенина познакомился я задолго до первой встречи с поэтом. Альманах «Скифы» № 2, где напечатана была поэма Сергея Есенина «Товарищ», я купил в книжном киоске городского Совета в начале 1918 года. Она начиналась словами:

Он был сын простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая...

И в ней, как и в «Двенадцати» Блока, появился примерно в такой же трактовке, что у Блока, Христос. У Есенина младенец Иисус «пал, сраженный пулей» на питерских улицах в феврале 1917 года.

Слушайте:
Больше нет воскресенья!
Тело его предали погребенью:
Он лежит
На Марсовом
Поле.

Поэма эта мне понравилась и легко запомнилась. Но выражение «железное слово: «Ре-эс-пу-у-ублика!» — так кончается поэма — больше чем понравилось: именно таким, могучим, железным, воспринимался тот новый советский строй, который возникал в огне и грохоте Октябрьского пожара. И так же во-

шло впоследствии в душу, как лозунг и народная поговорка, звучавшее кратко и гордо:

Мать моя — родина,
Я — большевик!

С тех пор я уже сам отыскивал стихотворения Есенина, и почти все они нравились мне, хотя религиозные мотивы его творчества казались надуманными.

...Схимник ветер шагом осторожным
Мнет кусты на выступах дорожных
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

Подобного рода строфы отзывались для меня риторикой и сочинительством. Станным казалось переплетение в одной стихотворной строфе кощунства и религиозности, душевной чистоты и грубо-похабных, словно назло кому-то сказанных слов.

Но, конечно, сильнее всего в стихах Есенина покояла воплощенная в них поэтическая прелесть русской природы. Даже самое имя его казалось мне названием не то времени года: Осенин, Весенин, — не то какого-то цветущего куста...

Когда в 1921 году я приехал в Москву, она полна была слухов о приключениях и выходках Сергея Есенина. Я тогда свел знакомство с некоторыми сослуживцами моего брата по ВЧК. Мне запомнились: рябоватый с черными крутыми кудрями рабочий из Ижевска — Иванов, интеллигентного вида, болезненный Семенов и Леля Сивицкая — девушка с глазами, полными синего огня. Они-то и рассказывали о Сергее Есенине, так как протоколы милиции, составленные по поводу всяческих его походов, иногда попадали в ВЧК. В этих протоколах фигурировали четверостишия вроде того, которое было начертано Есениным на стенах Страстного монастыря. Разухабистая антицерковность этих стихов была по душе моим приятелям, они восхищались Есениным, он был для них свой, революционный поэт.

Я в то время был еще на военной службе, но уже

втайне дописывал свою первую повесть, а по вечерам посещал институт слова, где слушал лекции Грифцова, Эйхенвальда, Пешковского. Журналов тогда было немного, и я прочитывал их от корки до корки. В 1921—1922 годах чудесные есенинские стихи то и дело появлялись на страницах журналов — и особенно часто в «Красной нови», куда я отнес свою первую повесть. Стихи его запоминались мгновенно: песенный склад и образы их, пейзаж и самое слово — все это было свое, родное, неожиданное и при этом как бы предчувствуемое.

«Неделя» была уже напечатана, я уже считал себя причастным к литературе и стал интересоваться жизнью писателей. В частности, я расспрашивал о кафе поэтов «Стойло Пегаса», и одна моя новая московская знакомая, также делавшая первые шаги в литературе, предложила вместе с ней сходить в это знаменитое кафе.

Я тогда носил еще военную форму, весьма бросающуюся в глаза: это была форма Высшей военной школы связи — серые обшлага и черно-желтые, по роду войск, петлицы. Такие петлицы, обозначавшие род войск, красноармейцы называли «разговор». «Шинель с разговором...» — говорили тогда. Мне казалось, что прийти в «Стойло Пегаса» в военной форме значило бросить на нее какую-то тень. Собеседница моя смеялась — по ее словам, в «Стойле Пегаса» бывали и военные.

Так, весело разговаривая, подошли мы к входу в кафе. Прямо навстречу нам вышли оттуда двое мужчин, одетых, как я тогда воспринял, по-буржуазному. Моя спутница познакомила нас. Мы назвались: передо мной были Пильняк и Есенин. Быстро оглядев меня и бросив взгляд на Пильняка, Есенин с каким-то веселым озорством сказал:

— Интересная игра получается...

Он имел в виду то, что Пильняк и я принадлежим к враждующим литературным направлениям.

Есенин был в черном, хорошо сшитом пальто, белесые кудри его мягко вились, выбиваясь из-под котелка, залихватски заломленного, его округлое и мяг-

кое лицо привлекало шаловливым и добрым выражением.

Неужели этот простодушно веселый молодой человек мог написать стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...», прочитанное мною еще в начале 1922 года в журнале «Красная новь»? Пушкинская сила слышалась как в ритме этого стихотворения, так и в элегическом звучании его. «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне...» — так мог сказать только Есенин. Он уже и до этого писал прекрасно, но в этом стихотворении поистине превзошел самого себя!

Есенин мне понравился. Но тогда происходило формирование группы «Октябрь» — ядра будущих МАПП и РАПП. Именуя себя пролетарскими писателями, мы кичливо отделяли себя от «мелкобуржуазных» — и в особенности от всяческой богемы, к которой не без основания причисляли и Есенина. После первого знакомства с Есениным я встреч с ним не искал, но они возникли сами собой у нашей общей упомянутой выше знакомой. Хозяйка любила литературу, с интересом и пониманием следила за ней, сама пробовала писать. В ее уютной и гостеприимной квартире встречались молодые писатели разных направлений. Бывал там и Сергей Есенин.

У него было много друзей-приятелей, его любили. В обращении он был прост и весел, в трезвом виде и при людях, которых он не знал, или знал мало, подчас даже молчалив и застенчив. В нем была та притягательность, которую мы определяем словом «обаяние», с него не хотелось сводить глаз. Сохранившиеся портреты в общем передают прелесть его лица — его улыбку, то шаловливо-добродушную, то задумчивую, то озорную. Но ни один из его портретов не передает того особенного выражения душевной усталости, какой-то понурости, которое порой, словно тень, выступало на его лице. Только сейчас понимаю я, что выражение это было следствием того творческого напряжения, которое не покидало его всю жизнь.

«...Он пишет. Он не пишет. Он не может писать.

Отстаньте! Что вы называете писать? Мазать чернилами по бумаге?.. Почем вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю». Эта дневниковая запись Александра Блока исчерпывающе применима к Есенину.

Взять хотя бы годы нашего знакомства — 1923, 1924; 1925 годы, — за это короткое время Есенин написал «Двадцать шесть» и «Песнь о великом походе», «Анну Снегину», «Ленин» и «Русь советскую».

Каждое из этих произведений хорошо по-своему, и каждое вошло в историю советской литературы, стало нашей классикой. Эти произведения следует давать читать школьникам. А сколько замечательных стихов, небольших и блестяще отгранных, сверкающих, как драгоценные камни, создано за эти три года!

Правда, во многих из этих стихотворений — и чем ближе к концу Есенина, тем явственнее — слышим мы и болезненный надрыв и ту особенную тоску, которую правильно называют смертной, — тоску, являющуюся симптомом подкрадывающейся душевной болезни. После трагической гибели поэта и до настоящего времени много писали о глубоких противоречиях в творчестве Сергея Есенина. При личном общении с поэтом наличие этих противоречий замечалось что называется невооруженным глазом. Ведь эти противоречия не были выдуманы поэтом, а являлись глубоким и серьезным отражением в его душе действительных явлений жизни, они были источником движения и развития его поэзии, достигшей именно в последние годы его жизни необычайной яркости и изобилия. Но садоводам известны случаи, когда после изобильного цветения и плодоношения фруктовое дерево высыхает на корню.

Такое время изобильного цветения и плодоношения пережил Есенин в последние годы своей жизни.

Но при этом вид у него был всегда такой, словно он бездельничает, и только по косвенным признакам могли мы судить о том, с какой серьезностью, если не сказать — с благоговением, относится он к своему непрерывающемуся, тихому и благородному труду.

Так, однажды у него вырвалось:

— Зашел я раз к товарищу, — и он назвал имя одного литератора, — и застаю его за работой. Сам с утра не умывался, в комнате беспорядок...

И Сергей поморщился. Я вопросительно взглянул на него, и он, видимо отвечая на мой невысказанный вопрос, сказал:

— Нет, я так не могу. Я ведь пьяный никогда не пишу.

Жил Есенин в одном из переулков Тверской улицы, квартира его была высоко, — впрочем, в те годы проблема лифта для нас не существовала, и взбежать на девятый этаж ничего не стоило. Не очень часто, но я бывал у него дома. Жил он тесно, — кажется, к нему именно тогда приехали из деревни сестры, — в комнате были какие-то друзья его, шел громкий разговор.

У Есениных тогда было молодо и весело. Та же озорная сила, которая звучала в стихах Сергея, сказывалась в том, как плясала его беленькая сестра Катя. Кто не помнит, как в «Войне и мире» вышла плясать «По улице мостовой» Наташа Ростова! Но в том, как плясала Катя Есенина, в ее взметывающихся белых руках, в бледном мерцании ее лица, в глазах, мечущих искры, прорывалось что-то иное: и воля, и сила, и ярость...

Младшая сестра Шура, если я не ошибаюсь, появилась в квартире у Сергея несколько позже. В ней, хотя она была совсем девочка, сказывалось то разумно-рассудительное начало, которое подмечено у Есенина: «И вот сестра разводит, раскрыв, как библию, пузатый «Капитал»,...» — что-то совсем юное и уже очень новое, советское сказывалось в этой девочке. Такими были в те годы комсомолки, приезжавшие из маленьких городков и деревень учиться в Москву.

Самого же Сергея запомнил я с гитарой в руках. Под быстрыми пальцами его возникает то один мотив, то другой, то старинная деревенская песня, то бойкая частушка, то разухабистая шансонетка. А то вдруг:

...О друг мой милый,
Мы различны оба,
Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба...

Всей песни в памяти моей не сохранилось, но были там еще слова:

...Он лежит убитый
На кровавом поле...

— Это у нас в деревне пели, а слышишь, лексика совсем не деревенская, занесено из усадьбы, наверное. Это, думается мне, перевод из Байрона, но очень вольный и мало кому известный... — И, прищунив глаза, несколько нарочито, манерно, прекрасно передавая старинный колорит песни, он повторил:

...Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба...

И тут же, словно не желая вдаваться в разговор слишком серьезный, вдруг ударил по струнам и лихо запел какие-то веселые куплеты. Он напевал их и сам при этом весело хохотал, показывая красивые зубы.

Серьезные разговоры всегда возникали внезапно, как бы произвольно поднимались из глубины души.

— ...Вот есть еще глупость: говорят о народном творчестве как о чем-то безликом. Народ создал, народ сотворил... Но безликого творчества не может быть. Те чудесные песни, которые мы преем, сочиняли талантливые, но безграмотные люди. А народ только сохранил их песни в своей памяти, иногда даже искажая и видоизменяя отдельные строфы. Был бы я неграмотный — и от меня сохранилось бы только несколько песен, — с какой-то грустью говорил он.

Сергей с охотой и в прекрасной манере читал стихи, написанные другими поэтами.

...Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина... —

отчетливо выделяя каждое слово этого стихотворения

Гумилева, словно любуясь им, выговаривал он. Блока почитал он как учителя своего — и об этом говорил не раз. Множество стихов Блока он знал наизусть и произносил их в своей особой манере, отчетливо и поэтически.

Гармоника, гармоника,
Ах, пой, пляши и жги,
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки... —

произнес он, делая ударение на рифме.

— Неправильная рифма, верно? Ассонанс? А ведь такого рода неправильные рифмы коренятся в самой природе нашего языка — здесь и бойкость и лихость, а?

Но некоторые стихотворения Блока он разбирал критически, обращая особенное внимание на отдельные эпитеты.

— Блок — интеллигент, это сказывается на самом его восприятии, — говорил он с горячностью. — Даже самая краска его образа как бы разведена мыслью, разложена рефлексией. Я же с первых своих стихотворений стал писать чистыми и яркими красками.

— Это и есть имажинизм? — спрашивал я.

— Ну да, — говорил он недовольно. — То есть все это произошло совсем наоборот... Разве можно предположить, что я с детства стал имажинистом? Но меня всегда тянуло писать именно такими чистыми, свежими красками, тянуло еще тогда, когда я во всем этом ничего не понимал.

И он тут же прочел — я услышал тогда впервые это маленькое стихотворение:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

— Это я написал еще до того, как приехал в Москву. Никакого имажинизма тогда не было, да и Хлебникова я не знал. А сколько лет мне было? Четырнадцать? Пятнадцать? Нет, не я примкнул к имажинистам, а они выросли на моих стихах. Александр

Блок — это мой учитель. Но я не могу принять его рефлексии, его хныканья полубарского, полународнического.

Память моя попеременно с серьезными разговорами сохранила мелочи, забавные и выразительные пустяки.

Мы приходим в знакомый и дружественный нам дом. Входная дверь открыта, но в квартире, похоже, никого нет. Лето, и легкий ветер бродит из комнаты в комнату. В спальне на постели спит красивая девушка-армянка, мы оба знакомы с ней. Сергей сделал мне знак, чтобы я молчал, тихонько подошел к ней, поцеловал ее в губы — и тут же, мгновенно, утащил меня за портьеру, к окну, откуда открывался с восьмого или девятого этажа неправдоподобно широкий горизонт с подмосковными темно-зелеными лесами и Москвой-рекой, поблескивающей в синей дымке.

— Ты погоди. Что сейчас будет... — прошептал он.

Девушка поднялась на постели и, не совсем проснувшись, вопросительно и взволнованно оглядела комнату. Сергей громко заговорил со мной, делая вид, что мы продолжаем какой-то разговор. Она взглянула на меня, на него... Игра ее нежного девичьего лица вся была открыта и озорно отражалась на его лице.

В комнату кто-то вошел.

— Не может угадать. А кто же поцеловал все-таки? — посмеиваясь, сказал тихонько Сергей.

Она быстро взглянула на него и улыбнулась.

Серьезные разговоры вспыхивали произвольно и неожиданно быстро, как молния, и запоминались на всю жизнь.

— Сережа, у тебя вот сказано:

Мальчик такой счастливый
И ковыряет в носу.
Ковыряй, ковыряй, мой милый,
Суй туда палец весь,
Только вот с ефтой силой
В душу свою не лезь...

Ведь слово «ефтой» — это все-таки оборот не литературный, вульгаризм.

Он оставляет мою аргументацию без всякого внимания.

— А как иначе ты скажешь? С «этою» силой? — спрашивает он, смеется, и разговор прекращается, чтобы возобновиться спустя несколько дней.

— Помнишь, ты говорил о нарушении литературных правил? — напоминает он. — Ну, а тебе известны эти строки:

Сегодня особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв...

— Гумилев?

— Мастер, верно? А ведь тут прямое нарушение грамматики. По грамматическим правилам надо бы сказать: «И руки, которыми ты обняла свои колени, кажутся мне особенно тонкими». Ну, что-то в этом роде: «обняв» или «обнявшие»? Но «обнявшие колени» — ничего не видно, а «колени обняв» — сразу видишь позу... — И у него на лице такое же озорное выражение, с которым он подкрадывался к спящей девушке, чтобы ее поцеловать...

Через много лет после смерти поэта один литературный брюзга с целью доказать, что Есенин был не более чем безграмотный самоучка, привел известные строчки:

Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать.
Скольжу и падаю другою...

— Падаю ногою? Разве можно так сказать? — негодовал он. — Ведь это у него от небрежности, от неграмотности!

И тогда мне вспомнился давний наш разговор о Гумилеве. Есенин жил в стихии языка, как ласточки живут в стихии воздуха, и то, что ученым воронам могло казаться нарушением правил языка, было виртуозным владением им. Чтобы так «нарушать» правила языка, надо в совершенстве им владеть.

Иногда на Сергея находила какая-то детская, прямо, ребячья веселость и дурашливость. Как-то я ближе к вечеру зашел к нему.

— Вот и хорошо, — сказал он весело. — Пойдешь с нами вместе к Мейерхольду смотреть «Мандат». Ты видел?

«Мандата» я еще не видел. Сергей наряжался перед зеркалом, примерял цилиндр и, похохатывая, рассказывал мне вкратце о том, что, видимо, больше всего интересовало его в «Мандате».

— Деревенскую девку нарядили, понимаешь, царницей, посадили в сундук, наша обывательская белогвардейщина вся с ума сошла, все ей кланяются, — царская дочь Анастасия вернулась на царствование в Москву!.. — весело говорил он.

Не знаю, прочел ли он «Мандат», или уже видел его, или ему рассказывали о спектакле. Сестры тоже собирались, младшая, серьезная Шура, все пыталась урезонить брата, которому, видно, как-то особенно хорошо было в этот летний городской вечер.

Мы шли по людной Тверской. «Есенин! Есенин!» — кричали кругом. Хохот, веселые аплодисменты... Уже на Садово-Триумфальной Сергей повернулся, сорвал с моей головы летнего образца красноармейский шлем и надел на меня свой цилиндр. В военной гимнастерке и цилиндре я выглядел забавно, в этом было что-то карнавальное. Мне тоже стало весело, и так приятно было слушать, как Шура Есенина о чем-то рассуждает, стараясь казаться совсем взрослой.

Когда мы пришли в театр, первое действие уже шло, нас спешно рассаживали. Спектакль был тоже весь озорной и веселый. Вертелась граммофонная пластинка, церковные псалмы звучали из жерла старомодного граммофона, одурелая старуха крестилась на граммофон и била земные поклоны.

— С этим мандатом, маменька, я всю Россию перерестую! — кричал худенький подросток Гулячкин, которого играл Эраст Гарин, и публика смеялась, не чувствуя всего зловещего смысла гулячкинской угрозы.

В антракте Катя Есенина подошла к нам и сказала озабоченно:

— Сергей пропал куда-то!

Я уже сейчас не помню, почему нужно было ис-

кать Сергея, — как будто он раньше никогда не пропал! Но Шура и Катя Есенины пошли искать его, я сопровождал их.

— Он наверняка у своего дружка, у художника Якулова, — сказала Катя.

Якулов жил где-то поблизости, чуть ли не на Триумфальной площади, рядом с театром. Высокого роста, черноусый и худощавый, в какой-то пестрой куртке, как будто только что сошедший с картины какого-то «левого» художника, он встретил нас, таинственно посмеиваясь.

— Если найдете, будет ваш...

Но искать негде. Большая комната, если мне не изменяет память, мастерская Якулова, пуста. Посредине лежит ковер, свернутый в огромную трубку, — так свертывают ковры, когда уезжают на дачу.

И вдруг ковер стал медленно разворачиваться. Все быстрее, быстрее, совсем развернулся, и вот Сергей, весь взъерошенный, вскочил и здесь же, на ковре, исполнил какую-то буффонную пляску; сестры висли на нем, визжа от удовольствия.

— А я знал, что вы сюда придете.

— Почему ты ушел из театра? Ведь интересно!

— На сцене интересно, а в публике скучно!

Так познакомился я с Георгием Богдановичем Якуловым, которому Сергей Есенин не случайно посвятил балладу о двадцати шести бакинских комиссарах: оба этих знаменитых художника были в то время вдохновлены подвигом бакинских большевиков — Г. Б. Якулов увековечил легендарных комиссаров в памятнике, украшающем площадь двадцати шести комиссаров в городе Баку.

Не думал я в тот веселый вечер, что мне вместе с Г. Б. Якуловым и Б. А. Пильняком придется встретиться уже после смерти Сергея Есенина, в составе комиссии по его литературному наследству.

Мне могут поставить в вину, что я мало пишу о несчастной болезни Есенина — о его запоях, не касаюсь его кабацких разгулов, хулиганской поэзии и т. д.

Но об этом много и даже слишком много писали. В этом направлении постарались и враги Есенина и не очень умные друзья его. Этой больной и мрачной стороной его души, темными отходами его поэзии порою старались заслонить то светлое и прекрасное, что он дал нашей литературе.

На моей памяти Есенин не раз собирал писательскую молодежь и отправлялся в притоны, в ночлежные дома, чтобы читать там стихи вора́м и проституткам, обращаясь к ним как к своим братьям и сестрам. Но ведь Сергей Есенин был добрый и жалостливый человек. И в такой, может быть, несколько странной, форме он выражал свое сострадание униженному человеку. Есть в хулиганских стихах Есенина также и некоторое стремление эпатировать обывателя, поддержать традиционную репутацию скандалезности, которая должна якобы окружать всякого поэта.

О, Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Так обращается он к Пушкину.

Хотя при встречах с Есениным случалось и мне сдвигать с ним бокалы с вином, но никак нельзя было сказать, чтобы Сергей был человек, который проводил все свое время в беспробудном пьянстве. Я запомнил его тихим и трезвым, когда он бывал особенно застенчив и скуп на слова. Если собиралось много людей, он с большим удовольствием и интересом слушал и подчас слышал в споре то, чего не понимали сами спорящие.

А спорили тогда — и особенно в литературе, — шумно, много и жаростно; во вступлении к книге об этих спорах сказано достаточно. Там же объяснено происхождение термина «попутчики», который столь раздражал Маяковского и который никак не подходил к Есенину — и прежде всего потому, что в его творчестве проявилось глубокое, если не сказать благоговейное, уважение к пролетариату, к большевикам. Это уважение чувствуется в замечательной, как бы

подытоживающей в художественной форме нашу гражданскую войну, поэме «Песнь о великом походе»:

Но сильнее всего
Те встревожены,
Что ночью не спят
В куртках кожаных,
Кто за бедный люд
Жить и сгнуться рад,
Кто не хочет сдать
Вольный Питер-град.

Правда, со свойственной Сергею Есенину искренностью он в другом стихотворении признается:

...Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий..

Но и в этом стихотворении он с уважением пишет о тех, кто

...вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гушу бурь и вьюг
Ее направил величаво...

Судьба русского народа — вот тема, к которой он на протяжении всего своего творчества постоянно возвращается. И вот перед нами глубоко народная по своим истокам «Песнь о великом походе», которую как будто слышишь на ярмарке или на площади, где «гармонист с провалившимся носом мне про Волгу поет, про Чека» и в перерыве между частями поэмы «просит поднести еще чарочку».

В советской литературе в то время не было еще поэмы, которая по силе народного чувства, по историческим обобщениям, по правдивости реалистической и новаторству стиля могла бы равняться этой поэме Есенина. Как бы для того, чтобы показать исторический масштаб Великой Октябрьской революции и гражданской войны, Есенин начинает и кончает эту поэму фигурой царя Петра. В ритмах и образах этой поэмы «Слово о полку Игореве» встречается с гармонно-чашущечным перезвоном и с твердой поступью рево-

люционной песни. В последних словах ее советские корабли «плывут будто в Индию».

Не прошло и года после опубликования «Песни о великом походе», как Есенин создал поэму, совершенно иную по колориту, словно впитавшую в себя лучшие традиции русской классической литературы.

Это — «Анна Снегина», изумительная по живописи характеров и реалистическому изображению эпохи и в особенности тогдашней русской деревни, ироническая и нежная, навеки обессмертившая русскую природу.

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочъ.
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь...

Древесная цветень и сочъ — какая полнота слияния слова и ощущения! Я как впервые прочел эти строчки, так и твержу их с тех пор всю жизнь.

Право, уже эти две поэмы могли бы составить славу великого поэта! Но ведь за это время Есенин еще съездил в Баку, откуда, кроме превосходных «Персидских мотивов», привез незабываемую балладу «О 26 комиссарах», в которой русский стих так великолепно расцвечен образами восточной поэзии и где прославлен навеки подвиг бакинских большевиков.

А ведь все это сделал один поэт — Сергей Есенин! И при этом он был до такой степени чужд всякого фанфаронства и жречества, что можно было подумать, будто творческий подвиг дается ему легко и просто.

Сам Есенин неоднократно подчеркивал свою приверженность к крестьянству. Еще в начале нашего знакомства он мне раз сказал с оттенком некоторого вызова:

— А знаете, я ведь крестьянин и продналог в деревню посылаю.

Был он в то время немного под хмельком и, как всегда в такие минуты, возбужден и задирист.

В юности Есенин отдал дань народничеству и

анархическому бунтарству. Но он с радостью принял Октябрьскую революцию как свою революцию, и его не покидало чувство благоговения перед Лениным и постоянное пристальное внимание и уважение к тому, что говорит партия.

Сергей Есенин был предан народу всей душой. Он был полон постоянных и глубоких раздумий о его нуждах и судьбах. В этих своих раздумьях, при всех своих противоречиях, он был честен до конца. При внешней непосредственности своего поведения он к своей литературной деятельности относился с величайшей серьезностью.

Он обдумывал свой каждый шаг в литературе, и, несмотря на то, что печатался он в «Красной нови» и что А. К. Воронский едва ли не первый из советских критиков дал высокую оценку его дарования, Есенин, когда возник новый журнал «Октябрь», орган пролетарских писателей, напечатал в одном из его первых номеров свою «Песнь о великом походе».

Он сделал это для того, чтобы показать, что не принадлежит к какому-либо одному направлению тогдашней литературы, что значение его творчества шире, и Маяковский верно понял значение этого сближения Есенина с пролетарскими поэтами. Маяковский «с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина от имажинизма в ВАПП» (см. статью Маяковского «Как делать стихи»).

Есенин знал, что принадлежит всей советской литературе. Его влияние на поэзию того времени было уже бесспорно.

Есенинские интонации зазвучали тогда и у поэтов молодогвардейцев, входивших в РАПП, и у поэтов группы «Перевал», созданной Воронским. Были среди литературных последователей Есенина упадочники, подхватившие разухабистые мотивы «Москвы кабацкой». Но были и настоящие поэты, продолжавшие и развивавшие лучшие традиции богатого поэтического наследия Есенина. Есенин сделал для литературы так много, что Маяковский после его смерти сказал самое большее, что он мог сказать о поэте: он назвал Есенина подмастерьем у народа, у языкотворца.

Умер Ленин, и тяжело упала эта потеря на сыновнюю душу Сергея Есенина. Получив пропуск из «Правды», он несколько часов простоял в Колонном зале, не сводя глаз с дорогого лица. Вместе с народом, бесконечной вереницей идущим мимо гроба, переживал он горе прощания. В эти дни, наверное, и зародились скорбные и полные животворной силы ямбы его «Ленина»:

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из медно лающих громадин
Салют последний даден, даден,
Того, кто спас нас,
Больше нет.

Сын российской деревни, он относился к Ленину именно так, как мог относиться к нему русский крестьянин эпохи Великой революции: Ленин спас русское крестьянство от помещичьего и царского гнета. Но у Есенина тема Ленина взята шире: Ленин спас русский народ от гнета капитализма и иностранного империалистического господства.

Произведение Есенина «Ленин» хотя и является всего лишь фрагментами ненаписанной поэмы «Гуляй-Поле», это едва ли не самая высокая вершина всего творчества его. Позже придет Маяковский и благодаря глубокому проникновению в произведения Ленина и в биографию его вылепит монументальный образ великого учителя пролетариата, создателя первого в мире социалистического государства, национальную гордость русского народа.

Есенин, изображая Ленина, на первый план поставил те его черты, о которых мы слышали от всех, кто близко знал Владимира Ильича:

С плеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Изображая Ленина, Есенин сознательно отказывается от всякого стремления к монументальности:

Чтобы усугубить свою иронию по поводу банальных и ходульных изображений героя, он к слову «в масках» («мы любим тех, кто в черных масках») подбирает рифму: «на салазках». «Застенчивый, простой и милый» — таким видит он Ленина, и тем сильнее действие его неожиданных, проникнутых восхищением слов:

Я не пойму, какую силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

В Ленине Сергей Есенин подчеркнул скромность, доброту, доступность, любовь к детям. Но, показав эти черты, поэт не принизил образа великого учителя. Есенин сумел бросить взгляд в будущее. И хотя смерть Ленина — это величайшее всенародное горе, Есенин понимает:

...Его уж нет!
А те кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
«Л е н и н у м е р!»
Их смерть к тоске не привела.
.
Еще суровой и угрюмой
Они творят его дела...

Сейчас, оглядываясь в прошлое, поражаешься, с какой точностью поэт передал настроение миллионов людей России в те дни, когда мы осиротели.

«Ленин жив! Ленин жив! Ленин будет жить!» — твердили тогда и стихи и плакаты. Такой ритм отбивало каждое сердце.

Но если настроение рабочего класса и революционной молодежи было видно явно, более скрыты и затаенны были те глубокие сдвиги, которые после смерти Ленина происходили в среде интеллигенции, даже в тех слоях ее, которые находились далеко от партии. Многие большие ученые, выдающиеся деятели искусства в те дни впервые задумались о судьбах России, о том, что не случайно народ избрал ленин-

ский путь, и о том, что иной путь для народа просто немыслим. А что происходило в те дни с советским крестьянством, об этом с чуткостью большого художника рассказал Есенин и в «Возвращении на родину», и в «Руси советской», и во многих других своих стихотворениях.

Мы в тот период довольно часто встречались с Сергеем Есениным на квартире одного из наших общих знакомых. Эта уютная квартира каждым летом становилась пристанищем многочисленных гостей хозяина. Здесь останавливался приезжавший из Ленинграда Иван Петрович Флеровский, большевик-журналист, видный участник Октябрьской революции в Петрограде. Сюда во время XIII съезда партии, летом 1924 года, приходили коммунисты, делегаты Закавказья. Часто бывали здесь и мы, молодые литераторы, примыкавшие к «напостовскому направлению».

Кажется, все тем же летом 1924 года мы вдвоем с Есениным сидели однажды за столом в этой квартире. Вопреки общепринятым представлениям о Есенине, мы... пили чай! Вдруг в комнату вошел Безыменский и, увидев нас, сидевших вдвоем в пустой комнате, словно остолбенел. В то время мы с Безыменским, оставаясь друзьями, несколько разошлись во взглядах на литературу. С Есениным же Безыменского разделяла принадлежность к различным направлениям поэзии. И я сказал, чтобы прекратить неприятную паузу:

— А вот и Саша Безыменский...

Есенин со свойственной ему легкой грацией быстро вскочил и с доброжелательной улыбкой протянул руку Безыменскому. Но в том крепком рукопожатии, которым ответил ему Безыменский, возможно, что и в улыбке несколько принужденной, Есенин почувствовал что-то непростое и демонстративное. И Сергей сказал, многозначительно хитро прищурившись:

— Тяжело пожатье каменной доски.

Впоследствии Безыменский запечатлел эту встречу в одном из своих стихотворений.

О дружеских отношениях Есенина с коммуниста-

ми сказано мало, почти ничего. Глубокими и сердечными отношениями был, например, связан Есенин с П. И. Чагиным, тогда редактором «Бакинского рабочего». А ведь, не зная о них, многого не поймешь в том, что происходило тогда с Есениным.

Да и немудрено, это были годы, когда Сергей не переставал раздумывать над судьбой России, над судьбой крестьянства русского. Он не умел и не любил осмысливать события теоретически. Когда он, имея в виду произведения Карла Маркса, сказал в стихотворении:

Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал... —

это было сущей правдой. Есенин смолоду не был охотником до теоретических книг. Но с большой охотой и интересом, особенно после смерти Ленина, слушал он разговоры на текущие политические темы.

Летом 1924 года Есенин уехал в деревню. Вернувшись, он пришел к нашему общему знакомому. Там в то время как раз собралось много гостей, было весело и шумно.

Сергей мигнул мне, и мы вышли в соседнюю комнату. Это была спальня, с большим шкафом, зеркальная дверца которого была полуоткрыта и качалась. Разговор этот особенно запомнился мне потому, что я видел нас обоих, отраженных в этом движущемся стекле.

— Знаешь, я сейчас из деревни, — понижая голос, зашептал он. — Вот раньше, когда, бывало, я приезжал в деревню, то орал отцу, что я большевик, случалось, обзывал его кулаком — так, больше из задора... А теперь приехал, что-то ворчу насчет политики: то неладно, это не так... А отец мне вдруг отвечает: «Нет, сынок, эта власть нам очень подходящая, вполне даже подходящая...» Ты знаешь, чтобы из него такие слова вывернуть, большое дело надо было сделать. А все Ленин! Знал, какое слово надо сказать деревне, чтобы она сдвинулась. Что за сила в нем, а? А я что-то не то орал... пустяки.

И все, что он мне тут же рассказал о деревенских делах, потом, словно процеженное, превратилось в его знаменитых стихах о деревне и в «Анне Снегиной» в чистое и ясное слово поэзии.

Я никогда не видел Есенина обряженным в мужицкую одежду, назвать его «мужицковствующим» никак нельзя было — его социальная природа проявлялась произвольно и порой неожиданно.

Так, в разговоре о впечатлениях своей заграничной поездки он рассказал вдруг о встрече с русским белоэмигрантом, служившим официантом в ресторане и на вопрос Есенина чванливо назвавшим свой полный титул и тот гвардейский полк, где он в царское время служил офицером. И Есенин, в самом тоне этого ответа почувствовавший оскорбление своего плебейского чувства собственного достоинства, назвался: «А я поэт Сергей Есенин, рязанский мужик, и ты мне сейчас прислуживаешь!»

Конечно, это было не великодушно по отношению к поверженному врагу, но с какой непосредственностью в этой грубой выходке сказалось то, что Есенин, при некоторой идейной сумятице, чувствовал себя сыном революции, ясно сознававшим, где его враги и где его друзья.

Едва ли не с начала моего знакомства с Есениным шли разговоры о том, что он женится на Софье Андреевне Толстой, внучке писателя Льва Толстого. Сергей и сам заговаривал об этом, но по своей манере придавал этому разговору шуточный характер, вслух прикидывая: каково это будет, если он женится на внучке Льва Толстого! Но что-то очень серьезное чувствовалось за этими как будто бы шуточными речами.

Да и какие тут могли быть шутки! В облике этой девушки, в округлости ее лица и пронизательно-умном взгляде небольших, очень толстовских глаз, в медлительных манерах сказывалась кровь Льва Николаевича. В ее немногословных речах чувствовался ум, образованность, а когда она взглядывала на Сер-

гея, нежная забота светилась в ее серых глазах. Она, видно, чувствовала себя внучкой Софьи Андреевны Толстой. Нетрудно догадаться, что в ее столь явной любви к Сергею присутствовало благородное намерение стать помощницей, другом и опорой писателя.

Мы собрались на «мальчишник» у той нашей приятельницы, которая и познакомила меня с Есениным. Я мало кого знал из друзей Есенина, и некоторые из них мне не нравились — это была та среда литературной богемы, к которой я относился без всякой симпатии. Может быть, сейчас я на многих посмотрел бы более снисходительно, но тогда во мне сильна еще была пуританская и сектантская нетерпимость военного коммунизма. Сережа то веселился, то вдруг задумывался. Потом взял гитару...

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

Как сейчас слышу я его немного глуховатый голос, простой и печальный напев, ту особенную русскую манеру пения, о которой Лев Толстой сказал, что поется с убеждением, что главное — это не песня, а слова.

Думы, мои думы! Боль в висках и темени,
Промотал я молодость без поры, без времени.

«А ведь ему совсем нелегко живется, — впервые подумал я тогда. — Болен он, что ли?..»

Сергей допел, все кинулись к нему, всем хотелось его целовать, благодарить за эту прекрасную песню, в которой необычайно переплелись и затаенная, глубокая тоска, и прощание со своей молодостью, и его заветы, обращенные к новой молодости, к бессмертной и вечно молодой любви...

«В молодости нравился, а теперь оставили»... Но его и сейчас любили. Что же это? Неужели кокетство?..

Он махнул рукой и вдруг ушел.

— Ну и оставьте его, — сказала хозяйка дома.

— Что же, все как полагается на мальчишнике, — сказал кто-то, — расставаться с юностью нелегко.

Заговорили на какие-то другие темы. Хозяйка дома незаметно вышла, потом показалась в дверях и поманила меня.

— Плачет, — сказала она, — тебя просил позвать.

Сергей сидел на краю кровати. Обхватив спинку с шишечками, он действительно плакал.

— Ну чего ты? — я обнял его.

— Не выйдет у меня ничего из женитьбы! — сказал он.

— Ну почему не выйдет?

Я не помню нашего тогдашнего разговора, очень быстрого, горячечного, — бывают признания, которые даже записать нельзя и которые при всей их правдивости покажутся грубыми.

— Ну, если ты видишь, что из этого ничего не выйдет, так откажись, — сказал я.

— Нельзя, — возразил он очень серьезно. — Ведь ты подумай: его самого внучка! Ведь это так и должно быть, что Есенину жениться на внучке Льва Толстого, это так и быть должно!

В голосе его слышались гордость и какой-то по-крестьянски разумный расчет.

— Так должно быть! — повторил он. — Да чего уж там говорить, — он вытер слезы, заулыбался, — пойдем к народу!

После того как Софья Андреевна вышла замуж за Есенина, я как-то был приглашен к ним. Странно было увидеть Сергея в удобной, порядливой квартире, где все словно создано для серьезного и тихого писательского труда. Там у нас произошел один из самых серьезных и страстных разговоров о пути крестьянства. По обыкновению, Сережа непосредственно в разговоре не участвовал, он слушал, как я спорил с одним из его друзей.

Друг его открыто выражал неверие в возможность социалистической переделки деревни, он приводил факты, свидетельствующие о возрастании веса кулачества в экономике деревни, предвещал дальнейший расцвет кулачества и видел в нем весьма осязательную угрозу пролетарской диктатуре.

Я, опираясь на одну из последних работ Ленина

«О кооперации» (1923 год) и на недавние постановления правительства и партии, говорил о возможности другого, кооперативного, социалистического пути развития. Слово «колхоз» еще не было произнесено, но оно носилось в воздухе. Речь шла о «переходе» «к новым порядкам путем возможно более *простым, легким и доступным для крестьянина*» (курсив В. И. Ленина). Именно эта сторона процесса больше всего интересовала Есенина, — он вставлял в наш диалог вопросы о том, что предстоит пережить крестьянству при переходе к социализму, насколько мучительно отзовется на крестьянине этот процесс перехода, какими душевными изменениями ознаменуется для крестьянина этот переход.

В начале разговора Сергей сидел на другом краю стола, рядом с женой, возле самовара, потом перешел на наш конец. Он взял низенькую скамеечку и сел так, чтобы были видны наши лица. Помимо логических доказательств, ему нужно было еще что-то.

Мне очень хотелось, чтобы он всегда жил так — тихо, сосредоточенно. Писателю его масштаба, его величины таланта следовало бы жить именно так. Но не помню, в этот ли раз или в другой, когда я зашел к нему, он на мой вопрос, как ему живется, ответил:

— Скучно. Борода надоела...

— Какая борода?

— То есть как это какая? Раз — борода, — он показал на большой портрет Льва Николаевича, — два — борода, — он показал на групповое фото, где было снято все семейство Толстых вместе с Львом Николаевичем. — Три — борода, — он показал на копию с известного портрета Репина. — Вот там, с велосипедом, — это четыре борода, верхом — пять... А здесь сколько? — Он подвел меня к стене, где под стеклом смонтировано было несколько фотографий Льва Толстого. — Здесь не меньше десяти! Надоело мне это, и все! — сказал он с какой-то яростью.

Я ушел в предчувствии беды. Беда вскорости и стряслась: начался страшный запой, закончившийся помещением Сергея в психиатрическую лечебницу Ганнушкина.

По городу шли слухи, что Ганнушкин, выпуская Есенина, сделал его близким грозное предупреждение: не имея формальных оснований дольше задерживать Есенина в больнице, он должен обратить их внимание на то, что припадки меланхолии, ему свойственные, могут кончиться самоубийством.

И вот, когда мне пришлось нести на плечах гроб Есенина, я все вспоминал эту последнюю нашу встречу у него дома, наш горячий спор и милое, полное искреннего и самозабвенного волнения лицо его: ведь спор шел о самом для него дорогом — о судьбе родины, о социализме, о пути родного ему крестьянства, — и когда говорил я, он смотрел в лицо мне, а когда его друг, он смотрел в его лицо...

Москва с плачем и стенанием хоронила Есенина. В скорби о нем соединилась вся, тогда разделенная на группы и враждебные направления, советская литература. Вряд ли есть поэт-современник, не посвятивший памяти Есенина хотя бы нескольких строк. Стихотворение Маяковского возвышается над всеми прочими стихами, посвященными памяти Есенина, как достойный памятник собрату. Тогда еще состоявшее почти поголовно из юношей, пролетарское писательское движение выразило свое отношение к Сергею Есенину в хорошей статье Владимира Киршона, вышедшей тогда отдельной книжкой и по настоящее время представляющей известный интерес, — она вошла в однотомник Киршона, изданный в Гослитиздате.

Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали, — это был достойный преемник пушкинской славы.

31 января 1957 года

Зрячая любовь



I

Казалось, то было время, для расцвета «изящных искусств» никак не приспособленное. Улицы городов — не только уездных и губернских, но также Москвы и Петрограда — были завалены снегом, в учреждениях вешалки стояли пустые, так как здания не отапливались и ни служащим, ни посетителям не приходило в голову снимать верхнюю одежду. Никаких поездов, кроме эшелонов товарных теплушек, которые или везли хлеб из Сибири в столицу, или под краткими и грозными лозунгами: «Бей Врангеля!», «Долой польских панов!» — тянулись на фронт, не было. Паек выдавали не продуктами и даже не мукой, а зерном, а то и жмыхами. Старики рабочие бродили по замерзшим цехам, прикидывая на глазок, что требуется для того, чтобы вдохнуть жизнь в индустрию, и поджидали заводскую молодежь, которая, надев красноармейские шинели и опоясавшись ремнями, билась на фронтах с польскими панами и Врангелем.

По Украине и Сибири полыхали кулацкие восстания, и на стенах домов и заборов взор прохожего упирался в увеличенное изображение отвратительного насекомого. Ее, сыпнотифозную вошь, в то время изображали лучшие художники, и лучший поэт респуб-

лики Маяковский в звучных и крепко сложенных стихах призывал бороться с ней.

И у нас в Челябинске молодой доктор Фрид, тоже в стихах, изложил концепцию борьбы с вошью, где была и такая строчка:

Вошь бывает головная, платяная, лобковая...

Стихи эти, сопровождавшиеся незамысловатыми рисунками, были изданы в нашем городе и, нужно думать, принесли по тем временам немало пользы.

Но наряду с этими прикладного характера произведениями Маяковский на эти же темы своим пером и своей кистью создавал шедевры. До сих пор мы с восхищением рассматриваем и изучаем замечательные плакаты тех лет. Но ведь не было, наверное, такого города, где бы свои собственные художники чем ни попадя — если не было краски, то печной сажей — не писали бы самодельных плакатов...

Особенно же расцвело в то время искусство театральное. Для него не требовалось ни красок, ни бумаги, а пьесы того времени — агитсуды — сочинялись в политотделах. Для изображения «капитала» нужно было только, чтобы один из нас, политработников, напялил реквизированную у местного денежного туза шубу, у ног его клали набитый битком мешок, к которому приклеивалась бумажка с изображением единицы, сопровождаемой чудовищным количеством нулей. На воображение эти нули, нужно признаться, действовали мало — тогдашняя валюта вся состояла из таких же все падающих в цене бумажек с бесчисленным количеством нулей, и даже находились теоретики, которые говорили: «Ну и слава богу, рубль летит в пропасть, туда ему и дорога! Все равно мы перейдем на социалистический товарооборот, посредством трудовых бон...» Над этими «трудовыми бонами» мы, коммунистическая молодежь того времени, сильно ломали голову и немало спорили о них.

Фантазеров тогда было множество. Одни, например, предлагали изобразить некое массовое действие, для чего нужно было мобилизовать весь гарнизон города. Ночью, под тревожный набат, в город должны

были со всех концов, при свете факелов и заранее прорепетированных криках, войти воинские части с плакатами, на которых значились лозунги с восхвалением великих революционеров прошлого: «Честь Робеспьеру, Марату слава!..»

О том, что вместе с этим шествием в город могли прорваться также и белобандитские шайки, ходившие в окрестных лесах, вдохновенные авторы действия как-то не подумали.

Тиф, голод, бандиты... Но в нетопленных театральных залах и кинематографах происходили диспуты и лекции, в невиданно широких масштабах осуществлялась ликвидация неграмотности; вся Красная Армия стала огромной школой политического образования; для детей давались спектакли. Пьесы сочинялись тут же и устраивались конкурсы на лучшую пьесу, причем премии выдавались зерном и подсолнечным маслом.

Такая импровизированная пьеса, инсценировка известной сказки «Мальчик с пальчик», была поставлена, если мне не изменяет память, в связи со встречей нового 1921 года.

Детей было множество. Большой зал народного дома в Челябинске, наверное, никогда не видел столь крикливой, восторженной аудитории, — это были дети городской бедноты, пришедшие из привокзального поселка Порт-Артур, из хибарок заречной стороны. Советская власть работала впрок, с далеким политическим расчетом: сколько будущих энтузиастов-строителей первой и второй пятилетки сидело в этом нетопленном зале и с замиранием сердца следило за похождениями отважного малютки, который то выручал своих неуклюжих, огромных братьев, роли которых исполняли самые рослые актеры, то спасал своих престарелых отца и мать, то ловко обманывал хитрую бабу-ягу...

Но откуда достали такого мальчика, который действительно ростом был под стать аудитории, прыгал, как мячик, голос звонкий, а глаза необыкновенные — огромные, добрые, умные, они так и летали по аудитории, словно освещая ее... В этой маленькой и лов-

кой, худощавой фигурке, казалось, не было ничего женского — мальчишка и все тут. Но глаза выдавали, нетрудно было догадаться, что роль «мальчика с пальчик» играет талантливая актриса.

Это вовсе не была профессиональная актриса, это была молоденькая учительница Лидия Николаевна Сейфуллина.

II

Познакомиться на родине нам так и не пришлось, хотя Лидия Николаевна знала отца моего, была знакома и с моей матерью. Но вскоре она уехала в Сибирь, — там, в столице Сибири, в Ново-Николаевске (ныне Новосибирск), завязывался журнал «Сибирские огни». О том, как это произошло, Л. Н. Сейфуллина рассказала в своих чудесных, посвященных этому времени воспоминаниях.

Встретились мы уже в Москве. Всякому, кто будет заниматься историей возникновения советской художественной прозы, никак нельзя обойти творчество Сейфуллиной. Перечитайте такие ее вещи, как «Правонарушители», «Перегной», «Виринея» или «Александр Македонский», — и вы почувствуете, как и чем жило крестьянство в начале революции, вы увидите нарисованного без прикрас и потому особенно привлекательного в своей героической простоте русского коммуниста, на плечи которого история возложила нелегкую ношу быть представителем пролетарской диктатуры и вести за собой огромную мелкокрестьянскую страну.

Голос Сейфуллиной — это особенный голос, он выделяется даже среди той пестрой разноголосицы, которая была свойственна литературе двадцатых годов. Причина этой пестроты и разноголосицы заключалась не только в разнообразии личных судеб и индивидуальностей писателей — в ней находила выражение вся наша, только что пережившая грандиозный революционный сдвиг страна, со всеми ее классами и остатками классов, со всеми ее начинающими по-новому жить социальными группами.

Лидия Николаевна Сейфуллина была представителем той наиболее демократической прослойки интеллигенции, которая, живя одной жизнью с народом, с первых же шагов советской власти отнеслась доброжелательно к этой возникшей из недр трудового народа, рожденной революцией власти, — эти чувства пронизывают все ее произведения, их принесла она в литературу. На совещании по внешкольному образованию в 1920 году она слышала Ленина, и ее рассказ об этом заслуживает изучения в школе. Упомянутые выше страницы воспоминаний о возникновении журнала «Сибирские огни» полно и жарко передают нам атмосферу тех лет, когда энтузиасты советской культуры с помощью старшего поколения партийных литераторов, таких, как Емельян Ярославский, — его портрет превосходно дан в этом очерке, — закладывали основы советской культуры.

Редактор «Красной нови» А. К. Воронский заметил первые произведения Л. Н. Сейфуллиной в «Сибирских огнях». Лидия Николаевна стала сотрудничать в «Красной нови», переехала в Москву. Здесь-то и завязалось наше знакомство — она сама отыскала меня.

Я пришел в ее маленькую квартиру, которую я запомнил как воплощение уюта. Никогда не забуду, с какой мягкой ласковостью она и муж ее, Валерьян Правдухин, отнеслись ко мне. В одной из обзорных критических статей мы упомянуты были рядом.

— Мы вместе, под руку, пришли в литературу, об этом нам забывать никогда нельзя... — ласково говорила она, и как дружелюбны были ее огромные глаза, так шедшие к ее круглому, темно-смуглому лицу!

Сейчас она совсем не походила на «мальчика с пальчик», — наоборот, вся ее прелестная женственность нашла выражение в округлости ее небольшой фигурки, в чудесном смехе и даже в манере курить. Я не раз потом бывал в этой квартирке, — мы много говорили, много спорили, но и во многом сходились.

Л. Н. Сейфуллина в литературной дискуссии 1922—1923 годов была в основном сторонницей Во-

ронского. Но ее сближало с литературной коммунистической молодежью отвращение ко всякой упадочной гнили, эпигонской декадентщине, которой отдавали в то время дань некоторые, порою даже даровитые писатели. Воронский склонен был к этим чертам относиться снисходительно, рассматривая их как проявление подлинного искусства, как отражение действительности в литературе. Это отталкивало Л. Н. Сейфуллину от А. К. Воронского.

В сфере литературных вкусов нам нетрудно было сговориться, и в скором времени Лидия Николаевна стала работать в отделе прозы журнала «Молодая гвардия», где уже работал я. Она скоро дружески, на «ты», сошлась со всеми нами — со мной, с Артемом Веселым, с появившимися в то время молодыми поэтами Светловым, Голодным и Ясным.

Эта партийно-комсомольская среда была ее средой, она здесь все любила и понимала. Задача объединения коммунистических сил в литературе, которую ставил себе журнал, была ей, хотя и формально беспартийной, близка так же, как если бы Лидия Николаевна состояла в партии. Для характеристики направления деятельности Л. Н. Сейфуллиной достаточно сказать, что «Разлив» — первая повесть А. Фадеева — был прочитан Л. Н. Сейфуллиной и получил ее положительный отзыв.

Но журнал «Молодая гвардия» был одним из центров «напостовства», направления, которое, критикуя Воронского, вдалось в другую ошибку — левачество, комчванство, заушательски пренебрежительное отношение к творчеству талантливых беспартийных писателей (как их тогда называли, «попутчиков»), в упрощенчество и вульгаризаторство в вопросах литературы.

Лидия Николаевна в прямой и резкой форме — всегда дружески — критиковала нас и в скором времени из журнала «Молодая гвардия» ушла...

Она переехала в Ленинград, и я на некоторое время потерял ее из виду.

Встречи наши возобновились уже в Ленинграде, и одна из этих встреч особенно запомнилась мне.

Это было в 1928 году, когда два писателя выступили с проникнутыми антикоммунистической тенденцией книгами: Б. Пильняк опубликовал «Красное дерево» и Е. Замятин — роман «Мы».

Л. Н. Сейфуллина прочла «Мы» и в разговоре, который произошел на ее ленинградской квартире, на улице Халтурина, резко критиковала этот роман.

— Особенно отвратительно мне в этом произведении высокомерное барство! — говорила она. — Рисовать народ, наш народ, поднявшийся до высокой степени революционного сознания, как быдло, как скотину, — конечно, это свидетельствует о чванстве. Теперь понятно, почему Замятин в свое время ушел из Коммунистической партии. Такому барину в ней попросту не место!

— У нас состоится вскоре конференция Ленинградской ассоциации пролетарских писателей, — сказал я. — Раз ты так думаешь, выступи у нас и скажи о своем отношении к роману Замятина.

Лидия Николаевна нахмурилась, задумалась. Она относилась критически к руководству РАПП и к линии журнала «На литературном посту», и хотя мы с ней сохраняли неизменную дружбу, споры наши по многим вопросам порою приобретали довольно острый характер.

— Что ж, я выступлю... — сказала Лидия Николаевна. — И скажу все, что я думаю о Замятине. Но и о вас тоже скажу. Потому что вы варвары. Ваши представления об искусстве примитивны и вредны. Но при всем том литературная молодежь, которую вы собираете в вашей организации, это люди наиболее мне близкие в литературе. Выступлю, потому что считаю, что настроения высокомерия по отношению к советскому народу, барского пренебрежения к нему еще достаточно сильно распространены в нашей литературной среде. А именно эти настроения и явля-

ются источником такого рода произведений, как «Мы» Замятина.

И она выступила так, как себе наметила. Помню ее небольшую, словно игрушечную, фигурку на трибуне в чинном зале Мариинского дворца, где происходила конференция ЛАПП. Она изложила свое мнение о романе Замятина и резко осудила его. Но при этом, конечно, и нам, «налитпостовцам», изрядно попало.

Да, «барство», «барин» всегда были для Л. Н. Сейфуллиной ругательными словами. Мы знаем случаи, когда люди, происходящие из народа, забывали о том, откуда они вышли, начинали глумиться над народом, изменяли ему. Не то Лидия Николаевна. Она выросла в нужде и лишениях, но память о тяжелом детстве и трудной молодости навсегда сохранились в ее душе, она гордилась пережитым и во всех своих действиях всегда исходила из интересов народа и стремления быть с ним. Она с охотой шла на предприятия Ленинграда, участвовала в культурно-массовой работе, рабочие знали и любили ее.

Движимая пафосом первой пятилетки, Лидия Николаевна пошла работать на завод «Красный треугольник» в Ленинграде, встала к станку. И хотя ей физически приходилось трудно, она с честью выполнила эту задачу, и любопытный очерк ее «Письма к родне» остался свидетельством этого важного этапа жизни и деятельности Л. Н. Сейфуллиной.

Она писала о себе и скромно и с величайшей ответственностью: «являясь хотя бы малозначительным представителем культуры класса, утверждающего законы в нашей стране, я себя считаю пролетарской писательницей, хотя и числюсь в попутчиках. Никакие внутренние разногласия в сфере самой литературы *не заставят меня считать себя безответственной* (подчеркнуто мною. — Ю. Л.) не только за советскую литературу, но и за политический строй страны, празданство которой я приняла».

Да, Лидия Николаевна стала советской гражданкой не потому, что оказалась на территории, охваченной социалистической революцией, она сознательно

приняла это гражданство, и так сознательно и ответственно она прожила всю свою жизнь.

Ее положение было нелегкое. Признавая себя пролетарской писательницей и высказывая в творчестве идеи пролетариата, «утверждающего законы в нашей стране», поддерживая постоянную дружбу с пролетарскими писателями, она всегда критически относилась к РАПП и не вступала в нашу организацию. Будучи формально беспартийной, она по духу была коммунистом, и некоторые писатели, для которых «беспартийность» была формой ограждения себя от партии, порою косились на нее. Но сбить эту маленькую женщину с позиции, занятой ею, было невозможно.

Потому мало кто в литературной среде оказался в такой степени подготовленным к принятию постановления партии о ликвидации РАПП. После этого постановления Л. Н. Сейфуллина стала одним из активных борцов за сплочение нашей литературы, за социалистическое единство ее, о чем можно судить по ее выступлениям на Первом Всесоюзном съезде писателей и после съезда.

Лидия Николаевна всегда близка была партии. Но ей были свойственны некоторые интеллигентские предрассудки, затруднявшие ее вступление в партию. За годы первой пятилетки она и по взглядам и по деятельности своей в литературе стала коммунисткой. Мы не раз говорили с ней о вступлении в партию — она слишком высоко ставила звание члена партии и считала себя недостаточно для этого подготовленной.

Вскоре после войны она просила у меня рекомендацию в партию, и я, да и не я один, писатели много старше меня по партийному стажу (могу назвать В. М. Бахметьева), с охотой дали ей рекомендации. Верно, они хранятся где-нибудь в ее архиве.

Не будучи формально в партии, Лидия Николаевна вела себя как член партии — об этом свидетельствуют ее записные книжки, дневниковые записи и стенограммы ее выступлений, особенно за время войны.

Зимой 1941—1942 года мы собрались в Москов-

ском Доме литераторов отпраздновать двадцатилетие литературной деятельности Лидии Николаевны. Я работал в то время в газете «Красный воин» Московского военного округа и находился на казарменном положении, потому долгое время не был в нашем Доме.

Сурово выглядели заиндевевшие стены погруженного в полутьму большого зала. Почти все московские писатели были в эвакуации, а те, что пришли на юбилей, были, как и я, в солдатских шинелях.

Мы собрались в углу зала, у горящего камина, куда по мере надобности подбрасывали дрова, и огонь, вспыхнув, освещал сосредоточенные и торжественные лица.

Мне запомнилось прочувствованное слово Емельяна Ярославского, старого друга Лидии Николаевны — еще с Сибири, так много сделавшего для политического роста писательницы. Немного нас было, но каждый сказал хоть несколько слов, и в те дни, когда немцы еще находились на подступах к Москве, каждое слово звучало весомо, крепко. В лице Л. Н. Сейфуллиной мы чествовали борца против фашизма, неоднократно выступавшего с международной трибуны, писательницу-патриотку, еще на заре советской власти сказавшую верное слово о советском строе, о революционном народе и его интеллигенции и на всю жизнь оставшуюся верной этому слову.

IV

Бывало, что мы не виделись месяцами, годами... Но я знал, что в тяжелый момент Лидия Николаевна сама, без зова, позвонит, скажет слово ободрения, участия. Случалось, и она обращалась ко мне за советом. Ее порою ставили в тупик самые незамысловатые житейские обстоятельства — просроченный договор, запутанные отношения с издательством. Мне всегда было дорого это ее доверие. Я не могу похвастать практическим здравым смыслом, но Лидия Николаевна всегда говорила:

— Я знаю, ты все по правде скажешь...

И я давал ей советы, как быть, когда пьеса, уже принятая театром, самой не нравится, или как отчитаться в творческой командировке, из которой не удалось ничего привезти.

Вскоре после войны я зашел как-то к ней на дачу. Что-то изменилось за последние годы в обстановке ее жилья, оно утратило былую женскую уютность. Казалось, что здесь в аккуратности и чистоте живет, занятый своими строгими мыслями, юноша.

— Над чем ты работаешь, Лида? — спросил я ее.

Она ответила грустным и насмешливым взглядом.

— Ты хочешь спросить о другом: почему я так прочно исчезла с книжных витрин? — сказала она, безбоязненно вскрывая корень той глубокой тревоги, которую я чувствовал за нее, и выразив ее гораздо более остро, чем хотел бы я.

— Пожалуй, речь можно вести только о витринах книжных магазинов. На библиотечных книжных полках ты угнездилась прочно, навсегда... — ответил я.

Она, улыбаясь, кивнула, задумалась.

— Нам всем, нашему поколению, легко было начинать, — сказала она. — Мы чудовищно много нового принесли в литературу и рассказали об этом, ни о чем не задумываясь, как бог на душу положит. Ведь верно? Знаешь, — оживленно говорила она, — не похвали меня Феоктист Березовский за газетный фельетон, так я бы, пожалуй, «Четыре главы» — свою первую повесть — не взялась бы писать. А по этой повести мой голос впервые услышали читатели. А «Правонарушители»? Ведь это написано сразу набело, в тексте попадаются такие выражения: «три мальчишки отобрал, четыре девчонки»... Что за тарабарщина? А сейчас сгоряча поставишь восклицательный знак, а через час прочтешь и вычеркнешь, да еще подумаешь, чем его заменить — точкой или запятой...

Эта борьба за повышение мастерства нашей литературы, которой она отрывочно и полусуто коснулась в разговоре со мной, была постоянным предметом ее размышлений и бесед. Сейчас, когда после смерти Л. Н. Сейфуллиной вышли из-под спуда все

ее скрытые в дневниках и записных книжках мысли и когда мы можем сопоставить их с ее уже опубликованными статьями, вся душа писательницы предстала перед нами в ее правдивой и строгой красоте.

Это была счастливая жизнь. Лидия Николаевна так о себе и пишет: «Я самая счастливая из писателей старшего поколения». И в одной из своих записей она объясняет источник своего счастья, раскрывает самое сокровенное, то, о чем человек обычно не говорит, даже не вследствие скромности или отсутствия правдивости, а потому, что не всякому суждено подняться до философского и морального осмысливания себя, своего жизненного пути.

«В молодости человек часто надеется на то, что сбыться не может. Даже не сбывшись, благодетельны эти надежды. Они помогают молодому существу сопротивляться унынию в самой унылой житейской обстановке.

С годами слабеют эти надежды и остаются в человеческой памяти лишь как воспоминания о многих несбыточных желаниях дерзкой юности. Когда для меня самой мои молодые надежды становились уже таким безнадежным воспоминанием, их осуществила Октябрьская революция. Она для меня явилась как второе рождение в мире.

Я увидела, как в глухом бездорожье царской российской провинции, удаленной от больших городов и железнодорожных путей, пролегли и шоссейные и железные дороги, как вскрылись богатые недра родных мне, печально-пустынных Оренбургских степей, как из сел, деревень, одиноких маленьких хуторов, отрезанных от мира науки, искусства, творческой мысли, пролегла широкая дорога в этот светлый мир знания, высокой советской морали, пробужденной русской души».

Для Л. Н. Сейфуллиной дело служения нашему читателю, вызванному к культурной жизни Октябрьской революцией, всю жизнь было священным делом. И в этом источник строгого и ответственного отношения ее к литературе. Она пишет:

«С этим читателем нельзя сюсюкать, пришепеты-

вать, как с ребенком, нельзя безответственно болтать. Ему надо сказать, сказать свое писательское слово, которое взволновало бы новой мыслью, осветило бы жизнь особо привлекательно, глубоко взволновало бы или вызвало задорный смех, иронию, негодование, радость, вызвало бы интерес к тому, о чем рассказывает писатель».

И она требует:

«Необходимо любить ответственной, трудной, зрячей любовью. Лишь она дает возможность парить над объектом».

Эта способность «парить над объектом», к которой себя приучила писательница, постоянная страстная озабоченность делом литературы, привела к тому, что отдельные высказывания Лидии Николаевны Сейфуллиной по своей яркости, афористичности и верности могли бы составить памятку молодого писателя.

Она пишет:

«Это страшно, когда в жизни, такой в сущности короткой, художник создает банальности».

«Область искусства — единственная область труда, где не должны быть очевидны мозоли этого труда».

«Всякая талантливость, не знающая дисциплины труда, в наши дни обречена на гибель».

«Как бы ни была прекрасна проза, язык взволнованной души — это поэзия. Мне не дано писать стихи, но я умею их читать и поэтому не завидую, а радуюсь, что в природе есть такой язык».

Можно было бы цитировать без конца. Из статей и высказываний Л. Н. Сейфуллиной составилась целый том, эпитафией к которому можно было бы взять одну из ее дневниковых записей: «Моя творческая перспектива — упрямая работа и строгость к себе».

И нетрудно проследить по ее же записям, с какой четкостью и последовательностью придерживалась она в своей работе этого правила, ставшего девизом ее жизни.

«В 1931 году написала я пьесу «Попутчики». Изображала она страдания некоего писателя из-за того,

что не может он сразу, без борьбы, без внутренней ломки, осознать и принять индустриализацию страны, жесткий ритм начала первой пятилетки и т. д. К тому же герой моей пьесы хочет уйти к любимой девушке от «разлюбленной» жены и опять не может из-за ребенка и властного характера этой жены. Пьеса эта напечатана. Не является она ни «контрреволюционной», ни «злопахотельской». *Она вредна потому, что плохо написана* (подчеркнуто мною. — Ю. Л.) Каждый может истолковать ее по своему разумению. В основу положен мелкий факт: сомнения и победа над ними одного индивидуума, не типичного даже для своей писательской среды. Художественный театр этой пьесы не принял, театр бывший Корша поставил. Начало пьесы публика приняла горячо, постепенно охладевала, конец встречала явным недоумением. Я обвиняла режиссера, актеров, только не себя. В том же году Австрийское общество культурной связи с СССР вызвало меня для литературных выступлений в Вене. Там в газете «Нейе фрейе прессе» прочитала я похвальный отзыв о себе как о писательнице. В частности, особенно хвалили мою новую пьесу «Попутчики», вкратце излагая ее содержание. Предполагались переговоры о постановке этой пьесы на немецком языке в Вене, в Бург-театре. Но, прочитав рецензию, ни в какие переговоры я не вступила, даже ни одного репортера не приняла, уехала из Вены, публично выступив лишь в нашем полпредстве и Обществе сближения Австрии с СССР. Я поняла, как может написанное плохо произведение ударить автора не только по загривку, но и по душе. В рецензии австрийской газеты пьесу хвалили за то, что ее дурно приняла «официальная (?) Москва». По возвращении домой я перечитала свое произведение «Попутчики» уже не субъективно, а объективно. Я увидела, что это — мой писательский брак. Нельзя, взявшись за изображение явлений большого масштаба, поставить в фокусе мелочь, маленькую единичную судьбу, не характерную для всей картины...»

Прошу прощения за длинную цитату. Но вопрос о том, почему один из лучших советских писателей стал

писать все реже и реже, а потом совсем приостановил свою работу, настолько существен, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно и должно послушать самого писателя.

Ответ этот недвусмысленен. В другой своей записи Л. Н. Сейфуллина упоминает о том, что повесть «Страна» уже была готова для сдачи в журнал, а когда она ее просмотрела еще раз, то от этих шести глав осталась только одна.

По дневниковым записям, процитированным выше, — из них многие опубликованы были только после смерти Л. Н. Сейфуллиной — видно, что до последних дней она жила одной жизнью с народом, мало того, — можно сказать, пользуясь ее же выражением, что любовь к народу, к революции, к советскому строю становилась все более зрячей. Но в связи с этим росла строгость к себе, чувство ответственности за каждое слово.

Можно ли осудить это? Пожалуй, можно лишь поклониться...

V

Бывало, придешь на какое-либо заседание в Союз писателей. Заседание как заседание, здороваешься с товарищами, выбираешь место, где сесть, — и вдруг чувствуешь, что всего тебя словно облило теплым, ласкающим светом. Это Лидия Николаевна улыбается откуда-то издали. И это такой взгляд и такая улыбка, что после ее смерти первым моим чувством было физическое ощущение потери — никогда уже не согреет меня взгляд этих больших, весело и ласково умных глаз.

Л. Н. Сейфуллина с охотой отдавала свои силы работе в Союзе писателей. Ее присутствие придавало серьезность любому заседанию, — чувствовалось, что она присутствует на нем единственно для того, чтобы помочь делу литературы.

Всегда прямая и правдивая в своих высказываниях, прямая до резкости, она никогда не скатывалась до анархизма и нигилизма. Критикуя практическую

деятельность того или иного редактора, она никогда не впадала в отрицание необходимости самого института редактуры. Сохранилась ее запись, где она говорит:

«Институт редактуры нужно сделать творческой организацией».

Она иронизировала над теми писателями, которые даже «корректуру своих произведений не прочь возложить на Политбюро», или о тех, кто «на семнадцатом году революции заявляет о том, что признает советскую власть».

Она высмеивала критиков «по инерции»: «Жует хвалу тем же и о них же. Л. Леонову, Вс. Иванову, М. Шолохову. Первому десятку. А между тем молодые люди пишут в неизвестности нужные нашему молодому обществу произведения». И она поставила своей общественной задачей встречать молодого писателя еще «на подходе», еще до того, как он стал известен. Она сказала первое теплое слово таким, в будущем хорошим и разным, талантливым писателям, как С. Сартаков, Г. Марков, В. Тендряков, В. Закруткин, Ю. Капусто, Г. Гулия, А. Коптелов, О. Маркова, Ю. Шестакова, Е. Мальцев, — я составил этот список уже после смерти Л. Н. Сейфуллиной, просмотрев написанные ею рецензии. Следует отметить, что у каждого из молодых писателей Л. Н. Сейфуллина находит то особенное, что свойственно именно этому писателю, и обязательно подчеркивает черты социалистического реализма.

«Я не могу защищать марксизм, — пишет Л. Н. Сейфуллина в одной из дневниковых записей 1934 года. — Это мне не по рангу и не по плечу... Но я могу и чувствую за собой право защищать социалистический реализм, и мне не стыдно, что слово «символизм» для меня страшно». И далее она добавляет: «Для литераторов, рожденных Советской Россией, есть слова, с которыми невольно ассоциируется сопротивление понятию «социалистическая правда». Одно из таких слов «символизм»...»

Людям из-за границы, которые по тем или иным причинам ощутили интерес к советской жизни, а так-

же и некоторым представителям нашей литературной молодежи, может быть даже искренне кажется, что понятие «социалистический реализм» выдуманно чуть ли не в порядке бюрократического постановления и спущено вниз писателям.

А между тем понятие это рождено самой жизнью литературы, ходом страстной борьбы за социалистическую литературу. Это было наилучшее выражение той «социалистической правды», за которую боролись такие писатели, как Л. Н. Сейфуллина. А когда такие импульсивные натуры, как Л. Н. Сейфуллина, борются за новое, они порою «перехлестывают» в отрицании старого. Потом, позднее, приходит время, когда и с этим старым можно разобраться. А в момент борьбы разобраться бывает трудно. Нужно бороться.

И Лидия Николаевна Сейфуллина всю жизнь боролась за новое. В том спектакле «Мальчик с пальчик», о котором я здесь вспоминал, был момент, когда отважный крошка, обувшись в сапоги-скороходы, схватив за руку одного из своих неповоротливых и огромных братьев, потащил за собой всю их вереницу — вперед, вперед, вперед...

Запомним такой Лидию Сейфуллину, — она такой была.

18 августа 1957 года

О Маяковском

I

Меня познакомили с Маяковским в начале 1923 года, в редакции журнала «Молодая гвардия», и он отнесся ко мне, автору недавно опубликованной, сильно на шумевшей повести «Неделя», хотя и вполне доброжелательно, но довольно безразлично, то есть именно так, как я, автор первой и пока единственной повести, вероятно, и заслуживал. Впрочем, о самой повести отозвался он одобрительно, назвав «Неделю» художественным протоколом революционных событий, что для него означало оценку положительную. Но, в отличие от других моих новых знакомцев по литературе, он не считал нужным проявлять по отношению ко мне ни любопытства, ни снисходительности, ни тем более видимости дружеских чувств.

Одет был Маяковский как-то по другому, чем мы все, еще не сбросившие одеяний военного коммунизма и гражданской войны — военных гимнастеров, сапог... Но при этом Маяковский ничем не походил также на женственных юношей, входивших в тогдашний «Союз поэтов», отпускавших длинные волосы, носивших какие-то дамские кофты и декламировавших свои стихи нараспев, кастратски тонкими голосами.

Маяковский, при всей скромности своего костюма, один из нас всех одет был по-европейски. Он носил

огромные туфли какого-то иностранного, хотя и лишнего броского франтовства, фасона, его простая, с отложным воротничком рубашка была для того времени на редкость тщательно отглажена. Мы были лохматые — он чисто выбритый.

В очерке «Парижские провинции» Маяковский писал: «Мы даже не заметили, как наши провинциальные города стали столицами республик, федераций, как городки стали центрами огромной революционной культуры и как Москва из второсортных городов Европы стала центром мира. Только в поездке по Европе, в сравнении, видишь гулливеровские шаги. Сейчас Париж для приехавшего русского выглядит каким-то мировым захолустьем. Все черты бывшей нашей провинции налицо... Конечно, все сказанное мною относится главным образом к душевной опустошенности, к остановке роста...»

Это было примерно то, что мы от него слышали, когда с жадностью ловили каждое его слово.

Однако не для такого рода бесед, приходил тогда Маяковский в редакцию «Молодой гвардии» — он вел переговоры принципиального характера. О чем шли переговоры, мне, в литературных делах тогда еще мало искушенному, было не очень понятно. Впрочем, я сам ушел из «Красной нови», от Воронского, повинаясь смутному побуждению, что мне нужно найти такое место, где собираются коммунистические силы в литературе, и в этом отношении «Молодая гвардия» меня устраивала. По этой же причине Маяковский решил связаться с журналом, являвшимся органом ЦК партии и ЦК комсомола, — я это в скором времени понял. Нетрудно было также уяснить, что Маяковский хлопотал не лично о себе, — хотя стихи его и появлялись на страницах «Молодой гвардии», но гораздо чаще печатались они то в «Красной нови», то в «Известиях». Нет, переговоры шли об идейном и художественном контакте с журналом «Молодая гвардия». Речь шла не о личном сотрудничестве Маяковского, а об участии в журнале того направления литературы, которое возглавлялось Маяковским, — насколько я помню, в результате переговоров заведование стихо-

творным отделом «Молодой гвардии» взял на себя Николай Николаевич Асеев. Вскоре он стал непререкаемым авторитетом в вопросах поэзии — даже для самых задиристых из молодых пролетарских поэтов.

Мне с Асеевым всегда было легко и просто, даже тогда, когда мы спорили, а споры, порою очень горячие, были основной особенностью тогдашней литературной жизни. Не так было у меня с Маяковским. Могу сказать со всей откровенностью — он всегда внушал мне робость, и если я отваживался рассматривать его, то украдкой. А почему? Хотя в редакцию «Молодой гвардии» он приходил дружелюбным и даже приветливым, я не мог забыть его таким, каким видел на диспутах, когда он выходил на трибуну словно со стиснутыми кулаками, готовый к отчаянной драке, и где он, словно мифологический титан, своим единственным, неповторимым голосом обрушивал слова-скалы на своих противников. Он внушал восхищение, преклонение.

Об источниках этих чувств к Маяковскому стоит рассказать подробнее, а для этого мне нужно вернуться к своим отроческим годам.

II

Можно ли любить поэзию в одиночку?! Мне всегда хочется понравившиеся стихи прочесть вслух кому-нибудь, чтобы вместе полюбоваться ими. Конечно, прочтение романа или повести тоже вызывает желание поделиться своими мыслями, но понравившиеся стихи всегда хочется произнести вслух.

С детских лет я любил стихи маньякально. Заучивать их наизусть, читать вслух по многу раз то одному, то другому было для меня наслаждением. И то, что я испытывал при этом, было похоже на опьянение. Конечно, я и сам пытался писать стихи, но никогда в них не обманывался — они казались мне неуклюжими. И вот еще в отрочестве, обнаружив, что в нашей семье, среди домашних моих, нет, подобно мне, любителей поэзии, я, естественно, начал искать их среди школь-

ных товарищей. И вскоре я нашел таких же поэтических маньяков, каким был сам. Они слушали, как я читаю стихи, и в свою очередь читали вслух не только чужие, но и свои сочинения, вроде таких:

На заросшем пруду вековым,
Под развесистым дубом старинным,
Распускаются белые лилии
Со стеблями причудливо длинными.

Среди зауральских хвойных и березовых лесов я что-то не припомню старинных дубов и заросших прудов — эти явные аксессуары усадебной жизни, конечно, перекочевали в стихи моего приятеля из книг. Сам он вырос в бедной и многодетной семье, еще в отрочестве приходилось ему перебиваться, давая уроки, и помогать своим младшим братьям и сестрам, которые, кстати сказать, очень любили его. Но реальная повседневная жизнь не находила никакого отражения в его поэзии. Да и зачем тащить в поэзию всю эту уездную повседневщину, назойливую скуку, от которой хочется избавиться, забыть ее! Так возникла тяга к Бальмонту, к раннему Блоку, ко всей изысканной, дурманной поэзии модернизма и декаданса.

Все то, о чем я пишу, происходило со мной, когда мне и моим сверстникам было четырнадцать — пятнадцать лет. Мы следили тогда за каждым новым стихотворением, за каждым новым сборником, за каждым новым литературным именем и с высокомерным презрением третировали своих же сверстников, увлекавшихся футболом. «У них головы созданы, чтобы отбивать мячи», — говорили мы высокомерно.

И, конечно, мы, подростки, впервые в нашем городе стали сторонниками футуризма, едва это слово донеслось до нас из столицы.

О, рассмейтесь, смехачи,
О, засмейтесь, смехачи!
О, рассмейся надсмеяльным
Смехом смейных смехачей!

Только сейчас, сверяя цитату, я обнаружил, что в стихотворении Хлебникова «Заклятие смехом» третья и четвертая строки отсутствуют. Наверное, прочитав

эти стихи несколько раз еще в отрочестве и тут же их запомнив, я невольно присочинил этот призыв присоединиться к «смейным смехачам» и тоже в свою очередь рассмеяться их «надсмеяльным смехом».

С каким упоением вслух и по многу раз прочитывал я перед изумленными и даже ошарашенными домашними своими эти хохочущие строчки, содержавшие, как я тогда полагал, дерзкое нежелание жить по-уездному скучно, призыв посмеяться над тем, что достойно осмеяния! Ведь вокруг меня, да и вообще в российской жизни того времени, было более чем достаточно вещей и явлений, которые вызывали подобно-го рода «надсмеяльный смех»!

Мы знали имена всех футуристов и среди них, конечно, имя Маяковского. Да простят мне те из наших литературоведов, которые с казуистическим изяществом изошряются в доказательствах того, что Маяковский или никогда футуристом не был, или был лишь в ранней молодости «связан» с футуристами. Мы в то время были уверены, что Маяковский — это один из футуристов и едва ли не их предводитель.

Но вот наступил момент, после которого я стал отделять Маяковского от прочих футуристов.

Перелистывая очередной номер журнала «Новый сатирикон», я натолкнулся на стихотворение, которое было дано в качестве подписи под забавной карикатурой Радакова, изображавшей оторвавшегося от жизни ученого в своем запаутиненном кабинете:

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ошетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Невозможно было сразу же не запомнить наизусть это стихотворение. В нем совершенно отсутствовало беспредметное смехачество Хлебникова — оно содер-

жалю целустремленное и остроумнейшее издевательство над схоластической скукой, от которой мы немало в то время страдали в старой школе. И, как всегда бывает со стихотворением, которое очень понравилось, я, запоминая, невольно переименовал его. О «приготовишках» в тексте было сказано:

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен...

А мне почему-то на всю жизнь запомнилось «лопухие» и не «глуп и покорен», а «дик и покорен». Впрочем, последнее переименование произошло, конечно, не случайно. Тот, кто покорен, кто, по словам Ленина (см. его статью «На смерть графа Гейдена»), целует оковы цепей, которыми он скован, — холуй, хам, — в глубине души своей всегда дик. Об этом твердили и Глеб Успенский, и Чехов, и Горький.

Со времени прочтения этого стихотворения я стал выискивать стихи Маяковского. Такие метафоры, как начало «Облака в штанах»:

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке, —

сразу запоминались и вытверживались, ими можно было обороняться против той обволакивающей душу застойной тины, которую поклонники всякого рода «заросших прудов» старой жизни культивировали в литературе.

К восприятию Маяковского, несомненно, подготовили меня также стихи Саши Черного, поэта едва ли не самого популярного среди прогрессивной молодежи того времени. Я не случайно подчеркнул именно ту социальную прослойку, которая ценила и любила, пожалуй даже породила, поэзию Саши Черного. Его герои — это студенты, курсистки, журналистская и художественная богема. Его тематика — это до гротеска беспощадное осмеяние обывателя, мещанина, чиновника, прежде всего как главного носителя скуки доре-

волюционной жизни. Поэтическое самочувствие Саши Черного — одиночество, высокомерная хандра...

Этот поэт был тогда где-то рядом с революцией, он, пожалуй, даже сочувствовал народу, но по сути своей революционером не являлся, и до народа и до революции ему дела не было.

По авторитетному свидетельству Л. Ю. Брик, Маяковский читал и любил Сашу Черного. Да и сейчас, перечитывая Сашу Черного, мне иногда слышится как бы предчувствие Маяковского.

Хочется словами
Свирепо-солдатскими
Долго и грубо ругаться...
...А вместо этого лирически-штатскими
Звуками
Нужно слагать поздравленья,
Ломая ноги каждой строке
В волнении...

Вот это «ломаю ноги каждой строке», конечно, и дает ключ к самочувствию нарождавшейся в то время новой поэзии, угловатое содержание которой не укладывалось в гладенькие ритмочки вырождающегося эпигонского стихотворства. Ведь даже у Блока в «Двенадцати» новое, громовое содержание революционной эпохи потребовало новых стихотворных форм!

И разве забудешь тот момент, когда среди удушливого смрада первой мировой войны вдруг громовым диссонансом прозвучал звонкий, то переходящий в рычание, то возносящийся до самых высоких нот голос Маяковского, обличающий войну и ее заправил, призывающий к человечности.

В терновом венце революций
Грядет который-то год! —

прочел я в шестнадцатом году в поэме «Облако в штанах».

Это первое легальное издание поэмы привез один студент из Петрограда, и там поверх цензурных точек проставлено было это предсказание прихода новой, неслыханно тревожной и радостной эпохи.

И меня не удивило, конечно, что Маяковский с самого начала революции пошел с большевиками. Направленное против кадетов, язвительное стихотворение о том, как ветром «шляпчонку сдуло с кадета», сразу, как только я прочел его, вошло в мой политический арсенал, я не раз приводил его в политической полемике.

Но, со вниманием и интересом относясь к каждой строчке Маяковского, будучи его постоянным читателем и зная все, что им напечатано, я даже тогда, когда его стихотворения и отдельные образы приводили меня в восхищение, не относился к нему как к своему любимому поэту, каким для меня всю жизнь был Александр Блок.

Чтобы точнее выразить свое ощущение, я должен прибегнуть к сравнению. Стихи Блока словно растворялись в душе моей, — нет, не только в душе, они словно проникали в самую кровь, в дыхание. Точнее выразиться я не могу, именно так: они растворялись в душе и проникали в кровь. Маяковский был нерастворим. Его отдельные строфы, его гигантские образы целиком и сразу укладывались в памяти, и после моего вступления в партию часто бывало, что они являлись наилучшим выражением коммунистического отношения к тому или иному явлению. Я знал, что сам я никогда не смогу выразить это коммунистическое отношение так ярко, как выразил его Маяковский, но я всегда точно знал, что это *не мое* личное выражение, а присвоенное у Маяковского.

III

После знакомства с Маяковским уважение к нему при одновременном ощущении своего отличия от него, несовпадения с ним еще больше усилилось. Если бы я не писал воспоминаний личного характера, я мог бы об этом ощущении умолчать, тем более что как раз этот период характеризуется все большим сближением моим не только с Маяковским, но и с его друзьями и единомышленниками по группе ЛЕФ.

К тому времени, о котором я пишу, уже сложилась группа ЛЕФ и вышли первые номера этого журнала. При всей своей спорности они были интересны всякому, для кого литература и искусство были делом жизни. Журнал прямо и откровенно каждой строчкой своей говорил о стремлении служить пролетарской революции и советской власти, на нем лежала печать могучей личности Маяковского. В этот период, вследствие постоянного общения с Маяковским, Асеевым, Бриком, Третьяковым, мне стала ясна та роль, которую Маяковский сыграл для всего этого литературного направления.

Придя к футуристам, очевидно, в силу своего творческого сродства с ними, Маяковский в дни Великого Октября и особенно в послеоктябрьскую эпоху представлял среди футуристов ведущее коммунистическое начало. При некоторых уродствах, являющихся пережитками декадентского и формалистического прошлого футуристов, и сам Маяковский и друзья его, как могли, старались деятельно служить пером и кистью революции. Можно назвать хотя бы «Ночь перед Советами» Хлебникова.

Но при этом лефы и Маяковский, признанный их вожак, не в состоянии были полностью порвать с декадентским крылом футуризма, с беспредметниками, ничевоками, со всевозможными разновидностями формализма. И когда в 1923 году ход литературной дискуссии все сильнее сближал нас, молодых писателей, провозгласивших себя пролетарскими, с Маяковским и его друзьями, нам постепенно стала ясна неизбежность и необходимость нашего союза с лефовцами. Одним из условий этого союза с нашей стороны был разрыв лефовцев с декадентским крылом футуризма.

То, что нас сближало, было много сильнее того, что нас разъединяло.

Журнал «На посту», так же как и «ЛЕФ», подчеркивал задачу служения художественным словом делу коммунистического воспитания. И мы и лефы вне этого пути не признавали возможности развития и роста советской литературы.

Нас сближало с лефами то, что мы вместе крити-

ковали Воронского, который поддерживал иногда произведения, являвшиеся кривым зеркалом революции. Нас сближала с лефами критика не только затхлой, эпигонской декадентщины, но также и поэтов тогдашней «Кузницы», в творчестве которых мотивы планетарно-космические соединялись порою с упадочничеством.

Одна из встреч с лефами, возможно решающая для нашего сближения, произошла на квартире у Осипа Максимовича Брика, в Водопьяном переулке.

С любопытством и волнением шел я на эту встречу с «футуристами». Я ждал, что самая обстановка квартиры будет необычайна, и от души был поражен тем, что сначала не увидел там ничего футуристического, — обыкновенная вешалка в передней, небогато обставленная столовая, в которой был накрыт чай, и Лиля Юрьевна за столом, приветливо скромная, одетая как-то незаметно, но со вкусом, — опять-таки ничего футуристического! Если и было в ней что-то необыкновенное, так это глаза, карие, яркие, исполненные умного и живого выражения.

И Маяковский, который в этой небольшой комнате казался несоразмерно велик, вел себя совсем не по-«футуристски», как он держал себя на диспутах или в редакции; я отметил, что он с поклоном принял от Лили Юрьевны стакан чая, — сделал это так, как полагалось делать в «приличном обществе».

Впрочем, освоившись, я обнаружил в комнате также и некоторые признаки футуризма. Подсев к столу и подняв голову, я увидел абажур, и сердце мое дрогнуло: «Футуризм!» Абажур был склеен, если не ошибаюсь, из белой вошеной бумаги и представлял собой соединение нескольких, кажется трех, геометрических фигур, таких, какие мы изучали в реальном училище на уроках стереометрии и кристаллографии, — куб, призма, октаэдр.

За столом сидел также Алексей Елисеевич Кручных. Тут я впервые познакомился с автором «дыр-булшира», и он, по первому взгляду, тоже показался мне совсем не «футуристическим» со своим молодежаво-приглядистым, очень русским лицом, в какой-то про-

винциальной, чуть ли не с украинской вышивкой, косоворотке. Но когда я вслушался в то, что он говорит, я был вполне удовлетворен: это уже был настоящий футуризм, вполне под стать кубическому абажуру, — педантическое рассмотрение гласных звуков и разделение их на «чистые» и «нечистые».

Впрочем, эти экскурсии, видно, были внове только мне. Маяковский молча отхлебывал чай, Лиля Юрьевна, к которой, похоже, обращался Крученых, отвечала ему вежливой улыбкой, но тоже молчала, — на нее можно было глядеть без конца.

С. А. Родов, пришедший вместе со мной, сразу же прошел в соседнюю комнату, оттуда слышен был его и О. М. Брика громкий разговор. Товарищ, которого мы поджидали, уже пришел, — кто это был, я сейчас не помню, — и мы перебрались в соседнюю комнату. А. Е. Крученых за нами не последовал. В соседней комнате находился кабинет, стен не было видно из-за множества книг, расставленных на полках. Книги навалены были на столе, на стульях и креслах. Я с почтением вспомнил тогда, что О. М. Брик был одним из деятельных членов ОПОЯЗа — общества изучения поэтического языка, основанного в Петрограде и близкого к ЛЕФу. О деятельности этого общества я имел тогда представление самое смутное, но относился с уважением к этому собранию ученых мужей.

По прошествии около сорока лет трудно вспомнить, о чем шла речь именно на этой встрече, тем более что таких встреч было несколько. Но на всех этих встречах доминирующую роль играл Маяковский. Его мягкость и — даже странно сказать — некоторую робость словно рукой снимало, едва он оказывался в кабинете. Голос его рокотал так же, как если бы он был в Политехническом музее, где я еще до знакомства несколько раз видел его с галерки, или в редакции «Молодой гвардии». Он делал два шага и с одного конца комнаты переносился на другой. Порою говорил Брик, в высказываниях его проявлялся свойственный ему логически цепкий, склонный к уточнениям ум. Сказав несколько фраз, он неизменно поворачивался к Маяковскому, отыскивал его своими живыми, блестящими

глазами, и Маяковский кивком подтверждал сказанное. Маяковский говорил примерно следующее:

— Вам грозит опасность подпасть под влияние эпигонства литературного, и мы хотим вам помочь. Вы говорите, что мы попутчики по отношению к вам. Все это глупости! Мы вас рассматриваем как наиболее коммунистическую силу литературы и хотим помочь вам оформиться в художественном отношении. Пролетарская литература должна быть не только в идейном отношении коммунистической, но мы должны быть новаторами и в отношении формы. Конечно, взгляды Маяковского на «формальное» новаторство были во многом для нас неприемлемы. Но при заключении союза мы пришли к соглашению ставить в основу наше политическое единство, продолжая спорить по вопросам специфики искусства.

Семен Абрамович Родов, наш тогдашний лидер, требовал, чтобы ЛЕФ отказался от сотрудничества с Пастернаком и Шкловским. Стихи Пастернака я уже читал и, должен признаться, не понимал их. О Шкловском же я не имел никакого представления, но охотно доверял своему старшему товарищу и единомышленнику, который пугал нас Шкловским, точно буквой.

Голос Маяковского, отстаивавшего своих товарищей, заполнил всю комнату, — казалось, что в ней стекла дребезжали, отвечая его раскатам. Он называл своих друзей по именам. О Шкловском он сказал: «Я сам не согласен со многим, что говорит Виктор. Но даже его спорные утверждения способствуют развитию литературы...»

Посещение квартиры на Водопьяном для меня, тогда еще неискушенного в вопросах литературы, явилось чем-то вроде перелистывания интересного литературного справочника.

Бывая на Водопьяном, я заставал там Н. Н. Асеева, Третьякова, Незнамова, а также Г. О. Винокура, и эта встреча особенно запомнилась мне, потому что я уже знал и высоко ценил работу Г. О. Винокура «О языке Ленина», опубликованную в журнале «ЛЕФ».

Так был заключен этот союз, — общую декларацию подписали со стороны ЛЕФа Брик и Маяковский, со стороны МАПП — Родов и я.

Союз этот вовсе не имел только декларативного характера — Брик и Шкловский стали вести семинары по прозе в группе «Молодая гвардия». Маяковский во время своих многочисленных поездок по России неукооснительно связывался с местными организациями пролетарских писателей, — о помощи, оказанной им молодым поэтам и об их дружеских с ним отношениях написано достаточно много.

Иногда Владимир Владимирович заходил на Покровку, 3, в общежитие молодых писателей. Там получил комнату секретарь редакции журнала «ЛЕФ» Незнамов. Маяковский заходил к нему по делам редакции.

Незнамов жил в странной комнате, где окна всегда были завешены и всегда горел электрический свет. У Петра Васильевича были воспаленные веки, а ресницы почти отсутствовали; глаза его всегда сохраняли веселое и независимое выражение. Скромный, вежливо-ласковый, он был старше нас всех, живших в общежитии, и, как говорили молодые поэты, «понимал стихи». Он носил какой-то кургузый пиджачок и, делая покупки, выбегал иногда на улицу, накинув пиджак прямо на нижнюю рубашку. Быстротой и юркостью движений, самой формой своей головы, на которой редкие волосы были всегда приглажены, а также выражением глаз, всегда любопытствующих, он походил на ящерицу.

При Маяковском он запомнился мне, как деталь при памятнике, и я не мог вообразить, в какие грозные дни нам еще предстоит встретиться.

IV

Со времени заключения союза между ЛЕФом и МАПП Маяковский стал посещать наши конференции и совещания.

Это и понятно. Актив МАПП состоял из членов наших литературных кружков. Среди них было много

молодых рабочих, политически передовых, сознательных и очень восприимчивых к поэзии. То же следует сказать и о пленумах РАПП, на которые писатели-рапповцы съезжались со всей России.

Тогда верхнюю одежду на вешалку не сдавали, и мне запомнился Маяковский в пальто, с папиросой в углу рта, — он стоит в дверях зала, выражение лица непроницаемо-серьезное. Иногда он садится неподалеку от дверей, чтобы легче было уйти.

Маяковский часто выступал перед нашей аудиторией. В полном собрании сочинений напечатаны некоторые — далеко не все — его выступления, и мне нет нужды их здесь пересказывать. Он до хрипоты, до бешенства спорил с конструктивистами, с которыми МАПП несколько позже также заключила союз. Он подвергал критике своего друга Мейерхольда, дав замечательный анализ двух сторон — революционной и реакционной — в развитии этого большого деятеля советского театра. Маяковский постоянно критиковал нас, но всегда изнутри пролетарской литературы. Он говорил нашим поэтам: «Тянетесь в хвосте! Повторяйте «Кузницу»!»

Оглядываясь сейчас в прошлое, я должен сказать, что Маяковский старался установить возможно более тесные, дружеские отношения с журналом «На литературном посту». Он негодовал, когда там печатались, с его точки зрения, неправильные статьи, приходил в редакцию, стучал палкой и произносил громовые слова.

Бывало, что он приходил в редакцию «На литературном посту» или «Октября» и прочитывал свое последнее стихотворение. Но не только свое, — он прочел нам одно из стихотворений Михаила Светлова. И всегда очень серьезно выслушивал то, что мы говорили.

Да и в редакции «На литературном посту», вопреки тому, что позднее говорилось и писалось, к нему относились дружески.

Вот в насквозь прокуренной и потому кажущейся особенно наэлектризованной атмосфере редакции рождается очередная тема будущей карикатуры Кукры-никсов.

Архангельский, постоянный сотрудник редакции, поэт-сатирик и знаменитый пародист, не поднимая глаз, бормочет своими тонко вырисованными, иронического склада губами последнее стихотворение поэта из группы «Перевал»:

Хорошо это счастье... поплакать
Над могилкою русской души...

Архангельский тут же забавно и не совсем прилично переиначивает эту строфу, вызывая взрыв хохота и одобрения: очередная тема карикатуры Кукрыниксов найдена! Сам Архангельский не смеется, он даже глаз не поднимает, но смех присутствует в самом складе его выразительного «арлекинского» лица.

Но вот в комнату вошел Маяковский, и Архангельский сразу вскакивает навстречу любимому поэту. Неприветливое, с болезненно серой кожей, лицо Архангельского вдруг словно освещается его необыкновенной синевы глазами, восторженными, восхищенными.

Они мне такими и запомнились. Это было в конце двадцатых годов, я приехал из Ленинграда и шел в редакцию «На литературном посту». Они встретились мне в воротах. Маяковский казался особенно массивным. Он ступал так крепко, что казалось, оставлял следы своей огромной ступни на булыжниках, которыми тогда был вымощен въезд во двор Дома Герцена. Архангельский шел рядом, заглядывая ему в лицо и самозабвенно улыбаясь. В этом преклонении отсутствовало всякое подобострастие, в нем выразалось лишь прекрасное и чистое восхищение. Он что-то рассказывал, верно забавное, и Маяковский усмеялся, слушая его.

До переезда в Ленинград я состоял в руководстве МАПП, был членом бюро, которое отвечало за всю работу нашей организации. Когда Маяковский возвращался после своих поездок по Советскому Союзу, он всегда привозил интересные материалы о том, что делается на местах. Эти материалы он приносил в МАПП или в редакцию «На литературном посту».

Я очень хорошо помню, как он рассказывал о Ро-

стве и тут же давал характеристику Бусыгину, Кацу, Серебрянскому — писателям-рапповцам, которые работали в Ростове. И часто он говорил: «Ведь у нас с вами союз...» — как бы поясняя этим, почему по приезде в Ростов он считал нужным встречаться с нашими товарищами, критиковать их стихи, оказывать непосредственную помощь в творчестве.

Союз с нами был для него важнейшим и принципиальным делом, он выражал основное направление его развития.

Случалось, что в ресторане Дома Герцена он подойдет к столику, пошутит мягко, ласково, потом вдруг, словно вспомнив, разгневанно скажет о какой-нибудь статье из «На литературном посту», с его точки зрения неправильной, даст хлесткую характеристику ее автору — и вдруг тут же, опять круто, перейдет к мягкости, к приветливому, товарищескому тону. Впрочем, этот товарищеский тон имел много оттенков.

Как-то раз я прошел позади Маяковского в то время, когда он, играя на бильярде, только нацелился кием на шар. Он оглянулся и сказал сердито:

— Слушайте, Либединский, что вы тут мешаетесь? Здесь не литература!

С бильярдом у меня связано и другое забавное воспоминание о Маяковском. Это было в Ленинграде. Я сидел с Фадеевым в ресторане Европейской гостиницы. Вдруг из бильярдной вышел до крайности возмущенный режиссер Барнет, а за ним ухмыляющийся Маяковский. Барнет, обращаясь чуть ли не ко всем, кто находился в ресторане, возмущенно сказал:

— Товарищи, да что же это такое?!

Маяковский в это время, посмеиваясь, сел за столик. Потом подошел Барнет, — я с ним даже знаком не был, но он обратился к Фадееву и ко мне:

— Мы уговорились с Маяковским: кто проиграет, тот будет лазить под бильярд. Я лазил несколько раз, а когда Маяковский проиграл, он говорит вдруг: «А вот я не полезу!»

— Вольно вам было лазить! — посмеиваясь, ответил Маяковский.

Весь тот вечер просидел он с нами.

Вступление Маяковского в МАПП было, конечно, вызвано не столько добродетелями МАПП, сколько направлением развития самого Маяковского. Мне нет необходимости напоминать здесь о громадном и всегда благотворном влиянии, которое творчество Маяковского и его опыт оказали на развитие советской поэзии. Об этом в советской литературной науке сказано достаточно.

Но, вспоминая о своих отношениях с Маяковским, которые не носили отпечатка личной близости, а имели скорее характер общественный, я вспоминаю наши споры по вопросу о путях развития советской художественной прозы, — о взглядах ЛЕФа на этот вопрос обычно умалчивается. А между тем мне именно об этом хотелось бы напомнить.

Я не исследователь литературы и не берусь систематически излагать и подвергать критике всю систему взглядов ЛЕФа и «Нового ЛЕФа» на задачи советской художественной прозы, коснусь лишь того конфликта РАПП и ЛЕФа, который мне не случайно запомнился, — этот конфликт освещает позиции обеих наших групп. Речь пойдет об оценке «Разгрома» Фадеева.

Читатели нового поколения, которые изучали «Разгром» еще на школьной скамье, с недоумением спросят: какие могли быть споры по вопросу о «Разгроме»? Однако было время, когда «Разгром» вызывал споры. Вскоре после выхода романа в журнале «Новый ЛЕФ» появилась статья О. М. Брика, которая называлась «Разгром Фадеева». Слово «Разгром» было напечатано без кавычек, чтобы подчеркнуть начисто отрицательную в отношении этого романа позицию автора статьи. Статья была уничтожающей не только по отношению к «Разгрому» — в ней отрицалось все тогда еще только складывающееся направление литературы, к которому «Разгром» принадлежал.

«Новый ЛЕФ» высказывался в этой статье и в некоторых других статьях против литературного вымысла, против соединения в художественном образе литературного героя многих черт, принадлежащих в жизни различным людям, различным явлениям. Речь шла

не только об изображении человека, но также и любого общественного явления — в данном случае партизанского отряда. Нет нужды выдумывать отряд, надо изображать то, что дает сама действительность, — примерно так говорилось тогда на страницах «Нового ЛЕФа».

«Чапаев» объявлялся с этих позиций произведением, стоящим на правильном пути, «Разгром» скидывался со счетов. Все это было выражено прямо и резко, не менее прямыми и резкими были возражения против этой статьи на страницах подавляющего большинства органов советской печати. Высказывания «Нового ЛЕФа» по этому вопросу обедняли и сужали возможности художественного обобщения и типизации в советской литературе и сводили ее задачи к пресловутой фактографии. Но, оглядываясь в прошлое, я вижу, что при всей неправильности лефовских взглядов по этому вопросу этот спор не имел таких глубоких политических корней, как разногласия с некоторыми троцкиствующими литераторами, как наши тогдашние разногласия с представителями новобуржуазной литературы или кулацкой поэзии. Уже одно то, что в споре с нами лефовцы «Разгрому» противопоставляли «Чапаева», свидетельствовало, что это был спор внутри советской литературы.

С 1925 года, примерно с появления фадеевского «Разгрома» и до прихода Маяковского в РАПП, Маяковский, с одной стороны, и мы, рапповцы, с другой, были заняты развитием и разработкой творческих тенденций, которые казались нам противоположными. Мы не понимали друг друга. Маяковский, трибуной которого стала «Комсомольская правда», совершенно не понимал нашего интереса к реалистическому изображению психологии советского человека и отрицал эту задачу начисто. А для нас это было необходимым этапом развития. Нам — об этом мы впоследствии не раз вспоминали с Фадеевым — агитационные стихи Маяковского казались однодневками, которые, исполнив свою непосредственную политическую задачу, ту же умрут. А между тем его стихи этого периода живут, и мы, конечно, были неправы, а Маяковский прав.

Нам казалось тогда, что Маяковский, подчеркивая в пьесе «Клоп» «проблему разоблачения сегодняшнего мещанства», преувеличивал и что с мещанством навсегда покончено. Теперь видно, что в этом вопросе мы были неправы, а прав был Маяковский!

Наши два литературных направления в то время казались нам абсолютно исключаящими друг друга и враждебными. Но в дальнейшем, когда в ходе развития советской литературы все действительно политически враждебное и художественно уродливое было нашими совместными усилиями отброшено, они стали представлять собой различные стороны растущей и развивающейся советской литературы.

Борьба, которую всякий мало-мальски значительный писатель вел в те годы за то своеобразное и неповторимое, что именно он или его направление приносило в литературу, борьба, порою сопровождавшаяся субъективным неприятием того положительного, что приносил в литературу ближайший сосед, в сильной степени усложняла общий ход классовой борьбы, которая происходила в литературе того времени.

Но время молодых споров с ближайшими соседями прошло, пришло время понимания законов преемственности и традиции, понимания того, что без критики со стороны твоего современника и ближайшего соседа и художника-антагониста ты бы сам не мог расти и развиваться.

Если же мы вспомним о личных отношениях Фадеева и Маяковского, то они, при наличии серьезных творческих разногласий, были исполнены товарищеской приязни. Мне неоднократно приходилось присутствовать при долгих спорах, когда Маяковский попрекал нас психологизмом, а мы его — сведением задачи искусства к агитке и плакату. Скептики могут не поверить, что при резкости этих споров могли сохраняться товарищеские отношения. Но вот исторический факт, достоверность которого могут засвидетельствовать некоторые товарищи: когда Маяковский в 1929 году решал для себя вопрос о вступлении в РАПП, он хотел предварительно по этому поводу по-

советоваться с А. Фадеевым и не сделал это только потому, что Фадеева тогда не было в Москве.

Вступление Маяковского в РАПП произошло не потому, что РАПП к этому времени стала особенно хороша, — наоборот, РАПП именно в это время стала перерождаться в организацию бюрократическую, группа «На литературном посту» пыталась навязать всему пролетарскому писательскому движению свои, порою незрелые и во многом ошибочные взгляды.

Вступление Маяковского в РАПП произошло вопреки всему этому, оно было обусловлено внутренней эволюцией большого поэта, тем, что он, едва ли не первый в советской литературе, осознал процесс складывающегося единства всей советской, уже по-социалистически перестраивающейся литературы.

Для Маяковского вступление в РАПП было, так же как в свое время заключение союза с МАПП, важнейшим шагом политического и художественного развития. Он шел в РАПП, чтобы соединиться с нами, писателями, которые при самых существенных разногласиях были ему наиболее близки.

В феврале 1930 года я приехал на открытие конференции МАПП. В дверях зала меня встретил В. А. Сутырин, член секретариата РАПП, видный литературный критик. Вид у него был несколько растерянный.

— Мне надо посоветоваться с тобой по одному вопросу, — сказал он. — Знаешь, пришел Маяковский и говорит, что он сейчас выступит и заявит о своем вступлении в МАПП. Я ему сказал, что должен посоветоваться с кем-нибудь из своих товарищей — с Фадеевым или с Либединским...

— О чем же тут советовать? — спросил я, хотя сам был несколько озадачен. Вступление Маяковского в МАПП меня обрадовало, но и для меня также было совершенно неожиданным.

Маяковский сидел на подоконнике. Я подошел, пожал ему руку. С некоторой растерянностью, но от души произносил я какие-то не очень содержательные фразы, выражавшие мое удовлетворение по поводу того, что будем работать вместе. Он ответил что-то в

своей манере, очень кратко, в духе его обычного равно- дружеского со мной обращения.

Маяковский пошел на сцену, я последовал за ним, но не вошел на сцену, а вернулся в зрительный зал, где сел в первом ряду. Маяковский уже высился над залом, «Во весь голос» гремело над аудиторией.

На конференции присутствовало около сотни делегатов; в большинстве это были рабочие-кружковцы, молодые поэты — аудитория, которая всегда понимала и ценила Маяковского. Аплодисменты, которые раздались после прочтения поэмы, были действительно громовыми.

Приход Маяковского в ряды пролетарской писательской организации был воспринят тогдашним руководством МАПП и РАПП с некоторой растерянностью; мы словно опасались, как бы не пострадала наша утлая посудинка от того, что на нее вступил такой слон. Ведь его даже не ввели в руководство РАПП, а выбрать Маяковского в правление РАПП следовало бы на этой же конференции.

Вступление Маяковского в РАПП и его самоубийство слишком близки во времени, чтобы мы могли снять с себя ответственность за эту страшную и подлинно ничем не возместимую утрату. Маяковский покончил жизнь самоубийством в расцвете своего огромного таланта. Его старые друзья не вошли вместе с ним в РАПП, а мы, рапповцы, не сумели окружить его дружбой и вниманием, которых он заслуживал, — это, очевидно, и создало у него ощущение одиночества, а ведь именно это ощущение он переносил особенно трагически.

Период с февраля по апрель 1930 года я не был в Москве, но знаю, что Маяковского за это время «прорабатывали» на секретариате РАПП и делали это мелочно и назидательно — драматургия Маяковского явно не втискивалась в рамки рапповских догм.

Со времени заключения союза с МАПП в 1923 году и до вступления в РАПП в 1930 году Маяковский шел и вел своих друзей на сближение с нами; шел прямым и честным путем, и то, что налитпостовское руководство РАПП этого принципиального развития

Маяковского не поняло, было одним из симптомов вырождения РАПП, достаточным свидетельством, что подходило время, когда эта явно изжившая себя организация должна была быть ликвидирована.

Но когда некоторые товарищи, особенно старые друзья Маяковского, говорят, что рапповцы «затравили» великого поэта революции, мне это и сейчас кажется просто смешным: ведь я-то знаю и помню, что многие из этих друзей Маяковского сами едва ли не бойкотировали его за вступление в РАПП. Стоило ли из-за групповых споров нарушать недвусмысленную просьбу покойного поэта: «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил...» И далее: «Товарищи Рапповцы, не считайте меня малодушным. Seriously — ничего не поделаешь».

Маяковский предвидел все, что последует после его смерти: и поиски виновных, и сплетни, и даже то, что мы, рапповцы, будем говорить о его малодушии.

В. Б. Шкловский, написав, что «раппы» в день похорон Маяковского сидели по домам, был неправ. Мы пришли к гробу Маяковского и простились с ним, я был в составе комиссии по организации похорон поэта. Но, понятно, мы не одобряли его поступка, и если бы могли, вынесли бы ему «выговор», — на выговор, кстати, и походил некролог секретариата РАПП, опубликованный в «Известиях» от 16 апреля 1930 года; назидательность и узкая догматичность этого «документа» была бы комична, если бы не трагические обстоятельства, этот некролог вызвавшие.

Настали грозные дни Великой Отечественной войны. В составе одной из рот Краснопресненской дивизии народного ополчения, вышедшей из Москвы на запад, я встретился с Петром Васильевым Незнамовым. И каждый раз, когда я видел его, я вспоминал, что этот ополченец в нашем серо-голубоватом обмундировании тех дней, очень ладно охватывавшем его худощавую фигуру, работал под руководством Маяковского и был дружен с ним. Мне и приятно было это вос-

помянутое, и становилось печально, что Маяковского нет в нашем строю.

Петр Васильевич шел впереди меня на один-два ряда... Я был редактором боевого листка, а Незнамов — одним из самых деятельных и полезных сотрудников его. Бывало, передашь ему через ряды: «Петр Васильевич, сегодня к дневке нужен стишок!» — он обернется, кивнет головой, — что-то живо и быстро блеснет в его забавных глазах. И потом уже видно, как шевелятся его губы и под лад марша, выровненные маршем, слагаются боевые стихи, приподнятые, патриотические и крепко скованные.

И мне кажется, если бы Владимир Владимирович мог увидеть его в этот момент, он остался бы им доволен.

П. В. Незнамов погиб смертью храбрых в октябрьских боях на дальних подступах к Москве, воин и поэт, друг и ученик Маяковского.

Рожденный революцией



Однажды на организационном заседании группы «Октябрь» возник спор по поводу моего предложения послать приветственную телеграмму Демьяну Бедному. Особенно яростно оспаривал мое предложение мрачноватый, крупный, крепкого сложения детина в суконной матроске. На щеках у него был густой и яркий румянец, свойственный людям, которые подолгу живут на свежем воздухе. Темно-карие глаза его смотрели не мигая, с какой-то наивной пристальностью. Своим глуховатым баском он говорил о Демьяне, с моей точки зрения, нечто возмутительное и недопустимое: что в творчестве Демьяна Бедного отсутствует подлинное искусство. К этому вопросу приплетал он изрядное количество литературных сплетен, о которых я, словно в монастыре, уединенно живший в Москве, в своей Высшей военной школе связи, не имел никакого понятия и которые, как и всякие сплетни, конечно, не помогали уяснить вопрос, а лишь затемняли его.

Споря с Артемом Веселым — так звали моего оппонента, — я с жаром декламировал наизусть такие стихи Демьяна Бедного, как «В огненном кольце», — это стихотворение я и сейчас не могу вспомнить без волнения, — напоминал о значении таких произведений Демьяна Бедного, как «Коммунистическая марсельеза», или о мгновенно облетевших всю армию,

занозистых куплетах против Врангеля. В нашей группе было много товарищей, подобно мне пришедших из армии, политработников, — они меня поддерживали. В общем мы, конечно, несколько преувеличенно оценивали Демьяна Бедного — и все же были ближе к определению его действительного значения для советской литературы, чем те, кто начисто отрицал его творчество.

Так началось мое знакомство с Артемом Веселым, перешедшее в своеобразную дружбу, состоящую из непрерывных споров, но проникнутую неизменной и взаимной приязнью.

Сначала мне хочется сказать о том, что нас сближало. Артем пришел в литературу с фронта гражданской войны, участником и пристальным наблюдателем которой он был. Его не покидала уверенность, что он принес в литературу неопределимые сокровища, выразить которые нужно как-то по-новому, совсем иными средствами, чем те, которые представляла старая, до-революционная литература.

Артема, так же как и меня, не удовлетворяло ни одно из определившихся после революции литературных направлений, и мы оба оказались в орбите тогда только создаваемого журнала «Молодая гвардия». Артем сдал в один из первых номеров журнала свою повесть «Реки огненные», и повесть эта была принята к печати. Журнал «Молодая гвардия» стал для Артема родным, заветным домом. Он приходил сюда с утра и, так как стульев было маловато, забирался на высокий подоконник позади редакторского стола (случалось, что он ставил ногу в сапоге на стол редактора). Артему с его вышки видно было все, что делается на столе редактора, и когда дело касалось оценки литературных произведений, он вставлял свои замечания, по большей части дельные и никогда не шаблонные.

Артем готов был исполнить любое редакционное поручение.

У нас в редакции работал до крайности странный курьер. Ученый комсомолец, всегда погруженный в чтение какой-либо политической или научной литературы, он, будучи послан с поручением, исчезал из

редакции до конца дня, а то и на весь следующий день. Редактор наш все время разрывался между стремлением послать курьера с поручением и боязнью его длительного исчезновения. Кончалась эта душевная борьба тем, что курьер посылался — и неизбежно исчезал. Так он исчез однажды и вторые сутки уже не появлялся. Редактор бесился, ему нужно было, чтобы один видный ученый — Лапиров-Скобло — прибыл в редакцию, так как его статья подготавливалась к набору и необходимо было сделать кое-какие поправки. За ним надо было бы послать курьера, а курьер исчез.

Курьер наш избрал себе псевдоним — Шометт... Он, как и многие комсомольцы тех лет, был поклонником Великой французской революции и назвался именем одного из самых непримиримых якобинцев.

— Куда же, наконец, провалился этот чертов Шометт?! — грозно вопрошал редактор, обращаясь к бедной Кате, секретарю редакции.

По своему характеру Катя, хотя и происходила из старобольшевистской семьи, была весьма плаксива и на яростный вопрос редактора отвечала лишь потоком слез.

В редакции начинался бедлам. Артем усмехнулся своей неторопливой усмешкой.

— Давай я схожу к этому, как его — Папирус-Вобла...

— Вот ты так и назовешь его.... А фамилия его — Лапиров-Скобло...

— Знаю, знаю. Что, пакет ему отнести, что ли?

— Нет, совсем не пакет! Он сам нужен здесь.

— Нужен — значит будет...

— Погоди, Артем!..

Но Артем уже исчез. Редактор отчаянно махнул рукой, взъерошивая свои довольно жидкие кудерьки, и вновь погрузился в редакционную горячку.

Не прошло двух часов, как дверь открылась и в дверях появился рядом с Артемом, в его матроске и тельняшке, кажущийся до крайности штатским и тщедушным, Лапиров-Скобло.

Артем занял свой обычный пост на подоконнике. Редактор, недовольно покосился на его сапог, —

обычно он не обращал на этот сапог никакого внимания, но при постороннем и таком ученом посетителе... Начался разговор с Лапировым-Скобло, который не заинтересовал Артема, и он ушел.

И тогда Лапиров-Скобло, опасливо поглядывая на дверь, быстро сказал:

— Я у вас с охотой буду сотрудничать... И журнал ваш мне симпатичен... Только не присылайте этого морячка. А то он, знаете, без стука пришел в кабинет и вместо «здравствуйте» говорит: «Зачем заставляете себя ждать?» — «Да вы откуда?» — спрашиваю я. А он: «Собирайтесь!» И, знаете, увел меня. Весь институт думает, что меня арестовали. Да и я сам, признаться, только по пути узнал, что ведут меня в вашу редакцию.

Поступки Артема были своеобразны, некоторые взгляды на вопросы общественного и личного поведения неправильны. Но когда дело касалось партийного или комсомольского поручения, Артем был исполнитель и строг к себе.

Однажды он на неделю или на две исчез из редакции. Появился с обветренным и облупившимся лицом.

— Комсомол послал в деревню... — объяснил он свое исчезновение. — Слушай, Юрий, мне нужно посоветоваться по этическому вопросу, выйдем в коридор...

Стоим у подоконника, лицо Артема выражает недоумение и обиду.

— Понимаешь, сосед мой по общежитию тоже комсомолец... Ну, всегда жили дружно... А как только я уехал, он жене проходу не дает. Что делать, а? Писать кляузы, ты знаешь, что я не люблю. Очень хочется морду ему набить...

Я невольно взглядываю на внушительный кулак Артема, уже приведенный в боевую готовность.

— Нет, нет, Артем, — быстро говорю я, — это уж действительно будет неэтично...

— А приставать к жене товарища, да еще когда он исполняет комсомольское поручение, этично? — сумрачно спрашивает Артем.

— Я его не оправдываю. Но ты сразу сам попа-

дешь в положение обвиняемого... И потом — я ведь знаю твою жену, она тебя любит. Ведь он от нее ничего не добился, верно?

— Это верно, — говорит он, и хмурые складки на лице его расходятся, выступает широкая, какая-то детская улыбка. — Так как же быть?

— Предать забвению. Мелочь...

— Верно. Мелочь.

После того как создан был журнал «На посту», который начал острую полемику с редактором «Красной нови» Воронским, Артем Веселый и с ним ряд других молодых писателей ушли в группу «Перевал» при «Красной нови». Но «Перевал», где наряду с подлинно революционными молодыми писателями группировались литераторы с упадочническими и реакционными взглядами, не устраивал Артема, и он ушел в ЛЕФ, к Маяковскому. И не случайно ушел. Он, как и Маяковский, занят был поисками новой формы в литературе. Но взгляды ЛЕФа по вопросам художественной прозы оттолкнули Артема своей рационалистической сущностью.

Правительство предоставило молодым писателям прославленное впоследствии Михаилом Светловым общежитие на Покровке, 3. Каждый из нас, молодых писателей, получил по комнате, — это была по тем временам роскошь! Артем перевез туда своих простых и славных родителей, зажил по-семейному. Мы стали соседями по квартире.

Артем, прочитав мою первую повесть «Неделя», — насколько мне помнится, я сам подарил ему ее, когда она в конце 1923 года вышла отдельным изданием, — пришел ко мне в комнату. Книга была у него в руках, на лице выражение умственного напряжения, раздумья.

— Не понравилось? — спросил я.

— Читать интересно, а все как-то не так.

— Почему не так? Что неверно?

— Погоди, ты не сердись... Все верно, — видно, что ты сам это испытал, видел... Я это знаю все. Но как-то не с той стороны берешь. Понимаешь, за это время вся Россия кровью умылась, каждый уголок...

— Но ведь я именно об этом и писал.

— Показано как-то не так. Надо, чтоб жизнь, самая обыкновенная жизнь, была видна. Во всей своей правде.

— А разве не видна?..

— Не могу я тебе объяснить. Литературности у тебя много, что ли... Вот я напишу вещь, тогда ты увидишь; это будет ответ твоей «Неделе»... — несколько угрожающе сказал он. — Тогда поговорим!

Я с нетерпением стал ждать.

Иногда Артем появлялся в моей комнате.

— Юрий, я пришел к мысли, что запятая — это совершенно излишний знак.

— Что ты только говоришь, Артем? — пугаюсь я. — Ведь сложносочиненное предложение...

— Сложносочиненное... — насмешливо произносит он и уходит.

Проходит еще несколько дней снова появляется Артем.

— И точки тоже не нужны... — говорит он вместо «здравствуй».

— Но ведь тогда просто нельзя ничего понять будет. Ну, представь себе телеграмму, — и то не всегда догадаешься, что в ней написано. А если таким телеграфным способом написать целый роман...

— Не то ты говоришь. А заглавные буквы? Разве они не заменяют точки? Понимаешь, чего я хочу? Я хочу, чтобы сами слова говорили, чтобы они голосом пели и сверкали живыми красками, чтобы не было никакой этой книжности, а лилась живая речь! И я добьюсь этого!

Он работал много и неустанно, снова и снова возвращаясь к написанному. Свою повесть «Реки огненные» он знал наизусть и огромными кусками читал ее нам, закрыв глаза, неторопливо, с выражением. Иногда в том месте, где ему самому нравилось, он открывал глаза и усмехался. На первом плане этой повести были два совершенно разложившихся после гражданской войны удальца матроса, возвращающиеся к себе на корабль. Их похождения, довольно мерзкие, кончались моральным и политическим крахом, их

прогоняли с родного корабля, где их сменяли дисциплинированные и выдержанные комсомольцы.

Артем недавно вернулся после службы во флоте и сам принадлежал к таким комсомольцам. Мораль у повести была правильная. Но молодые военморы получились у него скучноваты, а обе отрицательные фигуры были написаны с большой жизненной силой, и язык, на котором они изъяснялись, при некоторой нецензурности, был яркий и выразительный. Чувствовалось, что автор любит своих отрицательных героев, и это любование, вопреки правильной морали, передавалось читателю.

Автора хвалили за талантливость, порицали за склонность к анархизму и за нецензурности. Но Артем уже работал над новыми произведениями, «Реки огненные» остались позади. Он не только писал, он не переставая по-своему, не по-школьному, а по-писательски, изучал литературу. Заходя к нему, я заставлял его за чтением классиков, то русских, то иностранных.

Не довольствуясь сокровищами народной речи, собранными им за время революции, он взялся за словарь Даля. Иногда он приходил ко мне, большой, круглоголовый — он рано начал лысеть и брил наголо свою большую голову. Косой ворот рубашки растегнут, видна загорелая шея. Он делился своими соображениями о языке, всегда интересными и самобытными, — их нужно было бы записывать.

Порою Артем «чудил». Зайдя к нему, можно было увидеть, что на одной из стен его комнаты развешаны страницы, образующие одну из глав от начала до конца. С таким расчетом, чтобы видеть сразу все страницы, Артем сидел на полу, всматривался, раздумывал... Порою он вставал и на одну из страниц вносил исправление — что-то вычеркивал, что-то вписывал, иногда что-то переносил с одной страницы на другую. Он работал над каждой главой, подобно тому как работает над композицией картины живописец: ему хотелось, чтобы вся глава сразу была перед его глазами.

Стремясь приблизить свою работу к работе живописца, Артем мечтал, чтобы каждая глава его нового романа была издана на цветной бумаге — новый цвет

в соответствии с содержанием каждого раздела. Разделов будет семь, по цветам радуги. Он сердился, что полиграфисты отказывались исполнить подобного рода прихоть, и тешил себя тем, что печатал свои рукописи на цветной папиросной бумаге: один раздел — на розовой, другой — на малиновой, третий — на зеленой. Совсем плохо приходилось тем разделам, которые соответственно мрачному своему содержанию печатались на темно-синей бумаге, — их читать было попросту трудно.

Однажды он пришел ко мне очень мрачный и сказал, что совсем бросает писать художественные произведения.

— Прочел «Мадам Бовари» Флобера, там все вперед написано. Лучше ведь не напишешь?

Но он не мог не писать. Пережитое и наблюдаемое в первые годы революции бродило и требовало выражения.

— Юрий, я написал вот...

Со времени нашего разговора о «Неделе» прошло едва ли не два года; но я понял, о чем говорит Артем.

Это были гранки какого-то альманаха, я тут же кинулся их читать.

Да, Артем исполнил свое обещание. Хорошо мне знакомый провинциальный город, город «Недели», вставал передо мной как живой. Но показан он был действительно с какой-то совсем другой стороны. Артем увидел в нем совсем других людей, но я чувствовал, что именно в этом городе живут и мои герои, и, бродя по знакомым улицам и входя в учреждения, я недоумевал, что не встречаю их, — мне казалось, что именно они определяют лицо города. А порою на меня вдруг веяло «Неделей»:

«Из словесной мякоти многочисленных докладов выпирали ребра задач, а задачи были огромны и просты: выкачать восемь миллионов пудов хлеба и перебросить его в центр; организовать городские низы; из глубины уезда вывезти к линии железной дороги полгораста тысяч кубов дров; потушить разгоревшийся тиф, углубить классовое расслоение деревни, провести всяческие мобилизации...»

Да, да, это моя тема, тема «Недели», но почему она у Артема так конспективно свернута и лишена поэзии той эпохи?

Я молча вернул гранки Артему.

— Ну как? — спросил он, вопросительно взглядываясь в мое лицо.

— Все-таки не то, — ответил я. — Хорошо, даже нравится, но не то.

— То есть как же не то? Как раз то, чего у тебя нет.

— Да, многого, что есть у тебя, у меня нет. Но у тебя не дано то организующее, исходящее от партии начало, без которого характеристика эпохи выглядит неверно.

— Трескотни политической не хватает, так, что ли?

— Не трескотни, а поэтического выражения эпохи...

Мы помолчали.

— Похоже, что у тебя конец еще не написан... — добавил я.

— Это верно. Я еще не кончил. Понимаешь, разрастается, и нет предела! Будет называться «Россия, кровью умытая»... — сказал он раздельно.

«Почему нет предела? — подумал я. — Мне только потому и удалось закончить «Неделю», что я поставил предел своему замыслу».

Когда я, уже в настоящее время, впервые от начала до конца прочел весь роман «Россия, кровью умытая», ощущение беспредельности было основным и преобладающим. Это ощущение охватывает читателя с первой же страницы, с описания начала первой мировой войны.

Широко охватывает автор эпоху, и потому ощущение широты, многоголосости, ощущение жизни народа, переживающего важнейший исторический перелом, не покидает вас до последней страницы романа.

Художественная память автора поразительна. Порою кажется, что он ставил на площадях и базарах, на вокзальных перронах, в окопах и теплушках фонограф или магнитофон. Так, в толпе, провожающей рекрутов, мы вдруг слышим рыдающие голоса:

«— Не вино меня качает, меня горюшко берет...»

«— Ух... Лучше бы я камень родила, он бы дома лежал!» — только материнское горе может исторгнуть из души такой вопль, только чуткое ухо художника может подхватить такую метафору!

Бывало, в первые месяцы нашего знакомства, глядя на Артема, я с недоумением думал: «Что за охота была этому мрачному парню избрать столь не соответствующий его натуре псевдоним? Какой он Веселый? Скорее угрюмый...»

И только сейчас, перечитав «Россию, кровью умытую», понимаю, как верно выразилось в этом псевдониме основное устремление творчества писателя. И дело тут, конечно, не только в комедийном окончании забавной истории с «солдатскими голосами», истории, которая приводит к серьезной мысли, что большевики, настоящие революционеры, разрешают насущные, стоящие перед народом задачи не с помощью машинного голосования, а путем революционного действия. Весь роман «Россия, кровью умытая» проникнут усмешкой, которая имеет множество оттенков. В истории с учредительской урной присутствует политическая сатира, в изображении психологии белогвардейцев — сарказм. Даже в эпических картинах, показывающих возвращение солдат после демобилизации, мы слышим затаенную усмешку автора.

Одно из последних изданий романа «Россия, кровью умытая» иллюстрировал художник Даран, друг и земляк писателя. Дарование художника настолько родственно дарованию писателя, что порою кажется, будто проза Артема Веселого и рисунки Дарана написаны одним и тем же пером, что все тот же художник от слов переходил к рисунку, и на той же странице, где описан разговор Максима Кужеля с женой, тонким и точным штрихом нарисован уже помывшийся в бане, чистенький, словно облизанный Максим. На столе дымит самовар, стоит на этот случай припасенная бутылка. Максим вслух читает свой заветный листок газеты. Это большевистская «Правда». И какое соединение нежности, жадного внимания и восторга передал талантливый художник на лице

жены Максима! Но я ведь упоминаю здесь всего лишь об одном рисунке, а они сопровождают весь текст. В своей совокупности они не только иллюстрируют роман Артема Веселого, но являются также и ценным художественным альбомом, дающим ряд верных картин из истории гражданской войны. Я не ставлю себе целью критический разбор романа «Россия, кровью умытая» — моей задачей было дать портрет писателя, друга молодости, и задачу эту я выполняю. Но мне хочется подчеркнуть, что в том споре, который мы в юные годы вели о поэтическом изображении организующего партийного начала революции, я не считаю себя побежденным. Мне представляется, что образы, подобные Клычкову или Левинсону, не случайно отсутствуют в живой и яркой картине, написанной Артемом. Но, критикуя существенные недостатки, имеющиеся в произведениях Артема, мы не должны забывать и то драгоценное и неповторимое, что принес он и только он.

Шли годы. Артем написал роман «Гуляй Волга» — историческое повествование о Ермаке, свидетельствующее о том, что, постоянно совершенствуясь в овладении русским народным языком, Артем досконально и вдумчиво изучил ушедшую в прошлое славную эпоху истории народа русского. Прочитав «Гуляй Волга», я впервые подумал о том, что в самом таланте Артема, в его эпическом размахе, драматизме и живописности, есть что-то роднящее его с великим художником Суриковым.

Даже в самом способе собирания материала к этому роману было сходство с Суриковым — Артем купил лодку и целые месяцы проводил на Волге. Просторы родной реки — Артем происходил из Самары — очевидно, открывали дорогу воображению, уносили в прошлое. Насколько им владела эта тема, можно судить по тому, что младшую дочку свою, родившуюся в то время, он назвал Волгой и, когда ее купали, посмеивался:

— Вся Волга в одном корытце поместилась...

Артем Веселый — настоящее имя его Николай Кочуров — был добр к друзьям, очень ласков к детям, и

не только к своим. Дети тоже любили его, они помогали ему в составлении той замечательной книги частушек, которую он собирал всю свою жизнь — и в гражданскую войну и во время своих путешествий по Волге. Эта книга была издана в середине тридцатых годов.

Как не скорбеть о безвременной смерти Артема Веселого, о том, как много мог бы он еще сделать для нашей литературы и для народа, из которого он вышел и которому он был предан всей своей душой!

1957

Незабвенный создатель „Рыжика“



С Алексеем Ивановичем Свирским познакомился я в середине двадцатых годов. Это было время бурных литературных споров, острота которых обуславливалась тем, что разногласия по вопросам литературы или непосредственно вытекали из разногласий политических, или связывались с ними. Споры эти по большей части выражались открыто. Сначала они происходили в зале Дома печати, где ныне находится Дом журналиста, а потом перенеслись в комнаты Дома Герцена на Тверском бульваре, где помещались тогда литературные организации.

Фактически каждый гражданин мог прийти и стать не только слушателем дискуссии, но при желании мог сам принять в ней участие. Но писатели старшего поколения показывались здесь не очень часто. Сюда приходили интересующиеся современной литературой студенты факультета общественных наук МГУ, Свердловского университета, Института журналистики. Здесь Воронский, поддерживаемый группой «Перевал», спорил с ВАПП, здесь порою появлялся Маяковский, чтобы сказать свое веское слово.

Здесь-то я и встретил впервые Алексея Ивановича Свирского. Он, кажется, имел в то время какое-то отношение к хозяйственному управлению Дома.

Бывало, выступаешь, кого-то неумеренно громишь или столь же неумеренно восхваляешь — и видишь,

как в дверях появилась эта симпатичная фигура. Тщательно одетый, побритый и причесанный, с сильной проседью в черных кудрявых волосах, небольшого роста, но крепкий, он внимательно слушает, устремив свои черные, жгучие глаза на оратора. Он в курсе всех наших споров, а мы... Но кто же из нас в детстве не знал и не любил «Рыжика»!

Тогда при Доме Герцена и отчасти в результате усилий А. И. Свирского был оборудован хороший ресторан, летом столики выносили на свежий воздух, в сад. В перерыве заседания Алексей Иванович подходит, здоровается.

— Это вредно, столько времени глотку драть, — говорит он насмешливо-ласково, — пойдем-ка посидим на свежем воздухе. Там звезды видны, там деревья шумят.

— Из своего тяжелого, горького, бродяжьего детства, — продолжает он, — я никогда не забуду и никому не отдам того, что на всю жизнь надышался свежего воздуха. А знаешь, как на рассвете шумят деревья?

И тут мы начнем нахваливать «Рыжика» от всей души, но с внутренним убеждением, что вопрос об оценке этой книги к сегодняшнему дню уже не имеет никакого отношения.

А между тем это совсем не так.

С того времени, когда на страницах детского журнала «Всходы» появился роман «Рыжик», прошло более полувека. А его и в настоящее время любят дети, да и взрослый читатель с волнением следит за приключениями Рыжика и, закончив эту книгу, непременно похвалит ее. А ведь за это время наша родина пережила величайшую революцию, она из земледельческой превратилась в высоко индустриальную страну. В Советском Союзе впервые был осуществлен социалистический строй, и мы двинулись к коммунизму.

Но как ни велики изменения, происшедшие в общественном устройстве нашей родины и в духовном мире советского человека, приключения Рыжика продолжают волновать юного читателя, и можно с уверен-

ностью сказать, что нынешние дети, когда станут взрослыми, тоже будут дарить своим детям, а то и внукам эту хорошую книгу.

Что же придает ей такой неизменный и неувядаемый успех и столь завидное долголетие?

Откройте ее — с первых же страниц, с того мгновения, когда Аксинья и Тарас, сами бедные люди, из жалости усыновляют грудного, оставшегося без матери крошку, на вас сразу повеет какой-то особенной теплотой и человечностью. И это чувство будет сопровождать вас на протяжении всей книги. А ведь автор отнюдь не прикрашивает эту жизнь, которую он изображает, он правдиво показывает, что жизнь трудящихся людей в те глухие времена царского владычества над Россией была ужасна. Сколько бы ни работал трудящийся человек, он никак не мог выбраться из нужды; обязательным условием существования капитализма была огромная армия безработных: сотни тысяч людей, потерявших работу и в результате отбившихся от труда и вынужденных вступить на стезю нищенства, воровства и преступления, бродили по стране.

И, однако, как ни ужасна и беспросветна эта жизнь, книжка Свирского как бы твердит: человек по природе своей добр и благороден, преступление создается нуждой и невежеством. Сделайте так, чтобы каждый человек мог получить образование и трудиться, — и он станет полезным гражданином.

Не говоря уже о добрых и великодушных приемных родителях Саньки Рыжика, мы на страницах книги встречаем такого замечательного человека, как друг и покровитель Сани, интеллигентный бродяга Полфунта. А как своеобразен и обаятелен друг и товарищ Рыжика, маленький нищий Спирька! Да и сам Рыжик вызывает неизменную симпатию.

Наверняка секрет успеха этой книги заключается в том, что любой и особенно юный читатель ее легко ставит себя на место Рыжика и понимает мотивы его шалостей, его поступков, самых, казалось бы, легкомысленных и странных. Чтобы написать такую книгу, нужно было глубоко понимать людей и любить их.

Именно этими чертами в полной мере обладал автор ее — Алексей Иванович Свирский.

— Ты мне вот что объясни, — осторожно и ласково спрашивает он меня, когда вечером мы сидим с ним за столиком в ресторане, — вам действительно позарез нужно было расколоться с товарищами из старого «На посту» и создать новый журнал? (Речь шла о журнале «На литературном посту».)

И тут я снова начинаю, по его выражению, «драть глотку» и объяснять неизбежность нашего принципиального расхождения. Он, откинувшись на спинку стула, потягивая свое любимое красное вино «Нюи», глядит на меня, и я чувствую, что он слышит и видит во мне то, что всегда прежде всего интересуется и будет интересоваться писателя: он словно спрашивает: «И что ты за человек? Какие у тебя побуждения? И как еще сложится твоя жизнь?»

Алексей Иванович был не только в курсе наших споров и разногласий, но знал в подробностях и домашнюю жизнь каждого из нас.

— Вот познакомился вчера я с Сашей Фадеевым, — он всех нас называл по именам, не привнося в это никакой фамильярности: нельзя же школьников, какими мы все ему в то время, вероятно, казались, называть по имени-отчеству. — И книгу его прочел. Что говорить, если все книги, которые вы обещаетесь написать, будут такие же, как «Разгром», — у-у, это будет замечательная библиотека... — В его словах слышна совсем не обидная, но несомненная ирония. — Да что говорить! Сразу видно, что Фадеев будет большой писатель, это уж вы мне поверьте! — добавляет он серьезно. — Но вы, дорогие литературные вожди, распорядились с ним довольно плохо, — неожиданно говорит он, — должность ему дали высокую, а жильем не обеспечили.

— То есть как это не обеспечили?

— Это ты имеешь в виду комнату в Сокольниках? Это на каком-то там Лучевом просеке? Да ты мне не рассказывай, я Сокольники знаю наизусть. Вот Саша вчера сидел, где ты сейчас сидишь, и смеялся: «Где бы мне, Алексей Иванович, говорит, найти пятак старин-

ной чеканки, чтобы в перчатку положить? А то когда вечером идешь с трамвая на свой седьмой Лучевой, да еще нападет кто...» Да разве он там живет? Он там и не живет совсем! Ну, рассуди сам: молодой человек, только женился, и ее я тоже знаю — красавица, умница. И уж как бы она его ни любила, а в Сокольники ехать ей неохота. У нее в Москве комната, мама. Да ты все эти обстоятельства лучше меня знаешь...

Это, конечно, верно. Обстоятельства жизни Саши Фадеева, мне, конечно, известны лучше, чем ему. Но ему приходят в голову соображения, которые должны бы прийти мне.

— Но ты же знаешь, Алексей Иванович, в Москве жилищный кризис, — говорю я, оправдываясь.

Алексей Иванович глядит на меня все тем же иронически добрым взглядом.

— Вам что ни скажи, вы все объясните. Как же, на то и марксисты! Но, насколько я помню, Маркс учил не только объяснять мир, но и переделывать его.

— Маркс это понимал совсем не в том смысле, как вы говорите...

— Ты меня не учи! Я знаю, ты меня заговоришь. А другу твоему Саше от поучений твоих никакой пользы не последует. Будет он в городе ночевать, а работать ездить к себе в Сокольники. И все это, в конце концов, бродяжья жизнь, а ему при его натуре это совсем не полезно. А я вот имею одно практическое предложение. Ты, конечно, знаешь, что дом этот некогда принадлежал знатным господам?

— Ну как же! — радостно подхватил я. — Он принадлежал двоюродному брату Александра Ивановича Герцена! Его в Москве называли «химиком»...

— Все это я знаю без тебя. И то, что Грибоедов увековечил его в «Горе от ума»: «он химик, он ботаник», — мы как-нибудь на досуге еще поговорим с тобой обо всем этом. А вот известно ли тебе, какие здесь имеются службы? Каретники, сараи, конюшни... Конечно, при ваших планетарных масштабах вам это не известно. А я уже давно присматриваюсь к этим строениям. Потому что мы с моей Татьяной Алексевной тоже проживаем не ахти как хорошо, и нам на старо-

сти лет не мешало бы завести свою квартиру. Меня в Моссовете знают и помнят. И если я попрошу помочь мне переоборудовать одну из этих конюшен или каретников под квартиру, мне, конечно, пойдут навстречу. Но только скучно об одном себе хлопотать, вот я и решил построить квартиру для Саши. Не велика будет квартирка — две комнатки, ну да и то ладно! Вот спустились бы вы с политических высот на грешную землю, ведь наверняка у вас еще есть бездомные писатели....

Скромное строительство во дворе Дома Герцена получило от нас пышное наименование «Свирьстрой». Оно было закончено в 1927 году, и в результате Александр Александрович Фадеев, как обещал Алексей Иванович, получил свою первую квартиру в Москве.

Мы любили слушать, когда Алексей Иванович рассказывал о себе, о своей жизни. С особенным удовольствием он рассказывал о своем детстве, и сейчас я очень понимаю его. Многие в этих рассказах было знакомо нам по «Рыжику». Но особенно были интересны те моменты, в которых проступала подлинная биография писателя, не нашедшая отражения в «Рыжике».

Шимеле Свирский — так звали писателя в детстве — вырос в еврейском местечке, в условиях предельной нужды и нищеты. Если он не умер с голоду, то только потому, что всегда находились добрые люди, по большей части не имеющие к нему никакого отношения и сами достаточно бедные. Шимеле был с детства бездомным бродяжкой, и дорога к образованию и культуре была закрыта перед ним. А между тем его с детства тянуло к знанию и свету.

Его приютил школьный сторож, и ученики старших классов учили его грамоте до тех пор, пока жестокосердые и чванливые руководители училища, несправедливо оклеветав, не выгнали его.

Услужив известному провинциальному актеру Гарину, Шимеле, тогда еще беспризорный, «уличный», как тогда говорили, мальчик, получает у него пропуск

в театр и потом поражает своих богатых и бездушных родственников заученными с голоса наизусть монологами из «Короля Лира».

— А ведь история вашего детства, Алексей Иванович, так же интересна, как история «Рыжика».

— Да, интересна... — задумчиво говорит Алексей Иванович. — Теперь, когда жизнь идет к концу, я все чаще думаю о том, что обязательно надо рассказать о самом себе, о своей необычайной жизни. И не только о детстве, а о том, каково приходилось мало-мальски одаренному человеку из народа в старое время. Вот ты уже рот открыл, чтобы назвать мне Горького, но Алексей Максимович — это такая фигура, что в какую бы эпоху он ни родился, он бы свое дело сделал. Максим Горький был один. А вот таких «подмаксимков», как иронически называли нас, было немало. Но ты не случайно вспомнил Рыжика. Правда, почему бы не описать себя?.. А между прочим ты сам бы мог ответить на этот вопрос. Потому что вы, как я вас слушаю, все время толкуете о типичности. Нет, я не хочу сказать, что когда я писал «Рыжика», я исходил из теоретических взглядов на литературу, хотя кое-что уже соображал. Но тут все дело не в соображении, а в творческом инстинкте, который ведет писателя от изображения своей биографии к более широкому охвату жизни. Ты уже знаешь, что обстоятельства сложились так, что страшная, унижительная, беспросветная нужда выгнала меня из еврейского местечка и ввергла в общероссийскую жизнь, которая тоже была и тяжка, и страшна, и унижительна, но совсем не беспросветна — в ней дули свободные ветры. Среди таких же нуждающихся, как я, я стал равным среди равных. А в местечке я был бесправен, как еврей, да меня еще унижали и давили еврейские богачи... Но я отвлекся в сторону... В Сашке Рыжике есть, конечно, и Шимеле Свирский. Но какой-нибудь недалекий читатель, прочитав о Шимеле Свирском, подумает: «Это, может, только еврейскому бедняку плохо жилось в России?» Так нет же! Вот вам судьба Саши Рыжика! Я хотел, чтобы читатель, прочитав эту книгу, задумался бы о судьбе все-

го трудового народа России. И как будто мне это удалось. А о Шимеле я еще напишу...

И Алексей Иванович незадолго до смерти написал историю своей жизни. Он написал о том, как на самом дне жизни, усваивая все хорошее и отбрасывая все дурное и преступное, рос будущий писатель. Гонимый голодом и нуждой, он в отрочестве и юности исколесил тогдашнюю Россию от Одессы до Москвы, от Балтики до Средней Азии. В этих-то странствованиях он и набирался впечатлений, которые впоследствии стали основой большинства его книг, в том числе и «Рыжика».

Поразительно, что в этих условиях будущий писатель все же научился читать и прочел много книг. Писать же его научил тюремный смотритель, когда он, спасаясь от нужды и холода, объявил себя не имеющим паспорта и не помнящим родства и был заключен за это в тюрьму. Так в царской России поступали люди, у которых не было крова и заработка и для которых тюрьма была единственным прибежищем.

«Дорогой Иван Савельич! Вы для меня сделали большое дело. Вы научили меня писать. Никогда этого не забуду. Если когда-нибудь стану писателем, я сочиню про Вас целую книгу. А сейчас припадаю к Вашей руке.

Ваш Безыменный».

В этом письме, первом письме, которое тогда еще безвестный бродяжка написал своему учителю, уже высказывается наивно звучащий, но верный голос жизненного призвания. И этот голос неустанно звучал в душе будущего писателя и вел его по верному пути.

В стремлении избавиться от холода Свирский называет своей родиной Среднюю Азию, и его высылают в Ташкент по этапу. Находясь в тюрьме, он записывает свои похождения и читает свои произведения опять же тюремщикам.

Впервые произведение Алексея Ивановича Свирского — стихотворение, посвященное памяти А. В. Кольцова, — было напечатано в Ростове, в мест-

ной газете. Там же напечатано его первое произведение в прозе — «Ростовские трущобы», — пользовавшееся большим успехом, окрылившим и опьянившим молодого писателя.

Велики были соблазны писательской жизни, и кто знает, как сложился бы творческий путь А. И. Свирского. Но к этому времени Алексей Иванович встретил и полюбил замечательную женщину, которая стала неизменной подругой его жизни.

Татьяна Алексеевна, петербургская работница, интеллигентная и политически сознательная, встретившись с начинающим писателем, еще не установившимся и малокультурным человеком, и полюбив его, на протяжении всей его жизни помогала его духовному росту, руководила его чтением. Она была первым читателем его произведений и их суровым и доброжелательным критиком. Ее дружеская рука поддерживала мужа, и в минуту уныния он слышал от нее слово бодрости. Каждый раз, когда он готов был сделать фальшивый шаг, она предостерегала его.

После того как Алексей Иванович и Татьяна Алексеевна переехали в Петербург, она ввела молодого писателя, тогда уже довольно известного, в суровый мир классовой борьбы, которую вели питерские рабочие. Она познакомила его с сознательными революционерами, и это оказало влияние на все творчество Алексея Ивановича Свирского.

Пришла Великая Октябрьская революция. Алексей Иванович принимал в ней активное участие, он работал в культурно-просветительных организациях, созданных в первые годы советской власти, он был деятельным членом Московского городского Совета. Уже в советское время написано им много хороших книг, в том числе «История моей жизни».

Эта книга была его последним крупным произведением. В 1942 году, в возрасте семидесяти пяти лет, Алексей Иванович умер. Алексей Иванович Свирский был одним из тех писателей старшего поколения, чья добрая улыбка и ласка встретили нас, молодых тогда советских писателей, на пороге ли-

тературной жизни. Все то, о чем я здесь рассказал, и еще очень многое другое о своей жизни и жизни писателей, живших до революции и благородно трудившихся на пользу народа, услышал я от Алексея Ивановича. Познакомил он меня и с Татьяной Алексеевной, сказав, что всем, что он сделал в литературе, он обязан ей.

В Доме Герцена на Тверском бульваре, в зеленом садике, можно было увидеть Алексея Ивановича с его черными, тронутыми сединой волосами и жгучими черными глазами, а рядом с ним Татьяну Алексеевну, — умный взгляд ее добрых серых глаз запомнил я на всю жизнь.

В чудесной сказке Метерлинка о Синей птице мальчик и девочка — Тильтиль и Митиль — попадают в страну воспоминаний, и их приход заставляет пробудиться их дедушку и бабушку, дремлющих на пороге своего маленького домика. Такими в моей памяти навсегда останутся Алексей Иванович и верная подруга его.



Памяти друга



I

Лето 1923 года было дождливо да крайности, земляника в перелесках Кунцева, где я с семьей своей жил тогда на даче, так и не созрела. Зато грибов было множество, и мы в непромокаемых плащах ходили их собирать.

Я работал тогда в редакции журнала «Молодая гвардия», два раза в неделю ездил на поезде в Москву и каждый раз привозил кипу рукописей, чтобы читать их дома. В такой вот дождливый день взялся я за чтение одной из них. Это была рукопись в буквальном смысле слова — не напечатанная на машинке, а написанная от руки очень аккуратно и старательно, разборчиво и грамотно. Называлась она «Разлив». Фамилия автора мне ничего не сказала.

С тех пор я это первое произведение Александра Фадеева уже не перечитывал, и, пожалуй, лучше всего будет, если сейчас, по прошествии более чем тридцати лет, я напишу о своем тогдашнем впечатлении.

Читая, я все поглядывал за окно, обтекающее дождевыми каплями, видел там кунцевскую, довольно чахленькую, дачную природу. А рукопись рисовала природу необыкновенную — с высоченными кедрами, горами-сопками, долинами-падями и буйной

рекой, сокрушительный разлив которой описывался в этой маленькой повести. И люди, о которых рассказывал автор, были под стать природе: сильные и смелые, страстные и правдивые: главный герой — охотник Неретин, из рода землепроходцев, первооткрывателей этого края, и девушка, возлюбленная его. С опасностью для жизни она отправляется на лодке, чтобы предупредить о надвигающемся бедствии.

Конечно, я и тогда заметил некоторые недостатки композиции, стилистические погрешности, но все это покрывалось общим ощущением свежести и силы юного своеобразного таланта.

В этой повести радовало все — и то, что новый писатель еще молод, и то, что он близок к народной жизни и советской современности. При всем своем дальневосточном, «экзотическом» колорите произведение это было по-настоящему русское, а если что-то в нем напоминало Джека Лондона (позднее мы шуточно называли это Сашиним «джеклондонизмом»), то это объяснялось просто тем, что жизнь на Дальнем Востоке дикостью природы и суровостью условий существования во многом сходна была с жизнью на Аляске.

Спустя несколько дней автор пришел в редакцию «Молодой гвардии», помещавшуюся в Доме печати, на втором этаже. Кроме меня, рукопись прочла Лидия Николаевна Сейфуллина, после чего повесть была принята к печати.

Об этом-то я и сообщил молодому человеку высокого роста, в кепке и длинном пальто или плаще. С того момента, когда мы, начав разговор, взглянули в глаза друг другу, мне особенно запомнились его глаза: в их яркой синеве было что-то твердое. Взгляд серьезный и словно испытующий. Таково было первое впечатление. Потом я лучше рассмотрел эти глаза, с их любопытствующим и, как сказал один наш общий друг, смысленным выражением. Много раз видел я эти глаза и добрыми, и грустными, и нежными, и решительными, и даже яростными, когда в них словно загорался синий огонь. Но никогда не видел в них тусклого равнодушия и мелочного ожесточения.

Первая встреча была короткая. Я добавил еще несколько слов похвалы по поводу рукописи и задал вопросы анкетно-биографического характера. Молодой человек рассказал, что учится в Горном институте.

Высокий, худощавый, в своем длинном и каком-то негнущемся пальто, он и по наружности и по сдержанности манер казался похожим на парня из старобрядческой крестьянской семьи. Только позже разглядел я характерную ладность его сложения, юношескую красоту и легкость фигуры, — такие лица, такие фигуры можно встретить на полотнах Сурикова, рядом с Ермаком, Разиным или среди мятежных стрельцов.

Держался он с большим достоинством, за похвалы благодарил сдержанно. Мне сразу очень понравился этот немногословный и, видимо, сильный молодой человек.

В этом сборнике я писал уже о чудесном времени, когда после гражданской войны начался неслыханный расцвет советской литературы. Наш журнал был одним из центров ее собирания. При журнале и издательстве «Молодая гвардия» существовал одноименный кружок, объединявший молодых писателей. Я пригласил нового нашего товарища посещать этот кружок, и он согласился.

Когда спустя некоторое время А. А. Фадеев написал второе свое произведение — «Против течения»¹, — тоже предназначенное для журнала «Молодая гвардия», он прочел его на заседании кружка. Это второе произведение было написано заметно лучше, основной конфликт был острее, сюжет стройнее, драматичнее. Эпизод гражданской войны изображен был так, как мог изобразить его только человек, сам являвшийся участником гражданской войны. Еще одна черта проступала в этом рассказе: чувствовалось; что автор его коммунист, понимает психологию коммунистов, что он свой человек в партии.

При чтении рассказ в общем понравился, хотя вокруг него сразу вспыхнули горячие споры. Реализм,

¹ Позднее эта повесть переиздавалась под названием «Амгунский полк».

уже обозначившийся как основная особенность нарождающейся советской литературы, подвергался тогда довольно энергичному обстрелу как со стороны прямых эпигонов декадентства, так и со стороны всевозможных лженоваторов. Фадеева упрекали в неразработанности формы, причем под «формой» подразумевалась крикливая яркость стиля, — это была дань имажинизму, оказавшему сильное влияние на тогдашнюю литературную молодежь.

К критике Фадеев относился внимательно, хотя она порою носила характер довольно бесцеремонный и малодоказательный, вплоть до обвинений в бездарности, впрочем исходивших чаще всего от людей не очень талантливых. Кстати сказать, такая критика даже при всей своей вкусовщине и резкости куда лучше и полезнее вежливых недоговоренностей, а то и прямой слащавой лжи, и я вспоминаю о схватках и спорах на наших кружках того времени как о хорошей литературной школе.

Я не помню, чтобы в тот период мы часто виделись с Фадеевым. Как-то встретились в кино. Саша был со своими товарищами по институту. Он сказал, что оставляет институт и вместе с товарищем Землячкой уезжает в Ростов-на-Дону, где будет вести партийную работу. Было это вскоре после смерти Владимира Ильича, и я не удивился: у всех нас смерть Ленина вызвала именно такие настроения — ближе к партии, к народу.

Почему-то мне особенно запомнилась эта встреча. При обычной внешней сдержанности поведения почувствовалось, что он еще очень молод, по-хорошему молод. До сих пор помню, с каким глубоким уважением проговорил он: «Товарищ Землячка...» В этом выразилось то самое чувство, которое питало наше поколение партийной молодежи к старым большевикам.

Следующий раз мы встретились с А. А. Фадеевым уже летом 1924 года, когда он приехал на совещание пролетарских писателей в Москву. Совещание это, провозгласившее себя конференцией и положившее

основу Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), впоследствии видоизменившейся в ВОАПП и в РАПП, проходило довольно бурно.

Эта конференция знаменовала собой один из самых острых моментов дискуссии по вопросам художественной литературы, начавшейся примерно с конца 1922 года. В президиуме конференции, рядом с писателями Серафимовичем, Гладковым, Демьяном Бедным, Фурмановым, можно было видеть старых большевиков, сочувствующих молодому боевому писательскому движению, — Ольминского, Лепешинского, Бонч-Бруевича, Бориса Волина и других. Некоторые молодые писатели уже активно выступали с трибуны совещания.

Фадеев уже оформил в Ростове вступление в ряды пролетарской писательской организации, но на конференции он был только лишь внимательным слушателем. В атмосфере довольно шумной и крикливой он выделялся в то время своей молчаливостью. Но самая обстановка конференции, совместные обеды и ужины, вечеринки, прогулки по Москве — все это способствовало нашему дальнейшему сближению.

И тут я узнал, что Саша вырос в деревне, что мать его фельдшерица, что он воевал против Колчака в рядах партизан, что как делегат исторического X съезда партии дрался он против кронштадтских мятежников и был ранен на льду Финского залива.

Так передо мной вырисовывался облик молодого человека советской эпохи, юноши-большевика, бодрого, стойкого, жизнерадостного — эта черта особенно сказывалась в дружеском общении. Саша Фадеев был что называется компанейский парень. Да иным он, воспитанный в атмосфере партизанской дружбы, и быть не мог.

«Вы любители пенья хором!» — сказал, обращаясь к советским людям, один наш поэт. И Саша любил быть запевалой в таких импровизированных хорах. Дирижируя своими длинными руками, он сам поет, его звонкий голос ведет мелодию, а на лице, обращенном к хору, умоляюще нежное выражение: только бы не повредить песне, не сфальшивить... Но вот кто-то

«пустил петуха», и Саша, вместо того чтобы рассердиться, махнул рукой, засмеялся.

В его манере петь сказывались некоторые существенные черты его художественного дарования — и прежде всего артистически выраженная народность. Прелестные черты его русской природы неподражаемо и свободно выражались в том, как он пел. Он любил русские народные песни, протяжные казачьи и разбойничьи, и они особенно хороши были именно в его исполнении. Многие из этих песен я знал уже раньше, но когда он пел: «Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь...» — и выводил полный горькой усмешки припев: «Веселый разговор», или начинал: «Во лужку да во лужку, во красивом доле, в незнакомой стороне конь гулял на воле...» — казалось, что впервые слышишь эту песню и впервые постигаешь сказочную поэзию какого-то далекого дола, где на воле пасется тот волшебный конь...

С детства знал я песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя...» Я слышал ее в первые дни гражданской войны, в первых красногвардейских отрядах, и когда Саша увековечил ее в одной из лучших глав «Последнего из удэге», я встретился с ней как со старой знакомой.

От него впервые узнал я самую первооснову известной дальневосточной песни:

Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
А мы сами, каторжане,
Того добивалися...

Таковы были слова этой песни в ее первоизданном виде, и мотив у нее был другой, залихватский и разудалый, я и сейчас иногда напеваю его и вспоминаю друга...

В то время дальневосточный репертуар Сашиных песен пополнился уже ростовскими, донскими, кубанскими песнями, и среди них было несколько «блатных», романтически мрачных по колориту.

Как-то, уже по приезду в Москву, Саша рассказал

мне, откуда он узнал эти песни. Он работал тогда секретарем райкома или окружкома, кажется, в Краснодаре, и по своему обыкновению много гулял по окрестностям. Раз во время одной из таких прогулок на пустыре за городом на него напали какие-то бандитского вида парни. У них были ножи. Саша, отбиваясь, не чаял, что спасется, и ждал уже, что в грудь его, как в одной блатной балладе, «вонзится четырнадцать ножей». Вдруг откуда-то появился еще какой-то парень. Он вступился за Сашу, и они вдвоем обратили в бегство нападающих. Так завязалась дружба. Они предпринимали далекие прогулки, — обоим было что рассказать друг другу. Новый приятель знал, что Саша партийный секретарь, а Саша лишь догадывался по некоторым рассказам да по блатным песням, которым его выучил новый приятель, что тот в натянутых отношениях с милицией, но ничего особенно преступного за ним не предполагал, — очень уж тот был симпатичен в обращении. Да и то, что он заступился за Сашу и отстоял его при нападении бандитов, как будто бы свидетельствовало о благородстве его побуждений.

Потом таинственный приятель Саши исчез куда-то. Прошло еще некоторое время, и Сашу известили, что органы ОГПУ изловили одного известного бандита, что он находится в тюрьме и просит, чтобы секретарь окружкома партии навестил его. Это и оказался Сашин приятель. Дела за ним числились настолько серьезные, что об отмене смертного приговора не могло быть и речи, — бандит и сам понимал это. Ему лишь хотелось перед смертью свидеться с Сашей, к которому он привязался.

Помню, с каким глубоким душевным волнением рассказывал Саша об этом странном эпизоде, об этой причудливой дружбе, связавшей на некоторое время двух таких непохожих и далеких по своему общественному положению людей. И на песнях, которыми научил Сашу его странный знакомый, на таких блатных «балладах», вроде «Аршак был парень бравый» или «Сижу я целый день, скучаю, в окно тюремное гляжу...», лежал тот же отпечаток мрач-

ной романтики, что и на истории этой необычайной дружбы.

На вечеринках Саша весело ухаживал за девушками, любил и умел танцевать, и тогда особенно выделялась стройность его фигуры, присущая ему артистичность движений.

Когда я сказал ему, что он хорошо танцует, он весело расхохотался и рассказал, что, будучи комиссаром партизанской дивизии, получил от Политуправления армии выговор за поощрение танцулек, — в то время ему было, очевидно, лет восемнадцать.

Так стала между нами завязываться взаимная приязнь. Мы оба были многим недовольны в молодой пролетарской литературе, к которой себя причисляли. Нам казалось, что учеба, творчество и самокритика — это главное для нас, молодых писателей. Но Сашино недовольство уровнем наших требований, методами и лозунгами тогдашнего ВАПП, при их визгливой левизне глубоко неверными, было резче, глубже, сильнее.

Одинаковое безоговорочное принятие резолюции ЦК партии по вопросам литературы от 25 июня 1925 года особенно сблизило нас.

Резолюция эта, положившая конец затянувшейся литературной дискуссии, была в идейном отношении гораздо глубже и серьезней, чем высказывания участников дискуссии.

Это постановление, подготовлявшееся в течение нескольких месяцев, исходило из глубокого теоретического освещения всей проблемы развития советской литературы. Оно давало объективно верную оценку положения в литературе и указывало дальнейшую перспективу ее развития. Это постановление было первым программным документом партии и платформой для объединения всех советских сил в литературе.

Оно содержало признание того, что пролетарская литература существует и развивается. Этим оно исправляло главную ошибку А. К. Воронского, отрицавшего пролетарскую литературу. Но это постановление содержало также и критику всякого рода ле-

вацких и сектантских извращений, свойственных журналу «На посту».

В этом замечательном постановлении никто не был прямо назван — ни Воронский, ни напостовцы, но смысл его был ясен: всем коммунистам, работавшим в литературе, надлежало сделать из него выводы. Между тем некоторая часть «напостовского», как тогда говорили, руководства пролетарским писательским движением была склонна считать, что в постановлении указаны только ошибки Воронского, и, таким образом, не склонна была принимать по своему адресу те серьезнейшие указания, которые получили мы, пролетарские писатели. Ни я, ни А. А. Фадеев, в то время проживавший в Ростове, непосредственно в подготовке этой резолюции не участвовали. Но по опубликовании ее мы приняли ее целиком, без всяких оговорок. Эта резолюция сплотила все партийные элементы в литературе, такой сплоченности требовала от нас и обстановка в стране. Это было время, когда против ЦК партии выступила так называемая «зиновьевская» ленинградская оппозиция. Некоторые партийные литераторы, стоявшие у руководства нашей организации (ВАПП), активно поддерживали выступление этой новой разновидности троцкизма. И то, что Саша и я, так же как и подавляющее большинство партийцев-литераторов, входивших в РАПП, оказались на партийных позициях, еще более сплотило нашу дружбу, которая скреплялась и преданностью партии, и одинаковыми воззрениями на культурную революцию, на сегодняшние задачи нашей работы в искусстве.

В наших взглядах на искусство было много общего, но вкусы Саши были строже. Его отвращение ко всякого рода штампам и художественной фальши, к визгу, порой подменявшему подлинный революционный пафос, а также ко всякого рода упадочничеству и декадентству было глубже. Саша никогда не подвергался влиянию пролеткультовщины, которое приходилось преодолевать многим молодым писателям.

Очень критически относился Саша к двум своим

первым произведениям и не любил, когда товарищи из самых лучших побуждений их захваливали. Уже в то время он задумал «Разгром», а в 1925—1926 годах стал присылать из Ростова в Москву отдельные главы будущей повести.

Нет нужды давать здесь литературную характеристику «Разгрома». Эта повесть стала одной из любимых книг советского народа, ее знают во всем мире. Но мне хотелось бы сказать о том, чем она была для самого Фадеева, а также о значении ее для дальнейшего развития советской литературы.

Написав «Разгром», Фадеев установил для всей нашей молодой советской литературы новый, более высокий уровень — такой уровень, по которому молодым писателям отныне надлежало равняться.

Реализм как основная особенность пролетарской литературы уже заявлял о себе в ряде хороших произведений. Но ни у кого из нас, писавших до Фадеева, этот реализм не проявил настолько своего нового качества, определенного революционным содержанием нашей жизни. Это был новый, особенный реализм, порожденный нашей эпохой. Ни у кого из нас, сверстников Фадеева и его старших товарищей, он не выразился так ярко в лепке характеров, в обдуманной расстановке этих характеров, в глубине психологического проникновения и, наконец, в стройном и драматическом развитии сюжета.

Впрочем, все это я понял много позже. Тогда я был просто потрясен и захвачен «Разгромом», книгой, которая для меня имела огромное значение. То, что в моей повести «Комиссары» в реалистическом изображении людей нашего, советского времени только еще намечалось, было в полной мере и блестяще осуществлено Фадеевым в «Разгrome».

Однако читателям нового поколения не следует думать, что «Разгром» был сразу и безоговорочно всеми признан шедевром. В своих воспоминаниях о Маяковском, напечатанных в этом сборнике, я уже писал о статье в «Новом ЛЕФе», посвященной «Разгromу» Фадеева.

Работая над «Разгромом», Фадеев одновременно вел партийную работу, редактировал газету. В этих условиях многие наши товарищи, бравшиеся за перо, извиняли свою небрежность занятостью. Молодой партийный работник Александр Фадеев, взявшись за перо, никогда не оправдывал себя этим. Он довел свое произведение до блеска, он оставил далеко позади ранее написанные им книги, и, пожалуй, никто из молодых писателей того времени не заработал большего права называться мастером советской литературы, чем профессиональный партийный работник Александр Фадеев.

Продолжая жить и работать в Ростове, Саша все чаще бывал в Москве.

Его женитьба на Валерии Анатольевне Герасимовой, с которой я дружил с самого раннего детства, способствовала дальнейшему моему сближению с ним.

Но, разумеется, прежде всего в основе нашей все крепнущей дружбы лежала общность политических воззрений и настроений, сродство взглядов на жизнь, на искусство, то чудесное состояние, когда для того, чтобы говорить с другом, нет нужды начинать разговор «с самого начала», с того, что бытие определяет сознание, что освобождение рабочих есть дело рук самих рабочих, что Октябрьская революция — это начало новой эры человечества, что у нас в Советской стране под руководством ЦК ВКП(б) осуществляется социализм и что объективное значение выступлений троцкистов и правых сводится к тому, чтобы затормозить его осуществление.

Конечно, мы и об этом говорили много, так как наш день начинался с чтения и обсуждения газет, то есть последних политических новостей, в них напечатанных. Но больше всего говорили мы о том, к чему бесспорные политические истины, которых мы придерживались как единомышленники, обязывают нас, писателей-коммунистов. И тут подчас бывали споры очень плодотворные, и в этих спорах Саша по большей части оказывался прав.

Со времени смерти Ленина проходили месяцы,

годы, но ощущение великой утраты не проходило, и сознание ответственности, которая легла с тех пор на каждого из коммунистов, у нас оставалось. Оно выражалось в постоянном стремлении беречь великое наследство Ленина — созданную им боевую партию большевиков, в преданности Центральному Комитету, в котором для нас воплощался гений Ленина. Изучать то самое нетленное, что осталось от Ленина, — его учение — было постоянным нашим побуждением.

Мы в то время много читали и перечитывали Ленина, систематически — от более ранних к более поздним его произведениям. Мы искали в них ответа на волнующие нас вопросы. Мы выучивали наизусть отдельные места, проливавшие свет на проблемы искусства, например знаменитое место из «Что делать?», где Ленин цитирует слова Писарева о том, что такое мечта, или определение диалектики, данное Лениным в связи с дискуссией о профсоюзах. А такие статьи, как «На смерть графа Гейдена», где разоблачена и высмеяна психология либерального лакейства! Да, мы эти статьи читали и перечитывали, они становились для нас основой морали. Они были для нас образцом стиля новой, революционной литературы.

У Ленина мы нашли также статьи, подтверждавшие наше тяготение к Толстому и в то же время учившие нас критически относиться к толстовству. Для А. Фадеева государство, наше советское государство, было единственным орудием, с помощью которого возможно осуществление коммунизма. Учение о диктатуре пролетариата было краеугольным камнем нашего мировоззрения, им отделяли мы себя от меньшевиков и анархистов.

Мы твердо усвоили, что анархия может быть источником гибели нашего молодого государства, что дисциплинированность — это первая обязанность коммуниста. Демократический централизм был для нас не только пунктом устава, это было одним из важнейших положений нашей морали. «Мы — разведчики партии в неизведанной еще области искусства, — говорили мы. — То, что нам удастся сделать,

принадлежит партии, если мы в чем-либо ошибаемся, партия, Центральный Комитет поправят нас».

«Жила бы Совереспублика, а мы уж проживем!» — так прекрасно выражено было наше отношение к советскому государству в одном из стихотворений молодого Александра Безыменского. Это была поговорка того времени. Я слышал, как эти слова пели на демонстрации...

Всю жизнь Фадеев подчинял свою деятельность интересам партии, прямым указаниям Центрального Комитета. Всякое двоедушие, двурушничество было для него органически непереносимо.

Перелистывая однажды А. К. Толстого, Саша прочел вслух:

Двух станов не боец, а только гость случайный,
За правду я готов поднять свой гордый меч...

И, засмеявшись, сказал:

— А ведь это, пожалуй, рассуждения двурушника!

Переезд Саши в Москву произошел как-то постепенно. В. А. Герасимова, окончив вуз, уехала на педагогическую работу в Ярославль. Саша проездом через Москву останавливался у меня. Потом они уже вместе перебрались в Москву. Встречи наши делались все чаще. Мы много говорили о прочитанном, порою вместе читали, проводили вместе досуг.

Я все ближе узнавал Сашу, и сейчас, когда в памяти моей встают отдельные мелочи, связанные с ним, я вижу в них проявления его характера, порою очень многозначительные.

Однажды мы втроем — он, я и Валя Герасимова — должны были навестить близкого нам трем человека, находившегося в санатории во Всехсвятском. В трамвае между моими спутниками возникла ссора, продолжавшаяся уже и тогда, когда мы слезли с трамвая и через мост, проложенный над железнодорожными путями, пошли в сторону санатория. Саша в отношении язвительности никак не мог соревновать-

ся с Валерией Анатольевной и потому сердился все сильнее. В руках он нес плетеночку с пирожными, предназначенными для больного. И вдруг, вспыхнув, Саша с такой силой шмякнул плетенку о землю, что когда я поднял ее, она превратилась в бесформенный комок, где пирожные оказались перемешанными со щепками и песком.

А Сашу уже унесло точно ветром.

Он был очень вспыльчив, и при его большой физической силе это, казалось бы, должно было повлечь за собой драки и скандалы; по силам, отпущенным ему природой, он мог бы легко изувечить противника. Но я не помню ни одного случая, чтобы даже в состоянии крайнего аффекта он употребил свою силу во зло.

Иногда у кого-либо из старых Сашиних друзей по Дальнему Востоку или по Северному Кавказу — их много в то время училось в московских вузах — происходило какое-нибудь торжественное событие. Обычно это была свадьба или рождение ребенка. И нас, своих новых друзей, Саша вез в какое-нибудь вузовское общежитие. По возрасту это были наши сверстники, и комнаты, в которых они жили, по своему убранству были немногим скромнее, чем те комнаты, в которых тогда жили мы, хотя нам казалось, что живем мы вполне «респектабельно».

Достаточно сказать, что американский писатель Дос Пассос, приезжавший в Советский Союз и гостивший у А. Фадеева, прощаясь с хозяевами, сказал, поминутно заглядывая в свой словарик, с которым он никогда не расставался:

— Очень вас благодарю, но мне удивительно, что живете вы так аскетически...

— А мы-то старались изо всех сил, готовили каждый день три блюда на обед! Правда, особенного разнообразия не было... — смеясь, рассказывали Саша и Валя.

На свадьбах и на октябринах у Сашиних друзей было непринужденно весело. Только на октябринах сверх танцев и пения хором показывали сморщенного, красного младенца (где-то они теперь, граждане рож-

дения 1926—1927 годов?) и торжественно нарекали каким-нибудь модным именем, облюбованным при участии ближайших друзей. Обычно это были Марат, Электрон или Владлена...

— Ну, как твой Электрон? — спросил я однажды у одного из Сашиных друзей, позднее уехавшего на партийную работу в деревню.

— Какой там Электрон! — махнул он рукой. — Зовем теперь Колька... Деревня категорически не приняла этих наших новшеств. А когда в школу пошел, прямо задрезали.

Я сейчас потерял из виду этого товарища, а он был прообразом Петра Суркова в романе «Последний из удэге», — большоголовый и сероглазый, в каждом слове его чувствовались сила и мягкость.

Особенно запомнились мне наши прогулки. Еще в 1921—1922 годах, только приехав в Москву, я много ходил пешком по дорожному нашему городу, к которому испытывал какое-то по-сыновнему нежное чувство. Саша тоже любил Москву. Особенно много гуляли мы по Замоскворечью. Здесь, на заводе Людвига Смита (позже «Красный блок»), Саша в свое время работал секретарем партийного комитета. Здесь, на заводе имени Владимира Ильича, работал и я.

Мы были движимы одинаковыми чувствами, когда после окончания гражданской войны шли на завод. В рабочем классе видели мы то, что может видеть в нем коммунист: спасительную силу, призванную одолеть капитализм и открыть человечеству дорогу к коммунизму.

Этим обусловлен был наш интерес к истории рабочего класса, конкретно — к истории заводов, предприятий и фабрик, где, по нашему разумению, в то время складывались новые, социалистические отношения между людьми.

Во время таких прогулок вдруг становилось понятно, почему некоторые улицы Москвы называются то Огородники, то Садовники, — заводы были еще вкраплены в кварталы деревянных, окруженных большими садами и огородами домиков. Самые заводские здания состояли из многих напластований,

как, например упомянутый мною завод имени Владимира Ильича, бывший Гоппера.

И тут же, рядом с заводами, перед которыми мы благоговели, как перед средоточием классовой энергии пролетариата, еще высились монастыри. Нетрудно было представить себе, как выглядела Москва в то время, когда эти монастыри представляли собой крепости, защищавшие столицу Московского государства.

Москва-река еще текла среди зеленых берегов, на Кадашевской набережной еще мокли в воде кадки, которые изготовляли тамошние кадаши. Петухи кричали по всей Москве, зеленая короткая травка пробивалась сквозь плиты тротуаров, сложенных из белого московского камня.

А Красная Пресня?.. Тут каждый переулочек рассказывал о революционной борьбе, и один рассказ не подходил на другой.

Я все лучше узнавал Сашу Фадеева и все крепче привязывался к нему. То самое первое впечатление сдержанности, собранности, скромности и силы, которое привлекло меня при первом знакомстве с ним, не только не исчезало, а становилось все глубже и богаче.

Как он поразил меня своей манерой чтения лермонтовского «Пленного рыцаря»! Сейчас, словно въявь, слышу, как он произносит:

...В каменный панцырь я ныне закован,
Каменный шлем мою голову давит,
Щит мой от стрел и меча заколдован,
Конь мой бежит, и никто им не правит.

Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой броней мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.

Мне не приходило в голову, что много лет спустя я с сердечной болью вновь вспомню эти строфы.

Он читал эти стихи так, что в них как бы звучало обращение к нам, его близким, о том, что при всей своей силе и мужественности он хрупок и нежен, что

похож он на тех сказочных людей из осетинского Нартского эпоса, которые от упреков болеют, а от оскорблений умирают.

Я видел в Саше более резко и более ярко осуществленным то, чем хотел быть сам. Его мне точно не хватало раньше.

Из Ростова в Москву Саша приехал с замыслом нового романа. Он несколько наивно определял его как роман «о районировании». Впрочем, такая прямолинейная наивность, следует отметить, была ему свойственна всегда. Ведь и последний свой роман он со всей серьезностью называл: «Черная металлургия».

Роман «о районировании» должен был показать преобразование Северо-Кавказского края, в то время еще единого. Предполагалось этот огромный край разбить на округа и районы, соответственно национальным и хозяйственным особенностям. Было уже придумано и название нового романа, он должен был называться «Провинция».

Саша то ли читал мне первые наброски, то ли очень ярко рассказывал отдельные сцены — описание краевого съезда Советов, народное празднество, живописные национальные пляски. Фадеев воспринимал это празднество как непосредственное, глубоко народное утверждение советской жизни.

Но дальневосточные впечатления, как это всегда бывает с впечатлениями юности, видимо, еще продолжали с особенной силой владеть его душой. И так где-то рядом с «Провинцией», незаметно вытесняя ее на второй план, намечаются контуры «Последнего из удэге».

Яркие воспоминания, оставшиеся у Саши от давнего посещения удэгейских поселений, когда он, подобно Сереже Костенецкому, оказался в обстановке едва ли не первобытного коммунизма, — помогли зародиться замыслу «Последнего из удэге». А непосредственным толчком к созданию этой книги было чтение работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Помню, как Саша, чуть не скандируя, читал вслух целые страницы этого глубоко поэтического произведения. Сомкнулись позавчерашний

и завтрашний день человечества, — эта тема на всю жизнь осталась предметом вдохновения для Саши.

Уже в 1940 году, на пленуме Союза писателей в Элисте, посвященном юбилею Джангара, Александр Александрович уловил тему первобытного коммунизма в могучем произведении народного эпоса и с.юношеским волнением говорил об этом на пленуме.

Вот почему первоначальным зерном романа была встреча Сережи Костенецкого с удэгейцем, старым знакомым большевика Мартемьянова. Удэгеец этот в свое время спас Мартемьянова.

Зрительное, если можно так выразиться — живописное, выражение этого замысла дал Саше художник Гоген в его изображении жизни маорийцев. Я ли передал ему свое восхищение Гогеном или он сам открыл его для себя, этого я не помню, но мы сходились в своем отношении к этому замечательному художнику. Из-за него посещали мы Музей западной живописи, еще когда он назывался Шукинской галереей и помещался в Большом Знаменском переулке. Потом эта галерея была объединена с коллекцией Морозова и переведена на Пречистенку, ныне улицу Кропоткина, и мы стали ходить туда.

Влияние Гогена было настолько сильно, что первоначальные варианты тех глав «Последнего из удэге», которые касаются жизни удэгейцев, и особенно пейзажи в этих главах были написаны под прямым влиянием чистых и свежих красок Гогена.

Сюжет нового романа давался Фадееву нелегко. В его строении некоторую роль сыграло произведение Джозефа Конрада «На отмелях». Сейчас я начисто забыл эту книгу, но помню, что Саша при разработке сюжетной структуры «Последнего из удэге» не раз говорил о ней.

Сюжет был обдуман, разработан, и Фадеев начал писать свою новую книгу. Он поселился в Сокольниках, в комнате, которую получил при переезде в Москву.

Получив эту комнату, Саша тут же вызвал с Дальнего Востока свою мать, Антонину Владимировну, потом сестру, Татьяну Александровну, с маленькой доч-

кой. Саша и до этого много рассказывал о семье своей и особенно о матери. Он нежно любил ее, гордился ею. И правда, Антонина Владимировна Фадеева была человек замечательный, она принадлежала к той революционной части демократической интеллигенции, которая, выйдя из народа, сохраняла с ним постоянную связь. В дореволюционном обществе ей приходилось отстаивать свою независимость и достоинство от произвола и самодурства царского начальства на селе, сталкиваться с кулаками и их подголосками.

Так выработывался этот характер, гордый, стойкий и честный. При этом по отношению к людям, которых Антонина Владимировна признавала своими, она была добра, ласкова, — атмосфера дружественности, гостеприимства и хлебосольства господствовала в этой семье. Все это Антонина Владимировна передала своим детям, — у них была своя фамильная гордость, не раз в разговорах Саши с братьями, я слышал, как они полушутливо говорили: «Это по-фадеевски...»

Так как Саша поселился в Сокольниках, то и я в лето 1926 года снял дачу там же.

Теперешние Сокольники дают весьма слабое представление о том, что такое были Сокольники в двадцатых годах. Только на некоторых лучевых просеках довольно густого и свежего лесопарка были построены дачи. Сразу же за заводом «Красный богатырь» и селом Богородским начинался Погоно-Лосиный остров — настоящий бор, считавшийся заповедником со времен царя Алексея Михайловича. Хотя заповедник этот и был распланирован и хозяйство велось там образцово, он для нас обоих, достаточно избалованных лесными красотами (Саша вырос на Дальнем Востоке, а я — на Урале), был настоящим лесом. Там, между огромных сосен, вдруг обнаруживались чудесные, заросшие то ромашкой, то ландышами, поляны, которые к вечеру покрывались обильной росой. Зайти в этот лес — значило совсем забыть о большом городе, о его дыме, смраде и суете, и только отдаленный грохот невидимого поезда или резкий гудок «Красного богатыря» напоминали о Москве.

Несколько лет тому назад, встретившись, мы вспоминали о наших прогулках, и выяснилось, что оба порознь совсем недавно съездили туда и на месте леса увидели новый район Москвы — там ходят трамваи и автобусы, среди бараков уже поднимаются многоэтажные здания...

То первое лето, когда мы поселились в Сокольниках, было для Саши временем особенно напряженной работы. Иногда он писал у нас на даче, которую мы снимали неподалеку. Мне с тех пор запомнилась его манера работать, буквально по целым суткам не вставая от письменного стола. Бывало, что утром, проснувшись, я обнаруживал его за письменным столом, видел его склоненную шею, его затылок, в очертаниях которого всегда было что-то очень молодое, упрямо-мальчишеское. Горела настольная лампа, видно было, что в эту ночь он так и не ложился. В любое время дня он отсыпался и снова садился за письменный стол.

Работал он над каждой фразой, над каждым абзацем, оттачивал их до предельной выразительности, до полногласного звучания.

В эту работу он вкладывал все свои силы. Просидев за столом восемь-десять часов, перекусив и поспав, он снова садился за работу, и опять на много часов. Так продолжалось по две-три недели. К концу такой работы он доходил почти что до изнурения, до общей слабости.

— Державы в теле не хватает... — говорил он жалобно.

В процессе этой работы он настолько овладевал текстом, что целые страницы мог читать наизусть.

Читал он вслух вообще превосходно. Я помню, на вечере, где мы вместе выступали, он нетерпеливо слушал, как я, по обыкновению плохо, читал какой-то отрывок из своего произведения. Наконец, не выдержав, взял у меня книжку и сам прочел вслух этот отрывок.

Часто вследствие нового поворота темы или сюжета, — а сюжет «Последнего из удэге» «поворачивался» много раз, — целые куски, великолепно написанные, вылетали из текста. Есть целые главы, так и не попав-

шие в последний вариант романа. На такого рода сокращения он шел с каким-то своеобразным удовольствием.

Сколько я помню Сашу, периоды длительной, напряженной работы перемежались у него кратковременной бурной разрядкой, страстная натура его требовала какого-то отвлечения — дальней прогулки, неожиданного путешествия...

Напряженную работу над «Последним из удэге» он прервал однажды поездкой по Волге.

— Знаешь, что отравляло мне все время эту поездку? — сказал он мне по возвращении. — Разница положения пассажиров первого и второго класса, с одной стороны, и пассажиров третьего класса, которые набиты, как сельди в бочке, и задыхаются в темноте и духоте. Делается стыдно, и пропадает всякая охота совершать увеселительную прогулку.

Мне очень запомнилось начало этого нашего разговора, взволнованные и огорченные интонации Шашиного голоса. Конечно, весь ход разговора мне сейчас восстановить трудно. Мы пришли к заключению, что тогда иначе и не могло быть, так как пароходы с подобного рода устройством унаследованы от капитализма. У Саши даже были данные, полученные от служащих парохода, что главную прибыль владельцам пароходов давали как раз не привилегированные классы, а третий класс и палубные пассажиры.

— Мы будем по-другому строить наши пароходы, — говорил Саша. — В них всем будет хорошо, удобно, светло, чисто.

Саша даже собирался писать письмо не то в Наркомвод, не то в ЦК, где предполагал изложить свои соображения по этому делу.

Разговор этот не случайно сохранился в моей памяти. В нем сказались то глубокое отвращение и ненависть к социальному неравенству, которые были свойственны Саше и определяли его коммунистические воззрения. Разговоры о том, как та или иная жизненная проблема будет разрешена при коммунизме или при социализме, мы вели постоянно.

Большое значение в нашем сближении имело срод-

ство художественных вкусов. Для нас обоих Лев Толстой был величайшим образцом, источником радости, учителем в избранном нами деле. Читать и перечитывать Толстого, рассматривать художественную ткань его романа, художественные приемы Толстого до скрупулезно-детального изучения их было постоянным и любимым нашим времяпрепровождением. Мы читали все вышедшие тогда книги, которые освещали биографию Толстого и давали анализ его творчества. Большое впечатление произвела на А. А. Фадеева та статья А. К. Воронского, где он, анализируя страницы романа «Анна Каренина», посвященные работе художника Михайлова над фигурой Христа, превосходно раскрывает художественный метод Толстого. Усвоение этого метода представлялось нам необходимым для каждого художника-реалиста, в какой области он бы ни работал.

Эти страницы «Анны Карениной», посвященные, как выражается Толстой, «снятию покровов», полны глубочайшего художественного и научного смысла.

Тяготение Фадеева к Льву Толстому отнюдь не сводилось к изучению только формальных приемов его творчества. Видно было, что Лев Толстой отвечал самым глубоким запросам Сашиной души. Ведь не случайно сам Лев Николаевич еще в молодости, в период «Севастопольских рассказов», писал, что главным героем его произведений является — правда. Вот эта-то всепокоряющая сила правды и привлекала Фадеева в творчестве Толстого.

И по этой же причине очень взволновала Сашу «Деревня» Бунина. Он выделял это произведение из числа других сочинений писателя. И сейчас, перечитав «Деревню» в новом, советском издании, я вижу, что тогдашнее наше отношение к «Деревне», хотя на ней и сказалась сословная ограниченность Бунина, было правильным. Жестокая правда — вот что привлекало Фадеева в этом произведении большого русского писателя-реалиста. В начале своей работы над «Последним из удэге» Фадеев особенно сильно испытывал влияние Бунина при изображении одного из героев романа — крестьянина по кличке Боярин. Впоследствии Саша,

преодолев это влияние, не включил в окончательный текст романа «Последний из удэге» главу, посвященную Боярину.

Постоянный интерес к вопросам реализма в искусстве определял отбор нашего чтения. В этот период мы много читали, вернее будет сказать, изучали книги Белинского, общее знакомство с которым мы вынесли из средней школы. Особенно большое впечатление произвела на нас работа Белинского о разделении поэзии на роды и виды, в которой намечается научная основа разделения литературы на жанры. Как-то, встретившись уже после войны, мы снова вспоминали об этой замечательной работе Белинского.

В те годы вышло первое издание книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Саша первый принес ее и стал читать вслух. Конечно, все, что Станиславский говорил о работе актера, можно было применить к любой области искусства, в том числе и к литературе, особенно те его мысли, которые относятся к разработке характеров, мотивировок действий героев, внешних проявлений внутреннего мира человека.

Все это были проблемы реализма в искусстве. Но при разработке этих проблем мы не ограничивались русскими источниками. Бальзак, Флобер, Мопассан, братья Гонкур, Золя — все это прочитывалось и тут же обсуждалось. Помню, какое глубокое впечатление произвел на Сашу перевод превосходной английской книги Честертона о Диккенсе, выпущенной в конце двадцатых годов в Советском Союзе. В «Субъективных заметках», опубликованных в книге А. А. Фадеева «За тридцать лет», вышедшей после его смерти, нашли выражение мысли Фадеева об этом труде.

Эти годы имели громадное значение для нас обоих. И незадолго до смерти Александр Александрович с какой-то особенной теплотой и грустью вспоминал эти два или три лета, проведенные в Сокольниках.

Но духовная жизнь наша не ограничивалась только сферой литературы. Театр и живопись все время сопровождали нас. Помню, как поразил нас своей игрой талантливый актер Смышляев в пьесе Афино-

генова «Чудак», — и тут же за двумя нашими подписями появилась маленькая статья об игре этого актера.

Такие шедевры русской живописи, как «Боярыня Морозова» Сурикова и «Явление Христа народу» Иванова, бесконечно много давали нам для понимания законов композиции, точнее сказать, для понимания того, как тема обуславливает композицию, расстановку фигур на полотне художника.

Одно время в Третьяковской галерее были выставлены эскизы к «Боярыне Морозовой». Видно было, как неутомимый художник по многу раз поворачивал центральную фигуру, как он брал ее в самых разнообразных ракурсах. И уже после смерти Саши, вновь рассматривая варианты отдельных глав «Последнего из удэге», по десять и более вариантов каждой главы, я вспоминал о той замечательной школе, которую А. Фадеев с рвением и страстью проходил у великих русских живописцев.

Со времени переезда в Москву и до начала Великой Отечественной войны Саша работал над «Последним из удэге».

На первом плане романа было сначала путешествие Сережи Костенецкого с Мартемьяновым и их встреча с удэгейцами. Потом — партизанская среда в ее связях со семьей Костенецких. Начались отступления в прошлое героев, к детству Лены и Сережи Костенецких, к реалистическому и саркастическому изображению буржуазной среды, в частности семьи Гиммеров. Роман давал все новые ответвления, развитие сюжета под влиянием разработки этих ответвлений, приостанавливалось, сюжет на ходу ломался.

Когда мы, друзья Саши, начали уже испытывать беспокойство за судьбу романа и нам казалось, что автор запутался в сюжетных линиях, вдруг каким-то толчком были созданы самые замечательные части романа, на авансцену вышли Алеша Маленький и Петр Сурков, сучанские шахтеры и хунхузы, корейские коммунисты в их связи с русскими коммунистами.

Эта часть «Последнего из удэге» занимает особенное место в советской литературе — это одна из вершин ее. Пожалуй, ни в одном произведении советской литературы не показаны с такой силой лучшие люди большевистской партии, такие, как Алеша Маленький и Петр Сурков.

Кое-кто в то время пренебрежительно посмеивался над Фадеевым, который-де никак не может справиться с сюжетом «Последнего из удэге». Самонадеянные фармацевты от литературы, уверенные в том, что владеют всей рецептурой сюжетостроения, предлагали Фадееву поучиться у них. И на поверхностный взгляд получалось действительно странно. «Разгром» в отношении сюжета построен был превосходно, фигуры там расставлены мастерски, ни одна не заслоняет другую, с первой главы и до последней сюжет увлекает читателя. С поразительным умением трагические сцены перемежаются с комическими и лирическими. Эту повесть можно изучать как шедевр. Куда же делось все это умение при работе над «Последним из удэге»? Похоже было, что Фадеев стал с азов учиться искусству сюжетостроения.

Но ему действительно пришлось учиться сначала, так как он вышел за узкие рамки изображения судьбы одного партизанского отряда, рамки, в которые он заключил себя при написании «Разгрома».

В «Последнем из удэге» он сломал рамки «Разгрома», ставшие для него слишком узкими. В новом романе он охватил все стороны жизни Дальнего Востока революционных лет, все его социальные классы и группы.

Русское общество на Дальнем Востоке показано им в этом романе как типическое для всей нашей эпохи, эпохи войн и революций. Китайцы, корейцы, удэгейцы, действующие в романе, как бы напоминают о том, что через коллизии, показанные в романе, суждено пройти всему человечеству.

С поразительным мастерством написана сцена во Владивостоке, где белогвардейцы и японцы только что утвердили свое господство и где рабочие хоронят героев, погибших в борьбе за советскую власть. А выборы

во Владивостокскую городскую думу, когда в условиях белогвардейского террора и буржуазного господства весь трудящийся Владивосток, десятки тысяч людей единодушно голосуют за списки профессиональных союзов, в которых кандидатами выставлены заключенные в тюрьму большевистские вожаки!

Находились остроумцы, которые говорили: пока Фадеев соберется изобразить все «пять укладов России» (так в одном из предисловий к «Последнему из удэге» определял свою задачу Фадеев), четыре уклада будут ликвидированы и останется только один — социализм.

Звучало это, конечно, хлестко. Но когда я недавно вновь перечитывал нарисованную Фадеевым поистине величайшую по яркости картину революционной борьбы на Дальнем Востоке, она поразила меня своей современностью и даже злободневностью.

Так ломались рамки старого сюжета, так перестраивались они в соответствии с новым, гораздо более широким тематическим объемом и большей глубиной содержания. И при этом опять-таки многие превосходные главы отбрасывались, что свидетельствовало о неумном трудолюбии и художественной взыскательности писателя.

Ведя глубокую творческую работу над «Последним из удэге», Фадеев все время стремился осмыслить и свой художественный опыт и опыт всех своих товарищей. Он ни на минуту не забывал, что является руководителем писательской организации, объединяющей растущие кадры молодых литераторов. И стоило ему заметить, что кто-либо из нас испытывает затруднения в работе, он с величайшей охотой приходил на помощь.

Вот что он писал мне в 1930 году:

«...Ты помнишь, что, критикуя в свое время «Поворот»¹, я говорил тебе, что на мой взгляд там есть излишек детальной, иногда мельчайшей психологизации (например, в обрисовке Ольги и в других местах), который — плюс излишек рассуждений и объяснений в «Повороте» — делает вещь статичной, это во-первых,

¹ Речь идет о моем романе. — Ю. Л.

а во-вторых, превращается в нечто самодовлеющее, интересное само по себе, но не необходимое для обрисовки характеров в свете основной идеи. В «Рождении героя», вещи мне, в отличие от «Поворота», очень нравящейся и, с моей точки зрения, лучшей из тобой написанного, этих недостатков гораздо меньше. Но они тоже есть, причем в том варианте, который ты читал самым первым, их было меньше, чем в том, который ты сдал в «Октябрь».

...Надо сказать, что некоторые такие вещи я заметил у себя в «Последнем из удэге», — в свое время некоторые из них ты мне сам указывал, — и я беспощадно их теперь вымарал. Вымарывал я у себя не только такие, которые художественно фальшивы, но и такие, которые правдивы, но не обязательны — вообще всякий «психологизм» *самодовлеющего* (подчеркнуто А. А. Фадеевым. — Ю. Л.) характера. Такой психологизм чужд нашему методу... нам нужно отгораживаться от их перегибов в другую сторону... Если в первый период, когда мы боролись (внутри пролетарской литературы) главным образом со схемой и со штампом, мы с радостью отмечали в таких, например, произведениях, как «Преступление Мартына»¹ и «Наталья Тарпова»², все то, что шло *против* схемы и штампа, — то на данном этапе полезно и в какой-то степени *отгораживаться* от них, не соглашаться, когда их метод *отождествляется* с нашим, ибо у них действительно есть элементы самодовлеющего психологизма. В интересах чистоты того метода, который мы выковываем, — надо драться на *два фронта*, ибо в нашей организации много такого народу, который, начиная писать, органически (что очень хорошо) обнаруживает склонность в сторону психологических излишеств или в сторону «душеустроющих» психологических характеристик, а их всех отождествляют с нами...

...«Разгром» в этом отношении был «идеален» — там

¹ «Преступление Мартына» — роман В. М. Бахметьева, видного советского писателя, старого большевика.

² «Наталья Тарпова» — роман Сергея Семенова, известного советского писателя, погибшего в борьбе с фашистами в 1943 году, под Ленинградом.

почти все соподчинено основным социально-индивидуальным характеристикам — основной идее. В «Удэге» при общем углублении я увидел много психологических излишеств. Ты не можешь себе представить, сколь стало его веселее читать, когда я их сейчас изъял. Меня поразило, как в этом смысле блестяще — очень экономно, строго написаны Валины «Сестры» и «Индивидуальное воспитание» Маркушки¹».

С чувством глубочайшей признательности к ушедшему другу перечитывал я это письмо. Для моего дальнейшего развития оно сыграло огромную роль, оно помогло мне избавиться от того излишества детальной психологизации, которая сильно мешала мне в моей творческой работе. Только преодолев этот недостаток, я смог осуществить и довести до конца эпический замысел своей трилогии. Если бы я не стремился со всей сознательностью избавляться от этого недостатка, я бы не смог пойти дальше первых страниц этого труда.

Это письмо примечательно также и тем, что оно показывает, чем был Фадеев внутри РАПП — и не только по отношению ко мне, но и по отношению к тем из наших товарищей, которые интересовались не заседательской суетней и трескотней, а творческой работой. Я без труда мог бы назвать ряд ныне здравствующих и успешно работающих в литературе писателей, по отношению к которым А. А. Фадеев был постоянным другом и советчиком.

И все же, перечитывая настоящее письмо, я никак не могу согласиться с той оценкой «Преступления Мартына» Бахметьева и «Натальи Тарповой» Сергея Семёнова, которую дает этим значительным произведениям нашей литературы Александр Александрович.

Недавно я вновь прочел роман «Преступление Мартына» В. М. Бахметьева и убедился, что это превосходно написанное произведение и по сей час не утратило своей остроты — прежде всего потому, что в нем к коммунисту предъявляются требования нравственности, высокой морали, без всякого излишнего морализиро-

¹ Речь идет о рассказах В. Герасимовой и М. Колосова.

вания. Да и «Наталья Тарпова» С. Семенова не потеряла своего значения для нашей литературы хотя бы потому, что мало кому из советских писателей удалось с такой глубиной дать образ партийного руководителя, вышедшего из рабочей среды, как это удалось Сергею Семенову. О психологической драме Натальи Тарповой, конечно, можно спорить, но то душевное раздвоение, которое переживает Наталья Тарпова, не выдуманно Семеновым, а взято из жизни.

А. А. Фадеев в то время рассматривал два эти произведения с точки зрения «нашего» метода, то есть в конечном счете с точки зрения рапповского литературного направления. Для наших литературных воззрений того периода нередко была характерна не только подобного рода односторонность, но также и связанное с этой односторонностью взглядов искреннее убеждение, что именно мы принесли в советскую литературу то самое важное, что необходимо для ее развития.

Но для А. А. Фадеева борьба за свое художественное направление никогда не закрывала борьбы классово-вой, которая в то время шла на идеологическом фронте. Александр Фадеев никогда либералом не был. На идеологическом фронте он защищал партийные позиции, и когда в 1928 году из-под пера Пильняка и Замятина вышли пасквильные произведения, в прямой форме направленные против социализма, Фадеев не только резко осудил эти произведения, но также подверг основательной критике тех советских писателей, которые пытались взять под защиту этих идеологических противников.

Произошло это на общем собрании писателей в Ленинграде. Некоторые из выступавших склонны были в этих двух писателях видеть смелых людей, которые «пошли против течения», «представителей героического меньшинства» и т. д. Сначала полемика шла главным образом вокруг оценки идейного содержания этих произведений. Н. С. Тихонов первый напомнил о международной обстановке, об антисоветских провокациях на Дальнем Востоке. «Не забывайте, там стреляют!» — очень кстати сказал он.

Дискуссия все обострялась, страсти разгорались, и самое начало выступления Фадеева шло как бы вразрез этой накалившейся атмосфере собрания. Он начал очень спокойно, но с большим внутренним волнением. Он напомнил, что большая часть нашей планеты еще находится под пятой капитализма и что наша страна является островом, на котором создается социализм, то есть совершается дело всемирно-исторического значения. Все те, кто хочет увековечить капитализм, смотрят на нас с ненавистью, — следовательно, никакого морального ореола у писателей, выступающих в этих условиях против социализма, нет и быть не может. Выступая против социализма, они являются защитниками капиталистического свинства, господствующего еще на большей части земного шара, и рассматривать их как представителей «героического меньшинства» никак нельзя.

В этой речи сказалась не только одна из драгоценных особенностей ораторского дарования Фадеева, проявившегося еще в годы его молодости, но и сопровождавшее его всю жизнь основное свойство его души — стремление добраться до правды.

В данном случае именно эта сила правды и переломила тогда настроение аудитории, и я помню, как многие из молодых писателей — некоторые из них и ныне здравствуют и трудятся на благо советского народа — в продолжение нескольких дней приходили в номер гостиницы, где жил Фадеев, чтобы поговорить с ним откровенно. Так завязывались дружеские отношения на всю жизнь.

С самого начала своей работы в литературе А. А. Фадеев оказался в центре тогдашних сложных литературных отношений. Никто из руководителей РАПП не пользовался такой симпатией среди писателей, как он. Основной причиной, конечно, был его авторитет художника. Та высокая писательская культура, которая сказывалась в «Разгроме» и в опубликованных позднее главах «Последнего из удэге», внушала к нему уважение. Но, кроме того, Саша в своих вза-

имоотношениях с товарищами по профессии был неизменно дружелюбен. В нем не было ни тени комчванства, того отвратительного порока, против которого предостерегал Ленин. Он был полон живого интереса к своим собратьям по литературному делу, к какому бы направлению они ни принадлежали и как бы они сами к нему ни относились.

Например, Артем Веселый начисто отрицал и творческий метод и манеру письма Фадеева, отдавая, впрочем, должное его талантливости. Саша же всегда относился к Артему Веселому дружелюбно и подчеркивал художественную ценность его произведений.

У Саши завязалась дружба со многими писателями из группы «Перевал», — ведь это были наши сверстники, и как ни велики были наши творческие и даже порой идейно-политические расхождения, он с живым интересом приглядывался ко всему, что делают «перевальцы», встречаясь и споря с ними, сохранял дружеские отношения.

Приязнь у Саши переходила в дружбу, которая сохранялась на всю жизнь. Саша сохранял дружбу со своими товарищами по партизанской борьбе, по Горному институту, с молодыми писателями из Ростова и с Северного Кавказа.

Переехав в Москву, часто бывая в Ленинграде, он непрерывно расширял и — да будет мне позволено так выразиться — упрочивал круг своих друзей. И не только среди писателей. Помню, как Саша загорелся, когда был подвергнут несправедливой и заушательской критике замечательный фильм Александра Довженко «Земля». И мы по инициативе Фадеева вместе выступили в защиту тогда еще молодого кинорежиссера, который впоследствии стал украшением и гордостью нашего советского киноискусства.

Выдающиеся деятели в различных областях нашего искусства, лучшие писатели союзных республик, передовые представители зарубежных литератур, в одних случаях — коммунистического, одного с ним мировоззрения, в других — сблизившиеся с ним в борьбе за мир, становились его друзьями.

Всю жизнь Саша с особенным, бережливым уваже-

нием и любовью относился к старшему поколению писателей. В журнале «На литературном посту» появился в то время, мягко говоря, довольно глупый рисунок. Он назывался: «Генеалогическое древо советской литературы». И на рисунке этом некоторые хорошие писатели старшего поколения развешаны были «на древе» в качестве «живых трупов» и «внутренних эмигрантов».

Фадеева эта картина привела в негодование. Как ни велики были идейные разногласия с некоторыми представителями писателей старшего поколения, Фадеев относился к ним с большим уважением и участием, прочитывал все, что появлялось из-под пера Вересаева, Сергеева-Ценского, Алексея Толстого, Тренева, Телешова.

В 1928 году я переехал в Ленинград. Но встречались мы по-прежнему часто. То я приезжал в Москву, то Саша — в Ленинград. Связь поддерживалась письмами, некоторые из них сохранились. Они дают представление о том, что в то время особенно волновало Сашу.

Вот письмо его от 2 апреля 1929 года. Привожу только конец его, так как начало посвящено личным переживаниям:

«... По тебе я очень соскучился и рад, что мы вместе проведем лето, — много у меня раздумий и по линии творчества, в частности о какой-то общественной *неприкаянности* (подчеркнуто А. Фадеевым. — Ю. Л.) нашей профессии (нет повседневной связи со всем живым, массовым, что творится вокруг, — кустарное наше дело и много зряшней мышинной беготни — а потребность в такой связи очень велика, и в то же время и боязно, что отсутствие или слабость такой связи может превратиться в привычку), и по линии отношения к разным людям, и по линии партийных дел. Встретившись, мы, наверное, изойдем разговорами. Кроме того, мне кажется, мы, поездив вместе, много сможем увидеть интересного и этим возместим то, что теряем, когда сидим за письменным столом.

До 10 июня я буду в Москве, где меня задержива-

ют дела по заводской ячейке. Если ты занят в Ленинграде до 7-го, то приезжай, если же еще задержишься, то я могу приехать в Ленинград числа 11-го. Телеграфируй, как это у тебя складывается, или напиши. Но ни в коем случае без меня никуда не уезжай.

...Володя Ставский уехал в Тверь изучать рабочую окраину. Они договорились с Исбахом, который уехал в Коломну, переписываться о ходе социалистического соревнования (Коломна и Тверь — соревнующиеся заводы) и потом издать свою переписку. Из этого могло бы получиться нечто очень интересное...

...Юра! Немедленно телеграфируй, сдал ли Чумандрин в набор свою повесть для отдельной книги или нет. Захваченный множеством больших и малых, нужных и ненужных дел, я успел отредактировать ее только до половины и боюсь, что работа зря, если он уже сдал, а работа оказалась трудной и кропотливой. Если не сдал, то я ее кончу и вышлю дня через четыре, а если уже поздно, так не буду тратить время. Обязательно срочно телеграфируй.

Крепко жму руку и целую.

Александр».

Перечитывая почти через тридцать лет это письмо, я поразился, до какой степени Саша по своей духовной сущности до конца своих дней остался таким же, каким был в молодости, — нежным в дружбе, готовым оказать творческую помощь другу-писателю, жадным до жизненных впечатлений. Не случайно здесь отчетливо выражено стремление к «повседневной связи со всем живым и массовым, что творится вокруг», то есть стремление к самой тесной связи с жизнью, которое он ощущал всегда.

На всю жизнь запомнился мне один эпизод, который раскрывает, с какой чувствительностью Саша относился к этической стороне писательской профессии.

Примерно в то же время, к которому относится цитированное выше письмо, друзья одного известного поэта в связи с исполнившимся десятилетием его литературной деятельности ставили перед читательской

аудиторией вопрос о том, что «юбилей» следует отметить награждением поэта орденом. По этому поводу на читательских конференциях выносились обращения к правительству резолюции.

Со своей стороны и мы, друзья Саши, решили тоже поставить вопрос о награждении Фадеева орденом. «Ведь при том, что Саша написал «Разгром» и этим поставил веху в развитии советской литературы, — рассуждали мы, — он был активным участником гражданской войны, дрался под Кронштадтом...»

И вот на каком-то широком собрании по литературным вопросам, происходившем в клубе бывшего Путиловского завода, который был переоборудован согласно постановлению общего собрания рабочих-путиловцев из церкви, кто-то из друзей Саши выступил с предложением обратиться в правительство с просьбой о награждении орденом писателя Александра Фадеева.

На «Красном путиловце», передовом заводе Ленинграда, Фадеева как писателя знали и любили; когда узнали, что он еще и дрался под Кронштадтом, то предложение это было встречено бурными аплодисментами и овациями.

Саша, присутствовавший на собрании, во время этих оваций тихонько встал и ушел. Я почувствовал, что он недоволен происходящим, и через некоторое время тоже поехал домой. Саша лежал на постели, зарыв голову в подушку. Он плакал.

— Зачем вы все это затеяли? — спросил он. — Разве можно поднимать свистопляску вокруг таких священных вещей. В какое положение вы меня ставите? Ведь могут подумать, что я принимал участие в организации этой шумихи. Что же это такое? Всегда жил скромно, честно — и вдруг такое бесчестие! Неужели ты, Юра, знал об этом и не остановил ребят?

По его настоянию эта «кампания» была тут же прекращена в самом зародыше.

Нет, я не хочу сказать, что Фадеев был лишен честолюбия. Но о том, какого «качества» было это честолюбие, свидетельствует другой эпизод, который произошел, если мне не изменяет память, на общемосков-

ском писательском собрании, вскоре после смерти Алексея Максимовича Горького.

Кто-то в пылу литературной полемики сказал, обращаясь к Саше:

— Мы знаем, Саша, чего ты хочешь! Ты хочешь в нашей литературе заменить Горького!

И Саша ответил:

— Да, я хочу заменить Горького и не вижу в этом ничего такого, что порочило бы меня...

В данном случае я, конечно, могу припомнить только лишь смысл его ответа, но смысл был именно такой, и чуткая писательская аудитория прекрасно поняла благородный характер такого «честолюбия» и аплодисментами ответила на слова Фадеева.

Нужно сказать, что вопрос о честолюбии неоднократно был предметом наших разговоров. «Но ведь психологическое отличие большевика от меньшевика состоит в том, что меньшевик, когда заходит речь о стремлении к власти, объявляет, что власть — это зло, и ханжески умывает руки, блюдя их «чистоту». Отсиживаться подальше от схватки, да еще при этом с моральных позиций порицать тех, кто участвует в борьбе, недостойно члена партии, — не раз говорил Саша. — Мы, большевики, строители государства, нашего государства, пролетарской диктатуры. И мы стремимся к власти с единственной целью — служить народу, чтобы осуществлять коммунизм...»

И мы вспоминали Андрея Болконского. Накануне своего подвига на поле Аустерлица, когда, схватив знамя, Андрей кинулся вперед и повел за собой в наступление солдат, он, оставшись наедине с самим собой, говорил: «Но что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую...» Любовь людская, благодарность народа за содеянное добро, за самоотверженный труд — разве можно что-либо возразить против такого честолюбия?

Проездом из Ленинграда на Кавказ я останавливаюсь в Москве. Оказывается, что Саша отдыхает в санатории под Москвой. Приезжаю туда и застаю Сашу на положении постельного больного. Что такое?

Оказывается, ходил на ходулях и не то вывихнул ногу, не то растянул сухожилие.

— Чего ж тебя угораздило лезть на ходули?

Посмеивается, не отвечает, переводит разговор на серьезные темы.

— С чего влез на ходули? — насмешливо говорит наш общий друг, присутствующий при этом разговоре. — Да потому, что хотел покрасоваться перед девушками: вот какие мы ловкие!

Другой раз, тоже проездом, неожиданно узнаю, что Саша в военных лагерях проходит переподготовку как командир. Лагеря расположены в Серебряном бору. Еду туда. Вместе с Сашей проходит подготовку Эми Сяо — китайский писатель-коммунист. Оба они с упованием живут солдатской жизнью. Но Эми Сяо с интересом и хорошим писательским любопытством оглядывается вокруг. Саша же словно вернулся на родину, где давно не бывал, — чувствуется, что здесь, где, говоря словами солдатской песни, «лагерь — город полотняный, морем улицы шумят»; живется ему вольготно-счастливо.

II

Тридцать лет Фадеев был в центре литературной жизни, и писать о нем — значит писать о том, что происходило за это время в литературе, даже при условии ограничения этой задачи рамками личных отношений. Ведь если бы в те моменты, когда в развитии литературы наступал тот или иной глубокий перелом, мы с Фадеевым оказались на разных позициях, вряд ли могла тогда сохраниться наша дружба.

Так могло произойти после постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года о ликвидации РАПП и других литературных организаций и группировок и о создании единого Союза советских писателей. Вряд ли есть необходимость сейчас, по прошествии четверти века, подробно мотивировать целесообразность и необходимость этой радикальной перестройки наших

литературных организаций. Достаточно будет напомнить, что РАПП возникла в условиях существования антагонистических классов и классовой борьбы, возникла как организация, ставившая задачу сплочения писателей, стоящих на позициях пролетариата. Буржуазная идеология была в то время довольно сильно распространена в литературной среде, и РАПП организовалась под лозунгами борьбы на идеологическом фронте.

Страна успешно строила социализм. Первая пятилетка была победоносно осуществлена в три с половиной года. К 1932 году подавляющее число беспартийных писателей идейно перешли на позиции Коммунистической партии. Вот почему ЦК ВКП(б) считал более невозможным и вредным такое положение, при котором подавляющее большинство писателей-коммунистов находилось в так называемых «пролетарских» организациях, а почти все беспартийные писатели при их большом творческом весе — вне РАПП, в своих обособленных литературных организациях. При этом именно писатели-коммунисты из-за того, что они входили в разные, порой даже враждующие между собой литературные группы, были в особенно напряженных отношениях с руководившей РАПП так называемой «налитпостовской группой», в которую входили и Фадеев и я. В этом антагонизме прежде всего виноваты были мы сами, так как свой ограниченный творческий опыт, а также и свои ошибки выдавали за единственно верную творческую линию. Это обостряло наши отношения с такими писателями-коммунистами, как Гладков, Бахметьев, Безыменский, Панферов, Вишневский, и многими занимавшими отличные от нас творческие позиции.

О том, что РАПП изжила себя, свидетельствовало также и то, что такой большой поэт, как Маяковский, по вступлении в РАПП не встретил в нашей организации творческой товарищеской среды.

XX съезд партии лучом ленинской правды осветил всю историю советского общества и о многом заставил задуматься и кое-что пересмотреть по-новому. Сейчас мне вспоминается, что в ожесточенных спорах начала

двадцатых годов, которые предшествовали самому возникновению РАПП, столкнулись две точки зрения. Одна уподобляла пролетарскую литературную организацию партии, другая — добровольному обществу, профсоюзу, имевшему беспартийный характер, но примыкавшему к партии и ставившему своей задачей бороться за линию партии в литературе.

Большинство товарищей, участвовавших в создании РАПП, в числе их А. А. Фадеев и я, придерживались второй точки зрения. Но хотя именно эта точка зрения восторжествовала и была декларативно закреплена в резолюциях и постановлениях, РАПП за время своего существования все в большей степени уродливо копировала партию и по методам своей работы и по своим организационным принципам.

Создание единого Союза советских писателей должно было окончательно похоронить подобного рода копирование партии, и после ликвидации РАПП нам следовало создать литературную организацию нового типа, в основу которой были бы положены задачи творческие.

Стала ли наша писательская организация — наш Союз писателей — в полной мере такой, какой она должна была стать после ликвидации РАПП? Стала ли она общеписательским объединением, задачей которого прежде всего является помощь писателям в их творческой работе, активном участии писателей в деле социалистического строительства?

Отвечая на этот вопрос, я далеко ушел бы за рамки, которые поставил себе в этой статье, — я затронул этот вопрос с тем лишь, чтоб рассказать о том, как на моей памяти А. А. Фадеев принимал участие в борьбе за новый Союз писателей.

Постановление ЦК от 23 апреля 1932 года имело огромное положительное и даже программное значение, не утраченное и по настоящее время. Так же как ряд других подобного рода постановлений, оно является основополагающим в области литературы и искусства.

Тогда, в момент ликвидации нашей организации, нам, рапповцам, было нелегко прийти сразу к ясному

пониманию политической и творческой целесообразности нового положения. Труднее всего было нам расстаться с пережитками групповой психологии — налитпостовская группа была сцементирована многолетними личными отношениями, и сразу после ликвидации РАПП всем нам хотелось сохранить ее прежде всего как творческую группировку. Между тем к 1932 году творческого содружества в налитпостовской группе давно уже не было. Как раз в отношении творческого пути и творческого метода мы представляли собой картину довольно пеструю.

При всем том, что я, например, считал Бруно Ясенского значительным и интересным писателем и сохранял с ним дружеские отношения, я в понимании задач творческой работы чувствовал себя ближе не к нему, а к В. М. Бахметьеву, находившемуся в литературной группе «Кузница», к Сергею Семенову, не состоявшему ни в одной из литературных группировок, или к Борису Левину, который также не входил в налитпостовскую группировку. Да и у А. А. Фадеева также были к тому времени вне налитпостовской группы друзья — писатели творчески более ему близкие, чем внутри налитпостовской группы.

Можно считать, что к 1932 году налитпостовцы из творческого содружества окончательно превратились в литературно-бюрократическую и сектантскую группу. В деятельности этой группы наряду с моментами правильными сильно обозначились также и неправильные, и то, что наша группа была при этом сцементирована долголетними дружескими и к тому же порою беспринципно понимаемыми отношениями, делало эти неправильности и извращения особенно опасными. Вот почему после ликвидации РАПП наша группа объективно стала тормозом в осуществлении поставленной партией задачи создания единого Союза. Мы, писатели-коммунисты, не сразу осознали все это и некоторое время после ликвидации РАПП не могли преодолеть групповой инерции.

Но уже к осени 1932 года А. А. Фадеев, первый в налитпостовской группе, понял, что для того, чтобы во вновь создающемся Союзе писателей была налажена

нормальная обстановка, должна быть ликвидирована в первую очередь наша, самая сильная и наиболее агрессивная, налитпостовская группировка. И как ни тяжелы были при этом субъективные переживания А. А. Фадеева, он пошел на это. Так появились в «Литературной газете» его обусловившие переход к новому этапу статьи «Старое и новое». Поняв политическую целесообразность этого выступления А. А. Фадеева, я в скором времени (осенью 1932 года) выступил с поддержкой его позиции. Как я уже говорил выше, положение Фадеева в РАПП было совсем особенное — он был главою литературной школы, и выход его из налитпостовской группировки повлек за собой ее распад, — даже многие из тех товарищей, которые недовольны были поступком А. А. Фадеева, ничего привлекательного не видели в том, чтобы оставаться в этой группировке, когда из нее ушел А. А. Фадеев.

Я уже говорил, что, еще находясь в РАПП, Фадеев сумел установить дружеские отношения с большинством беспартийных писателей. После ликвидации РАПП он радикально перестроил свои отношения и с писателями-коммунистами. Мне запомнилась одна наша встреча, в которой участвовали Панферов, Безыменский, Ставский и я.

— Ну вот, теперь мы снова вместе! — сказал Саша, оглядывая нас своим добрым и умным взглядом.

Замена круговой поруки, сковывавшей налитпостовскую группировку до ликвидации РАПП, единой и дружной работой всех писателей-коммунистов — таково было первое условие нормальной общественной жизни создаваемой наново общей писательской организации. Этими правилами поведения и Фадеев, и я, и другие товарищи из налитпостовской группировки, вставшие на партийные позиции (могу назвать хотя бы такого видного писателя, как А. А. Каравая, и такого талантливого критика, как В. В. Ермилов), стали руководствоваться.

Нетрудно доказать, что А. А. Фадеев не сменил налитпостовскую группировку на другую, более тесную, в которую будто бы мы с ним входили, как нас в этом пытались обвинять. В период подготовки Первого

съезда писателей Фадеев в Москве дружно работал с такими коммунистами, как П. Ф. Юдин, И. Л. Альтман, В. Я. Кирпотин (первые два до ликвидации РАПП принадлежали к числу принципиальных противников «На литературном посту»). В это же время в Ленинграде мы, коммунисты-писатели, ранее входившие в РАПП (могу назвать хотя бы Чумандрина и Добина), по-товарищески сработались с ленинградскими коммунистами Гореловым, Свириным и другими, которые стояли в то время во главе оргкомитета и до ликвидации РАПП принадлежали к литературной группировке «Литфронт». Вместе с этими товарищами мы-налаживали творческую жизнь в создаваемом едином Союзе писателей и вели подготовку к созыву Первого Всесоюзного съезда писателей.

Мы все мечтали о создании такого Союза писателей, в котором при сохранении общеполитического единства и творческого содружества могли бы свободно проходить дискуссии и расцвести писательские индивидуальности. Партия, ликвидируя РАПП и прочие групповые организации и объединяя писателей в едином Союзе, создавала все возможности для построения такой новой организации.

Но переход к новому этапу жизни литературы не мог не сопровождаться борьбой. И так как А. Фадеев был одним из активных строителей новой писательской организации, он именно в этот период оказался в положении особенно сложном. Некоторые из его вчерашних друзей превратились в его противников, настолько ожесточенных, что они не останавливались даже перед тем, чтобы поссорить его с А. М. Горьким. В это время вышла в свет едва ли не лучшая часть «Последнего из удэге», в которой созданы замечательные образы большевиков. И вот именно эта превосходная книга подверглась совершенно несправедливым нападкам. В этой кампании, направленной против хорошей книги А. Фадеева, участвовал кое-кто из вчерашних его друзей, «мстивших» ему таким образом за то, что он сломал рапповскую групповщину.

Но тут уже стали сказываться благодетельные последствия ликвидации РАПП. На защиту писателя-

коммуниста Фадеева встали на страницах «Правды» другие писатели-коммунисты — Ф. Панферов и А. Сурков.

Обстановка, сложившаяся вокруг А. А. Фадеева ко времени Первого съезда писателей, была настолько для него тягостна, что он все время твердил: «В пустыню, в пустыню!» Он мечтал о долгой поездке на Дальний Восток и осуществил ее вскоре после съезда писателей. Весной 1933 года А. Фадеев начинает работать с А. Довженко над сценарием о Дальнем Востоке. Одновременно Николай Шенгелая должен был экранизировать «Поднятую целину» М. Шолохова. Я писал сценарий о Кубани для М. Калатозова и С. Бартенева. Получилось так, что все мы в связи с этим собрались в Москве.

По вечерам мы часто встречались. Помню, что к нам порой присоединялись Эсфирь Шуб, Эйзенштейн, Борис Левин. Разговор то касался тем литературной жизни, то уходил к воспоминаниям о гражданской войне, то обращался к вопросам современного, переживаемого страной момента — победе индустриализации и острому перелому в жизни деревни. Тогда-то на моих глазах у Саши сложились дружеские связи с творческими работниками кино.

Но как бы далеко ни отвлекался Фадеев от творческой работы, он снова и снова возвращался к ней — и прежде всего к работе над «Последним из удэге».

Год за годом эта настойчивая и взыскательная работа возобновлялась вновь. Великая Отечественная война застала Фадеева за этой работой и прервала ее. Новая могучая волна впечатлений хлынула в его душу. Он пишет статьи и очерки в «Правде», книгу о блокаде Ленинграда и, наконец, целиком отдает себя грандиозному замыслу «Молодой гвардии».

Но, отодвинув «Последнего из удэге», Саша не забывал о нем, и так как я при каждой встрече заводил речь об этом романе и напоминал о том, что нельзя, чтобы такая книга осталась незаконченной, он — это было в августе 1955 года — даже рассердился на меня и сказал:

— Да что ты думаешь, что я скоро умру, что ли?!

Я обязательно кончу «Последний из удэге», после того как напишу «Черную металлургию»!

Нет, я не думал, что он скоро умрет! Передо мной стоял высокий, красивый и мужественный человек, седина как-то особенно красила его, на лице было обычное выражение живого и деятельного ума и внимательной доброты. Ничто не говорило о близости смерти, и особенно такой смерти.

Под непосредственным и благотворным действием постановления ЦК о ликвидации РАПП окончательно оформились взгляды А. А. Фадеева на художественную литературу. Мне нет необходимости излагать эти взгляды Фадеева, а также весь ход его теоретической борьбы за принципы партийности в литературе, его неустанную борьбу с теорией и практикой всяких формалистических псевдомарксистских литературных школ. Он сам, подготовив к печати книгу своих работ в области теории — «За тридцать лет», — облегчил нам это трудное дело.

Теперь видно, что при всем своем принципиальном значении доклад на Первом Всесоюзном съезде РАПП в 1928 году, которым Фадеев открыл свою книгу «За тридцать лет», понятно, не исчерпывал тогда всех богатейших возможностей развития советской литературы. А. А. Фадеев добросовестно стремился в нем наметить «столбовую дорогу пролетарской литературы», но при всех самых благих намерениях доклад этот несет на себе некоторый отпечаток литературных воззрений и вкусов налитпостовцев-рапповцев.

Но одну поразительную особенность этой работы следует отметить. В ней с великолепной ясностью тогда еще совсем молодой, хотя и прославленный, писатель наметил путь дальнейшего творческого развития для себя и своих единомышленников в советской литературе. Он лучше и яснее всех нас видел эту перспективу развития.

Ленинские принципы были крепко-накрепко усвоены А. А. Фадеевым, они вошли в плоть и кровь его. Ведь он принадлежал к тому поколению советской мо-

лодежи, перед которым Владимир Ильич Ленин в своей знаменитой речи на Третьем съезде комсомола развернул программу непосредственного осуществления коммунизма в нашей стране.

В этой же речи Владимир Ильич дал ставшее классическим определение пролетарской культуры, которая «должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества».

В одном из разделов книги А. А. Фадеева, в «Субъективных заметках», наиболее явственно сказалась черта, присущая его могучему дарованию. На протяжении всего развития его творчества, он, верный и последовательный ученик Ленина, никогда не ставил вопрос о творческом методе советской литературы по-пролеткультовски, то есть изолированно от политических задач партии, от вопроса об отношении к литературному наследству, к культуре прошлого.

Выпишите и прочтите названия книг, имена писателей, художников, музыкантов, на произведения которых А. Фадеев ссылается в своих теоретических трудах, — это будет разностороннее хранилище произведений искусства, сокровищница, умещавшаяся в его душе. Не случайно он цитирует письмо А. И. Герцена к сыну: «Чтением человек переживает века, не так, как в науке, где он берет последний очищенный труд, а как полутчик, вместе шагая и сбиваясь с дороги». Нетрудно заметить, что эта мысль Герцена находит окончательное развитие и углубление у В. И. Ленина, когда он в той же речи на съезде комсомола сказал, обращаясь к молодому поколению: «...простое книжное усвоение того, что говорится в книгах о коммунизме, было бы в высшей степени неправильным... Было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги, выводы коммунистической науки, не усвоив себе той суммы знаний, последствием которых является сам коммунизм».

Вот почему так разносторонни и многообразны вкусы А. А. Фадеева. «В поэзии я воспитан на Некрасо-

ве. Но если бы я всю жизнь читал только Некрасова, я чувствовал бы, что многие стороны моей души останутся неудовлетворенными». Так пишет он, борясь за многообразие форм внутри социалистического реализма, борясь против тех, кто не понимает, «что социалистический реализм призван не сузить, а расширить возможности выражения себя в поэзии по сравнению со старым реализмом и романтизмом.

Социалистический реализм в поэзии вполне допускает форму «романтическую» и даже «символическую» — лишь бы за этим стояла правда.

Корни подобного рода широкого воззрения на социалистический реализм коренятся не в эклектизме или либерализме, как это некоторым казалось, — они основаны на том, что ленинское определение задач коммунистического строительства глубоко вошло в душу А. А. Фадеева. Владимир Ильич говорил о задачах критической переработки всего, что было накоплено человеческим обществом до коммунизма. Кого бы ни читал А. А. Фадеев, родных ли классиков русской литературы или особенно им ценимых писателей-реалистов французских и английских, говорил ли он о живописи или о музыке — его живой и деятельный творческий ум рассматривал то или иное явление искусства всегда с точки зрения созидательных задач нашей культуры, нашего искусства, в конечном итоге с точки зрения разработки метода социалистического реализма.

Подвергая критике свои еще незрелые и кое в чем неверные взгляды на литературу, взгляды, наиболее полно выразившиеся в статье «Долой Шиллера!», Фадеев совершенно справедливо пишет, что он «раньше всех «догадался», насколько старые обозначения школ и течений не соответствуют их действительному месту (в смысле художественного метода), и понял, что, например, и Свифт и Толстой оба по-своему реалистичны... — я тем самым «догадался» об исключительном разнообразии художественных средств выражения в пределах реализма, а тем более социалистического реализма». То, что было у А. Фадеева только еще

догадкой в молодости, то в годы его зрелости превратилось в убеждение, в основу, в методу, причем он здесь, в процитированном выше высказывании, берет вопросы социалистического реализма в их неотрывной связи с вопросом о критическом усвоении литературного наследства.

Мысль о нашей советской литературе не покидает его ни на минуту. Рассматривая взгляды Белинского на творчество Кольцова, он записывает: «Многое сказанное Белинским о Кольцове применимо к нашему Исаковскому, исключительно народному таланту, также все еще недооцененному. Но справедливость требует сказать, что Исаковский и по мысли и по форме выше Кольцова», — говорит Фадеев. Считаю, что подобная высокая оценка творчества Исаковского и справедлива и уместна.

Все, что в «Субъективных заметках» написано А. А. Фадеевым о реализме и романтизме, как при рассмотрении творчества Пушкина, так и при размышлениях о «генеалогии» русской классической литературы, — все это является дальнейшей разработкой юношеских «догадок» Фадеева о несоответствии старых обозначений школ их действительному месту, особенно там, где он пишет, что «образ Татьяны, обобщенный, собранный из этих разрозненных черт в единый идеализированный образ русской девушки и женщины, есть величайшая победа реализма, который *без мечты, без должного, то есть без романтики*, не есть реализм. Пушкин сам говорит: «А та, с которой образован Татьяны милый идеал...»

Творчество Тургенева вызывает у А. А. Фадеева восторг, и мне хотелось бы обратить здесь внимание не только литераторов, но также и молодежи нашей на следующую его запись: «И я бы сказал, в наше время такой способ изображения юности, женской красоты — это то, чего недостает нашей литературе, которая чрезмерно натуралистична, приземлена. Нашей молодежи нужно такое «идеальное» изображение именно *этой стороны* жизни, ибо она стремится к ней, — наша молодежь в этом смысле сама будет идеальной еще на глазах нашего поколения, эти черты в ней надо раз-

вивать. Нашим учителям в школах надо больше, как можно больше рекомендовать молодым людям читать Тургенева. Пушкин и Тургенев — это родоначальники нашей прозы. Все самое прекрасное, что присуще развитию русской прозы, все это в зачатке есть у Пушкина и Тургенева».

Способность плодотворного критического усвоения классического наследия прошлого особенно сказалась при рассмотрении А. А. Фадеевым творчества Достоевского. Сравнивая «Воскресение» с «Преступлением и наказанием» и отдавая предпочтение Л. Толстому, Александр Александрович совершенно справедливо говорит о «Преступлении и наказании»: «Роман точно, вылит, так он строен. При ограниченном числе действующих лиц кажется, что в нем тысячи и тысячи судеб несчастных людей, — весь старый Петербург виден под этим неожиданным ракурсом». И, далее совершенно справедливо отметив наличие у Достоевского необыкновенной «диалектики развития идей», Александр Александрович тут же одной фразой намечает линию критики Достоевского: «нагнетено «ужасов», до неестественности...»

Спустя некоторое время А. Фадеев снова возвращается к оценке Достоевского, совершенно справедливо говоря о стилистическом родстве его с... Чернышевским, о «разночинской манере» этих двух таких непохожих писателей.

«Достоевский и Чернышевский — это антиподы, возникшие из одного лагеря, но пошедшие противоположными путями», — записывает А. Фадеев, и это утверждение могло бы быть развито в особой работе по истории русской литературы, в которой, добавлю от себя, не обойтись без рассмотрения другого антипода Достоевского — Салтыкова-Щедрина, в творчестве которого близость с Достоевским нашла особенно яркое выражение в «Господах Головлевых».

Мысль о социалистическом реализме не покидает А. А. Фадеева также и при рассмотрении классиков французского реализма, которых он особенно ценил всю свою жизнь. Он записывает:

«Слияние, вернее синтез реализма и романтизма, поднимает реализм на более высокую ступень. Что это значит? Правда жизни, обогащенная мечтой, то есть будущим, в условиях нашей жизни, которая развивается к совершенству, к добру, — это ли не величайшая степень реализма? Вот в чем формула социалистического реализма».

Эти слова приводят нас не только к пониманию взглядов А. Фадеева, но и к правильному взгляду на творчество самого Фадеева, к уяснению основной особенности его реализма, неотъемлемой чертой которого является героичность.

В разбираемых нами «Субъективных заметках» А. Фадеева тенденция эта с особенной силой сказалась при анализе упомянутой выше книги Честертона о Диккенсе. А. Фадеев с глубоким сочувствием цитирует мысль Честертона о том, что «жизнерадостность и оптимизм Диккенса имеет народные корни». «Наши современные романы, — говорит Честертон, — в большинстве случаев изображают людей из интеллигентных слоев общества и рисуют их такими, какими они являются на самом деле, тогда как народное творчество создает образы непомерной величины, описывает героев-полубогов».

Но творчеству самого А. Фадеева была глубоко родственна именно эта героическая тенденция в литературе. Эта тенденция поразила меня еще тогда, когда впервые я прочитал первую, во многом несовершенную повесть А. Фадеева «Разлив»: ведь оба главных характера этой повести — и охотник Неретин и девушка Каня — героичны... Разработкой героического характера в его реалистическом выражении занят А. Фадеев и в «Разгроме» и на протяжении многолетней работы над «Последним из удэге», эта разработка героического характера, наконец, увенчивается блестящим успехом в «Молодой гвардии». И чтобы понять то органическое неприятие Чехова, которое при наличии большого уважения к его таланту было свойственно А. А. Фадееву, необходимо исходить именно из этой героической тенденции творчества Фадеева.

В вопросе об оценке творчества А. Чехова можно

было бы поспорить с Александром Александровичем, можно было бы напомнить ему, что вся «Степь» проникнута предчувствием пришествия великанов, можно не согласиться с тем, что доктор Дымов скучен, — мне лично он представляется героической личностью своей эпохи. Тем более можно было бы заметить, что наша социалистическая интеллигенция, растущая из рабочих и крестьян, ни в какой степени не «растет мимо», как выражается А. Фадеев, изображенной Чеховым интеллигенции... Но нам нельзя не считаться с тем, что А. А. Фадеев не случайно назвал свои заметки «субъективными», — в них выразились со всей естественностью и откровенностью индивидуальные особенности роста писателя Фадеева, характерные черты именно его таланта. Есть у А. А. Фадеева суждения, объективная правильность которых несомненна, — взять хотя бы его высказывания по вопросу о противоречии между творчеством некоторых художников и их мировоззрением, которое, с точки зрения А. А. Фадеева, есть противоречие, коренящееся в мировоззрении художника. Положение это, хотя и нуждается в дальнейшем развитии, несомненно правильно и очень плодотворно.

Но рядом с такого рода высказываниями, имеющими общетеоретический характер, автор «Субъективных заметок» то в сдержанном комментарии, то в неожиданном поставленном восклицательном знаке высказывает себя, свою натуру. Так, говоря о трактовке Белинским образа Онегина, Фадеев отмечает, что «заключение Белинского о том, что Татьяна воскресила Онегина «из смертного усыпления для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за неверие в таинство любви и жизни и в достоинство женщины», раскрывает какую-то трогательно-прекрасную сторону души самого Белинского». Думаем, что эта «трогательно-прекрасная сторона души», столь чуткая и в любви и в дружбе, была свойственна также и самому Александру Александровичу. Мне выпало счастье на себе испытать эту прекрасно-трогательную сторону его души!

Дорогой Юра! Твое письмо от 1 марта я получил только 26 марта, в день отъезда в Хабаровск на пленум крайкома. Во время пленума трудно было ответить, — хотелось подробно написать обо всем... Правда, между твоим письмом и моим разрыв получится почти в два месяца. Больше всего меня обрадовало все, что ты пишешь о своей работе над пьесой¹.

...Валя как-то писала мне, что хуже всего, если я не работаю над «Удэге», а занимаюсь второстепенными литературными делами, т. е. просто «проживаю», обманывая себя *видимостью* дела. Тогда уж лучше перейти на партийную (или другую) работу, чтобы или вернуться к литературе с новыми силами, или стать парработником, иначе — неопределенность, прозябание, пустота. Сколько раз я думал об этом и в применении к тебе.

...Я больше всего боялся, что ты *не вышел* из этого состояния. В таком случае правильнее было бы бросить все, переменить весь строй жизни, среду, — переучиваться наново. Мы еще не так стары, чтобы бояться отдать полтора-два года на переучебу. Но то, что ты пишешь про пьесу, а главное то, *как* ты над ней работаешь, — целиком меняет дело. Если она даже не выйдет «победительной», то ведь это не страшно (ибо выйдет вторая или третья). Главное же, войти в ту внутреннюю атмосферу творчества, в которой ощущаешь, что отдаешь делу всего себя, органически понимаешь тему и — свободен выражать все, что понимаешь и чувствуешь. Победы и поражения при *таком* самочувствии — это, так сказать, нормальные победы и поражения, т. е. проистекающие от твоих собственных данных, а не от внешних условий, помех и конъюнктур. Если это у тебя есть, можешь и дальше работать смело и не отчаиваться, даже когда «не выходит», — таких писателей, у которых всегда бы все «выходило», не было и нет. Ты не писал мне о том, какое еще новое

¹ Речь идет о моей пьесе, которая так и не увидела света, так как не удовлетворяла меня самого.

«дело» тебе пришивали, но это сопровождает жизнь всех людей. Признаться, меня всегда больше вышибали из колеи те неурядицы и неудачи, которые происходили на *личной* почве, а не на *общественной*. Должно быть, потому, что во втором случае есть более точные, твердые и *разумные* категории борьбы и поведения, а в первом — больше рефлексии, пережитков индивидуализма и собственной глупости. Поэтому, если до сих пор я очень недомогаю тем, что моя так называемая «личная жизнь» поломалась целиком и полностью (поломалась по моей вине), то в наше общественное и писательское (что для меня слитно) будущее я при всех нюансах смотрю смело, готов держаться до конца и чувствую силу.

Я с большим интересом жду переделанных «Комиссаров». Там в самом деле некоторые вопросы революции были поставлены и решены *неверно*, если глядеть с современной исторической вышки. Но эта неправильность, к счастью, не такого порядка, чтобы требовалась коренная переделка основных образов. Реалистическая здоровая тенденция — я ее *очень* почувствовал в свое время — пробилась сквозь схему: теперь ты, очевидно, все расставил на свои жизненно-правдивые места.

Я прочел в №№ 10 и 11 «Литерат. критика» введение к эстетике Гегеля и получил истинное наслаждение. Вопросы специфики искусства во времена РАПП пытались разрабатывать только ты да я. Я поразился, как близко к истине мы добирались! И как жалко, что все это было искажено у нас недостатком знаний, догматизмом и прупповой борьбой. Благодаря такому искажению, эти работы нельзя даже переиздать, а между тем — это пока единственные попытки применить марксистскую философию к современной практике литературного творчества.

Я уверен, что выход «Эстетики» Гегеля на русском языке даст огромный толчок в этом направлении. К сожалению, сам я уже долго не вернусь к теоретической работе (не в смысле изучения, а в смысле реализации), — все силы отдаю и буду отдавать непосредственной творческой работе. Третья часть «Удэге» под-

ходит к концу, — думаю, понадобится 20—30 дней, чтобы добить ее. Страшно подумать, что это только половина романа. Много новых, современных тем лезет в голову. Некоторую разрядку буду делать через небольшие рассказы, но основные силы отдам роману, — пока не кончу. Я по-прежнему сижу на 19-й (версте.— Ю. Л.), изредка выезжая в город, или в воинскую часть, или (как на этот раз на пленум) на какой-нибудь интересный съезд или собрание. Очень много читаю. Но в смысле всяких житейских радостей жизнь идет довольно однообразно. Очень скрашивает ее то, что живу я «на родине» и, так как все и всех здесь знаю и меня знают, что, даже сидя на даче, я в своей стихии движусь вперед вместе с жизнью. Кроме того, в последнее время я начинаю получать все больше и больше писем из Москвы, порой от людей совершенно неожиданных, и поэтому, хотя и с запозданием, обо всем информирован.

Я желаю тебе большой удачи, милый Юра, и прошу не забывать меня. То, что у нас возникали иногда «принужденности» в отношениях, это, должно быть, верно. Но ведь их не бывает только в жизни идеализированной, а живая жизнь — она такова. Дружба приобретается не милыми словами и теплыми улыбками — хотя они тоже очень вкусны, — а жизненным опытом — и тем она прочнее.

Крепко жму руку тебе и целую.

Александр».

Это письмо дорого мне потому, что все оно проникнуто горячим и деятельным проявлением дружбы. К такой дружбе, по моему убеждению, способны только душевно богатые, истинно человеческие натуры.

Давал ли Александр Александрович советы по моей работе над пьесой, подсказывал ли он то направление, в котором мне следовало вести доработку «Комиссаров», подвергал ли он справедливой критике наши общие ошибки при подготовке творческой платформы РАПП, во всем этом ощущалось деятельное и доброе желание прийти на помощь и прежде всего по-

мочь в самом главном для нас обоих деле — в нашем писательском труде, чтобы этот труд служил осуществлению коммунизма.

И он не случайно закончил это письмо скупыми и сдержанными словами о дружбе, которая «приобретается жизненным опытом». После совместного отказа от налитпостовской круговой поруки наша дружба не ослабела, а укрепилась, в чем я вскоре получил новую возможность убедиться, — я расскажу об этом в конце моего повествования.

Весной 1936 года я приехал в Сухуми, где провел несколько месяцев с Сашей и еще некоторыми своими друзьями.

В Абхазии А. А. Фадеев, верный своему неизменному жизненному правилу, уже установил самые дружеские отношения и с абхазскими писателями и с интеллигенцией, с местными советскими² и партийными работниками. Он рассказал мне о выдающемся абхазском поэте и ученом, знатоке истории своего народа Димитрии Иосифовиче Гулиа, познакомил меня с Нестером Лакобой, тогда председателем Совнаркома Абхазской АССР, крупным и интересным человеком.

Я рассказал Саше о своей поездке в Кабарду и в Карачай, о руководителе большевиков Кабарды Бетале Калмыкове, с которым Фадеев был знаком еще по работе на Северном Кавказе, значительном человеке, много сделавшем для того, чтобы помочь своему народу перейти на социалистический путь развития и занять первое место в деле коллективизации сельского хозяйства. При этом, однако, Бетал был властолюбив, деспотичен и заметно чувствителен к лести.

Мы говорили в то время о Несторе Лакобе и Бетале Калмыкове, о недостатках этих крупных людей, не подозревая, что говорим «о культе личности и его проявлениях»...

Я тогда еще работал над той пьесой, о которой упоминает А. А. Фадеев в своих письмах ко мне. Но материал законченной ныне трилогии («Горы и люди», «Зарево» и «Утро Советов») уже начинал группироваться — правда, пока еще только в моем воображении.

Однажды Нестор Лакоба заехал за нами на автомобиле и повез по Абхазии. Мы с Сашей поднялись на какую-то гору, с которой открылся вид на живописную долину с аулом, на узкое, как трещина, ущелье, из которого выбегала река. Я рассказал Саше ту легенду о Баташе, которой и сейчас начинается роман «Горы и люди». Саша знал и любил Северный Кавказ. Я уже писал выше, что он одно время сам собирался писать о Северном Кавказе. Тема интернационального единства и дружбы народов в значительной мере определила замысел «Последнего из удэге», и разве не было бы по-человечески понятно, если бы Саша испытал ревность или досаду оттого, что наши замыслы, хотя и очень разные, невольно соприкасались какими-то сторонами? Но он с живым интересом слушал меня, он радовался, радовался за меня и за то, что я при всех тех трудностях, которые именно в это время громоздились на моем пути, продолжал настойчиво и упорно работать.

После Сухуми мы с А. А. Фадеевым побывали в Сочи, где посетили Николая Островского, — об этом я написал в очерке-портрете, посвященном этому замечательному, на века юному коммунисту-писателю¹.

Летом 1937 года, в день едва ли не самый тяжелый за всю мою жизнь, Саша пришел ко мне. Я сидел за письменным столом и работал. Наверное потому, что ему не хотелось обнаруживать те чувства, которые волновали его, Саша был внешне сдержан. Только вчера, на заседании парткома, он безоговорочно защищал меня, а сейчас, наедине, было похоже, что он сух со мной. Человек, не знавший его, подумал бы, что он со мной официален.

— Что ты думаешь дальше делать, Юра? — спросил он.

Видно было, что он все заранее обдумал и решил именно с этого вопроса начать наш разговор, для которого пришел ко мне. Я ответил, что намерен до последнего бороться за то, что было душой моей, — за

¹ См. очерк «Одна встреча» в этом сборнике.

свою партийность. Сомневался ли он в этом моем намерении? Вряд ли. Но он не считал возможным начать этот разговор, не задав мне предварительно этого вопроса. И только получив от меня решительный и исчерпывающий ответ, он подробно рассказал, как мне, по его мнению, следует держаться и поступать.

— Над чем ты работаешь? — спросил он меня.

— Пишу о Кавказе. Помнишь, когда мы забрались на гору в Абхазии, я рассказывал тебе легенду о Баташе? Сейчас писать об этом как-то особенно приятно, отвлекает...

— Прочти...

— Но ведь это черновик.

— Все равно, читай!

Мне стали навеки дороги те слова ободрения, которые он тогда сказал! Они были для меня поддержкой не только в тот тяжелый миг, они с тех пор навсегда запомнились мне как благородное проявление дружбы, лучшего, на что способны люди в отношении друг друга.

Понятно, у меня в то время были материальные трудности. Казалось бы, популярность моих книг — «Недели» и «Комиссаров», — которые каждый год выходили массовыми тиражами, давала мне возможность отложить, как говорится, «про черный день» хотя бы малую толику. Но это было не в нравах нашего поколения. Да и Саша жил так же, он отдал бы мне все свои деньги, но, на беду, он и сам в то время жил трудно.

— Знаешь что, Юра, — сказал он. — Ты ведь продаешь свои книги, так продай и мои! У меня скопился целый книжный склад авторских экземпляров, да и библиотеку давно уже пора почистить...

Именно в это трудное время у нас возобновились прогулки по Москве. Саша жил тогда где-то за Новослободской, на самой окраине города. Я приехал к нему туда посоветоваться, и обратно мы пошли пешком.

— Я тебя проведу совсем новым маршрутом, — говорил он. — Это очень интересно.

Мы проходили через огороды и сады, через церков-

ные дворы, попадали на строительные площадки, где воздвигались новые дома и где на нас смотрели с некоторой подозрительностью. Но Саша вел меня все дальше, и когда мимо строящегося тогда театра Красной Армии мы вышли на Самотеку, Саша с гордостью сказал:

— Видишь, какой интересный маршрут!

Незадолго до всех этих событий у меня состоялся разговор с одним в то время обоим нам близким человеком, и он сказал:

«В настоящее время дружба является вреднейшим пережитком прошлого. Те чувства, которые должно отдавать только партии, мы отдаем личности».

Надо ли доказывать, что настоящая дружба — я имею в виду, конечно, не кумовство, а подлинную дружбу, дружбу, основанную на общности идейных взглядов и душевном сродстве, — что такая дружба цементирует партию и наш советский строй!

Именно таких взглядов на дружбу придерживался Александр Фадеев. Эти взгляды в нем выковала гражданская война, их воспел он в «Молодой гвардии».

Нетрудно заметить, что, рисуя перед читателем портрет моего друга, я основываюсь по преимуществу на живых своих впечатлениях и воспоминаниях и на его письмах ко мне.

Начиная с 1938 года мне это делать было бы все труднее. Мы стали встречаться все реже, хотя вначале оба даже не замечали этого. Ведь бывало и раньше, что мы не встречались по несколько месяцев.

Без всякой ревности, так как ревность в дружбе — это ребячество и глупость, я видел, что круг Сашиных друзей делается все шире. Он всю жизнь отличался редкой незлобивостью, и, заметив, что кто-либо из писателей к нему относится плохо и высказывает по его адресу отрицательные суждения, он никогда не озлоблялся и если действительно ценил этого писателя, то сам шел к нему с дружбой.

Были и другие причины, обусловившие то, что мы

стали встречаться гораздо реже. Я мог бы разобрать, какие обстоятельства обусловили это внешнее изменение характера нашей дружбы, — так же нетрудно было бы доказать мне, что дружба наша, несмотря на это все, сохранялась вплоть до последней нашей встречи накануне его трагической гибели... Но если бы я стал продолжать свой рассказ об А. Фадееве, мне пришлось бы от личных воспоминаний перейти к использованию материалов, не имеющих характера личных воспоминаний.

А к такой работе я еще не готов...

Август 1956—февраль 1958 года



О литературной юности Бориса Горбатова



Мне представляется небольшая, тускло освещенная сцена. И на ней черноволосый юноша, — волосы прямые, блестящие, как вороново крыло, густо-румяный, в блещущей новизной лиловой сатиновой косоворотке. Мерно жестикулируя, он произносит взволнованную речь, слова идут накатисто, набегая одно на другое.

Я не могу припомнить, где это происходило — в Донбассе, куда выезжал я, или в Москве, куда приезжал Борис, — но именно таким, произносящим речь на трибуне или в такой же манере декламирующим свои стихи, запомнился мне и полюбился Борис Горбатов.

В то время РАПП собирала всех молодых, начинающих писателей, поднимающихся из среды рабочего класса. Если же кто-либо из этих молодых писателей обладал еще и организационными навыками и боевым общественным темпераментом, он тут же оказывался во главе нашего движения. Нам не приходило тогда в голову, сколь губельны могут быть последствия этого раннего выдвижения, прежде всего для самих молодых писателей.

Итак, мы забрали Бориса в Москву. Получить отдельную комнату в Москве в 1925—1926 годах было труднее, чем сейчас, и Борис стал жить у меня. Он был произведен нами в должность оргсекретаря РАПП и

отдавался этой работе со всем пылом юности: бывал на предприятиях и в рабочих клубах Москвы, выезжал, когда это требовалось, в областные города, участвовал в диспутах, вел переговоры с литературными организациями...

По вечерам, уже потушив свет, он рассказывал мне о проделанной за день работе и порою засыпал на полуслове. Просыпался он рано, лежа читал и ел ложкой, прямо из банки, с вечера припасенное варенье. Сладстена он был изрядный и при грозном своем титуле — «оргсекретарь РАПП» — еще очень ребячлив. «Бориска» — ласкательное имя, привезенное им с Донбасса, как-то очень шло к нему.

Борису по его должности приходилось встречаться с Алексеем Ивановичем Свирским, который имел отношение к руководству Дома Герцена, где в то время, наряду с другими литературными организациями, помещалась также и РАПП.

— Вы таки добились своего... — говорил Алексей Иванович в своей добродушной, насмешливой манере. — По сравнению с этим ребенком, которого вы привезли с Донбасса, все вы теперь кажетесь почтенными старцами!

Начинал Борис как поэт, и стихи давались ему легко, но они были как пламя: пока горят — тепло, даже жарко, прогорели — и ничего не осталось... Очень скоро стал он писать прозу. При крайней своей юности ему все же было о чем рассказать, и он рассказывал мне и о хорошей семье своей, и о жизни и быте родного шахтерского городка, в котором он вырос, и о переменчивом ходе гражданской войны на Украине. Но с особенной горячностью говорил он о своей комсомольской работе, — не случайно первая повесть его так и называлась: «Ячейка».

Первую прозу свою он спел так же легко, как и стихи, и она получилась легковесна, много легковеснее того, что он мне рассказывал. Однако печатать, особенно по тем временам, это можно было, и повесть дошла до читателя и имела успех.

Но сам Борис, чутко прислушивавшийся к критике, был недоволен. Он обеспокоился, стал словно огляды-

ваться кругом: заседания, диспуты, собрания, на которых подчас происходил размен больших вопросов культуры и литературы на мелкую и мельчайшую склоку, — если первое время он и вкладывал свою горячую душу во все это, то по прошествии некоторого времени вся эта суета удовлетворять его перестала. До приезда в Москву, когда он отдавал пыл своей щедрой души комсомольской и массовой работе, он получал живые впечатления, а что он получал взамен здесь?

Когда начал создаваться Осоавиахим, организаторы его обратились в РАПП, предложив нам принять участие в создании этой боевой организации. Переговоры шли через оргсекретаря, то есть через Бориса. И снова глаза его загорелись, румянец пылал всюду, снова летели слова, одно обгоняя другое.

Мы приняли участие в создании Осоавиахима, а Борис так и остался связан с этой организацией, — кажется, он вошел тогда в состав руководящих органов Осоавиахима.

Как-то зимой Борис, серьезный и взволнованный, появился у меня в комнате на Покровке, 3, где было общежитие молодых писателей и где в то время поселился я. Оказывается, Осоавиахим предполагал организовать круговые агитполеты, в которых соединятся и агитация за создание сильного Воздушного флота, и агропропаганда, и, кажется, даже борьба с вредителями при помощи рассеивания химических средств по полям. Осоавиахим предложил писателям принять участие в этих полетах, предоставлял им места. На каждом самолете будет летчик, штурман и в качестве пассажира писатель!

Хитрить Борис не умел, по всему видно было, что он сам мечтал стать этим «летающим писателем».

— Ну, а как же с твоей работой в РАПП?

— Я уже это обдумал... Заместитель есть. Я возьму отпуск на три месяца за свой счет и передам зарплату заместителю...

— А сам-то ты как будешь?

— Так ведь я же буду печатать очерки! Мне будут платить.

— Ну ладно, пусть будет так! Эти агитполеты начнутся, наверное, с весны?

— То есть как с весны? — спросил Борис изумленно и даже с оттенком испуга. И я понял, что речь идет о самом ближайшем будущем.

— Но, насколько я знаю, самолеты открытые...

— Нет, нет, они не совсем открытые! И ведь там будет специальная прозодежда...

Глаза горят, лицо пылает, — Борис в мечтах уже надел мужественно-неуклюжую одежду летчика, а перспектива морозов и вьюг только придает еще больше пыла его мечтам.

Больше на организационную работу в РАПП Борис не вернулся. Он в буквальном смысле этого слова улетел от нас.

Помню, как уже весной он, охрипший, с облупленным от ветра лицом зашел ко мне рассказать о своих впечатлениях от агитполетов, о том, как восторженно встречала их тогдашняя деревня, о том, как они много сделали и как еще много можно сделать...

Так определилась основная линия творчества Бориса Горбатова, обозначился мужественный профиль писателя, который еще до войны, в условиях арктических полетов, подготовил себя к суровым испытаниям Великой Отечественной войны. В те памятные дни 1941 года в «Письмах к товарищу» и в «Непокоренных» я по-новому услышал взволнованные рассказы Бориса о Донбассе, но при зареве боев небывалой войны голос писателя зазвучал уже по-взрослому сильно.

Борис Горбатов был едва ли не самым скромным в нашей, склонной к преувеличенному представлению о месте своего творчества среде. Мне запомнился один наш разговор весной 1947 года. Борис был тогда одним из секретарей Союза писателей. Мы возвращались домой после какого-то заседания. Талый мартовский снег летел из-под колес машины, у Пресненской заставы стлыли огромные лужи. Речь зашла о писательских архивах.

— А я свои черновики уничтожаю, — сказал Борис. — Какое могут иметь значение мои архивы? Не та...

кой уж я большой писатель, чтобы историки литературы стали их изучать...

Сказано это было легко, со смешком.

Но читатель наш рассудил иначе. Он полюбил и «Обыкновенную Арктику», и «Письма к товарищу», и «Непокоренных», и многие другие произведения Бориса Горбатова.

Думаю, что многочисленным читателям его неинтересно будет узнать об этих немногих, но достоверных штрихах беспокойной юности писателя.

Июнь, 1957 год

Одна встреча

1

Голос Николая Островского я услышал раньше, чем впервые увиделся с ним. Приехал в Сочи, и сразу же возникла мысль о посещении Островского. И мы вместе с А. А. Фадеевым решили пойти к нему.

Трубка телефона была уже в руках, номер вызван, а на душе смутно: я жалел, что поторопился. Видеть такие страдания и не знать, как им помочь... Слова сочувствия? Но можно ли будет их сказать?

— Мы с Фадеевым хотели бы встретиться с товарищем Островским, если это для него не утомительно.

— Сейчас... — ответили нам.

Секунду простоял я с безмолвной трубкой в руках. И вдруг очень приятный молодой голос, который сразу показался мне знакомым, спросил:

— Юрий, это ты?

— Да, — ответил я. — Мы хотели бы увидаться с товарищем Островским.

— Так у телефона я, Островский... — со смешком ответил голос. — Я очень буду рад встретиться с вами, ребята.

И вот переход от южного, горячего солнца, синего неба и сочинской пышной зелени в эту полутемную комнату, в которой господствует кровать. На ней — иссохшее, окаменевшее и неподвижное тело, серое, словно известковое, лицо...

Мы стоим ошеломленные, мы молчим. Но вот сно-

ва тот же голос — и в нем дружба, молодость, жизнь — с ласковым смешком спрашивает нас:

— Ну как, трудновато вам было до меня добраться?

Неужели этот голос рождается где-то в глубине этого окаменевшего тела?

— Хорошо, что тебя так охраняют, а то тебе не было бы покоя, — несколько принужденно отвечает Саша Фадеев.

— Да... — отзывается Островский. — Такое мое положение. Если б я мог, взял бы стопу бумаги да забрался подальше... Да что вы стоите? Садитесь, садитесь, ребята!

Он прислушивается к тому, как мы рассаживаемся, и продолжает:

— Добивалась тут меня одна дивчина. Проскочила охрану у ворот, проскочила охрану у дома, слышу — она уже в комнате: «Нет, я должна его увидеть!»

И он своим гибким, с богатыми интонациями голосом очень забавно передает неистовость девушки.

— Лежу здесь скованный, чувствую себя крепостью, которую берут приступом, и думаю: «Милая девушка, если бы этот напор употребить для достижения какой-нибудь действительно достойной цели...»

Мы, переглядываясь, смеемся: неистовый напор «дивчины» передан с умной и ласковой иронией. Островский тоже смеется, прислушиваясь к нашему смеху.

Разговор, который сразу не клеился, сейчас уже завязался — писательский разговор о литературе, простой, товарищеский. Что-то изменилось в лице Островского, как только начался этот разговор, точно он справился с трудным делом. И я вдруг понимаю, что произошло: почувствовав, что мы, войдя к нему в комнату, ошеломлены, скованы, потрясены, он шутивными фразами о себе, о своем положении *помог* нам справиться со своими чувствами и войти в колею обычных товарищеских отношений. Он *помог* нам, здоровым и сильным, *помог* с такой легкостью и непринужденностью, что мы не сразу заметили это.

Разговор приобрел оживленный характер. Это был разговор с необыкновенно привлекательным человеком, в складе ума которого чудесно соединялись ироническая шутливость и восторженная, романтическая приподнятость.

Но иногда я оглядывался, видел эту полутемную, странную комнату, это почти умершее тело. Тогда невольно я закрывал глаза, вслушиваясь в слабый, но жизнерадостный, чудесно молодой голос, — в нем не чувствовалось не только какого-либо уныния, но и никакой принужденной бодрости: голос был естественным выражением молодого, непобедимого духа.

Незадолго до этой нашей встречи я впервые прочитал «Как закалялась сталь», и книга сразу стала мне дорога прежде всего тем, что в ней с огромной силой была выражена победная философия коммунизма. Я почувствовал значение этой книги для формирования души советского человека.

И сейчас, когда я держу в руках книги Островского, все, что оставил нам писатель, — знаменитый роман «Как закалялась сталь» и незаконченный «Рожденные бурей», статьи, речи и письма, — мне хочется еще раз сказать об этом наследстве, необычайно весомом, об этих написанных живым огнем строчках, огнем, который вот уже сколько лет горит, не гаснет и никогда не погаснет.

II

«Я зря не дерусь, всегда по справедливости...» — говорил Павел Корчагин в беседе со своим старшим другом и воспитателем, большевиком Жухраем.

Таково первое сознательное движение детской души, первое проявление оформляющегося характера будущего героя романа. Из зернышка пробился живой росток, определился будущий человек.

Мы не перестаем с напряженным вниманием следить за душевным ростом мальчика. Несправедливости встречают его на каждом шагу — и в школе, и в станционном буфете, и в железнодорожном депо.

Несправедливо то, что ты одет в лохмотья и матери твоей приходится надрываться в тяжком труде, а рядом ходят жирные бездельники. Несправедливо, что как живой товар продают славную девушку Фросю...

Чувство несправедливости рождает ненависть, классовую ненависть. И когда приходит революция, юный Корчагин воспринимает ее как грандиозное установление всеобщей справедливости.

Эта революционная справедливость находит свое воплощение в деятельности партии. В романе появляется большевик Жухрай — первый человек, которому Павел высказывает свою заветную мысль о справедливости.

Еще под кривой вербой у пруда Павка Корчагин с засученными выше колен штанами заводит знакомство с девушкой — первой своей любовью — и кулаками отвечает на обиды барчат. Это еще детство, но оно проходит под грохот артиллерии: уже легендарный Боженко, славный сподвижник большевика-полковника Шорса, двинулся на Шепетовку, чтобы освободить ее от белых.

Железнодорожная станция пуста, железнодорожники забастовали, на дворе электростанции собрались рабочие, и большевик Жухрай произносит речь, призывает к забастовке.

...Вот Павел увидел, что Жухрая ведут арестованным. Неожиданно мальчик бросается на конвоира и, пригнув винтовку его к земле, дает возможность Жухраю бежать, а сам, арестованный белыми, едва не погибает в тюрьме.

Этот эпизод — первый шаг к партии, которой Корчагин отдает свою жизнь. Позже, в письмах, Николай Островский назовет партию большевиков «родной партией». Лучшего определения, пожалуй, и не подберешь!

Бесспорно, что самое сильное и незабываемое впечатление оставляет центральный образ романа «Как закалялась сталь» — Павел Корчагин, его трудный и героический путь, его необычайная трагедия, из которой, вопреки веками установленным традициям, герой выходит победителем.

Но при всем величии этого образа разве только о Павле Корчагине идет речь в романе? И разве случайно, что на одном из этапов развития романа течение его сюжета как бы раздваивается и судьба лучшего друга Павки — Сережи Брузжака — струится рядом с судьбой Корчагина, в одном направлении, дополняя и обогащая произведение!

Но Сережа погибает в огне гражданской войны. Не знающий пощады классовый враг расправился также и с Гришей Хороводько, синеглазым секретарем ячейки сельского комсомола.

Если бы на долю Сережи Брузжака или Гриши Хороводько выпало то же испытание, из которого со славой вышел Павел Корчагин, то и они, наверное, повели бы себя примерно так же, как и Корчагин.

Сила романа «Как закалялась сталь» в том, что хотя в центре его во весь рост написанный образ Павла, вся книга проникнута массовым героизмом.

«Павел потерял ощущение отдельной личности. Все эти дни были напоены жаркими схватками. Он, Корчагин, растаял в массе и, как каждый из бойцов, как бы забыл слово «я», осталось лишь «мы»: наш полк, наш эскадрон, наша бригада», — пишет автор.

В атмосфере этого массового героизма выкристаллизовались люди, подобные Корчагину, тут начала закаляться сталь. Огненная атмосфера гражданской войны выковала поколение Павла Корчагина. Вот почему «рожденными бурей» называет Островский героев своего второго романа.

Поколение Корчагина вступало в комсомол и в партию в огне гражданской войны.

Ленин и Сталин, Свердлов и Дзержинский, Шаумян и Орджоникидзе, Киров и Куйбышев и многие, многие другие жили, действовали в ту эпоху, и поколение Павла Корчагина училось у них высоким добродетелям коммуниста, морали революционного народа.

«Рабоче-крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени ее не было ни одного пятна», — сказано в приказе Реввоенсовета, прочитанном перед полком.

«Ни одного пятна», — шепчут губы Павла».

«Ни одного пятна!» — именно с таким высоким чувством несли знамя большевистской партии ее основатели, борцы большевистского подполья.

Не случайно Павел Корчагин из всего приказа повторил именно эти, требующие от каждого бойца высокого сознания, слова. Они как бы становятся девизом юноши, с ними он идет в бой...

III

Во всякой любимой книге есть страницы особенно дорогие. Даже в гениальных творениях Пушкина, Лермонтова, Толстого есть заветные главы, драгоценные созвучья, которые повторяешь наизусть.

В романе Николая Островского «Как закалялась сталь» я снова и снова каждый раз с живым волнением перечитываю главу, в которой показано, как в конце 1921 года, на грани гражданской войны и мирного строительства, партийная организация Шепетовки посылает своих лучших людей на строительство узкоколейки.

Зима у дверей. Больницы, школы, учреждения во власти стужи. Строителям в условиях начавшейся зимы негде жить. С хлебом туго, снабжение затруднено, то и дело налетает кулацкая банда.

И старый рабочий большевик Токарев на вопрос, хватит ли сил в срок построить подъездной путь, отвечает:

«Знаешь, сынок... если говорить вообще, то построить нельзя, но не построить тоже нельзя».

Эти слова можно было бы вынести вперед и сделать эпиграфом к этой главе.

Стройка идет вопреки холоду и недоеданию, вопреки бандитским налетам, потому что это строительство — партийное задание.

В атмосфере героического труда загорается «упорнейшее состязание — борьба за первенство». Позже мы назовем его социалистическим соревнованием. Островский показал нам самое зарождение этого труда в

условиях, когда соревнующимся приходилось отбиваться от наскоков белогвардейских банд.

И так же, как в наше время, в дни расцвета социалистического соревнования, когда труд сделался делом славы, подвига и героизма, в те далекие годы, на заре нашего государства, люди работали энергично и весело, со смехом.

Приехав провести митинг строителей, один из руководителей партийной организации, Жухрай, говорит: «Митинг не нужен. Агитировать здесь некого. Правду ты, Токарев, сказал, что цены им нет. Вот где сталь-то закаляется!»

Именно в этой главе возникает центральный образ романа, его пышущее огнем заглавие. И не случайно рождается оно в сознании старого большевика, руководителя партийной организации. Это партия большевиков, сама рожденная в огне борьбы за коммунизм, закаляет новое революционное поколение.

Речь здесь идет не об одном Павле Корчагине — на стройке работают несколько сотен коммунистов и комсомольцев, они и совершают то, что, казалось бы, находится вне пределов человеческих возможностей. Так работали не только в Шепетовке, но и по всей стране: на первых субботниках Москвы и Ленинграда, на цементном, воспетом Федором Гладковым, заводе, на Урале и в Донбассе.

Идут годы, осуществляются пятилетки, давно уже лопаты и топоры сменены экскаваторами и электропилами, давно уже оседлали технику коммунисты и научили пользоваться ею всех советских людей. Но мы не перестаем с волнением читать о том, как разутые, раздетые, голодные коммунисты Шепетовки строили железнодорожную ветку, лопатами и кирками долбя промерзшую землю. Их чувства — это наши чувства, и труд их ведет к той цели, к которой мы уже близки!

Корчагин верхом на коне — он комиссар батальона — на страже советской границы; Корчагин в цехе; Корчагин на партийных и комсомольских собраниях, на съездах партии, в борьбе с уклонистами и врагами. Работы кругом невпроворот, пережитков старого

еще много, но «через двадцать лет у нас ни одной межи не останется». Так говорит Павел старику агроному в ответ на сетования, что «под межами десять процентов земли гуляет».

Услышав полный светлой уверенности ответ юноши, старик снисходительно улыбнулся, и мы восхищаемся этим юношей, который настолько овладел ленинизмом, что и тогда, когда только лишь окончилась гражданская война, уже видел наш сегодняшний день.

Вот Корчагин, молодой коммунист, пришел на братское кладбище, где похоронены его друзья, погибшие во время гражданской войны, и где по счастливой случайности не лежит он сам.

«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

С такими глубокими и строгими мыслями отправляется в трудовой поход Павел Корчагин, рядовой армии гениального Ленина. И то, что он думает, есть лишь наиболее яркое и острое выражение мыслей и взглядов всех бойцов этой армии.

Непримиримо суровый к врагам, Павел нежен и ласков с единомышленниками. Обращаясь к старым большевикам, Токареву или Чернокозову, он говорит «отец», для сверстников своих у него есть ласковое «братишка», «сестренка», «подружка». Пройдут годы — и сынком назовет Николай Островский в переписке Петра Новикова, своего партийного воспитанника.

Одна беда — болезнь. Все чаще и чаще выводит она из строя. Болезнь — следствие нескольких ранений, благородного, но нечеловечески тяжелого труда на стройке железнодорожной ветки, всего напряжения революционной эпохи, которую принял юноша на свои плечи...

Сначала он пытается бороться с болезнью лицом

к лицу. Она валит его, а он усилием своей стальной воли, воли коммуниста, встает. Нельзя ходить, но зато можно сидеть в седле, и, значит, можно продолжать командовать батальоном и охранять границу. Нельзя работать в цехе — можно подыскать другую форму работы. Партия поможет, партия поставит коммуниста на тот пост, где он принесет больше всего пользы.

А партия уже давно с участием, с вниманием, как заботливая мать, следит за своим сыном...

По опубликованной переписке Н. Островского ясно видно, как по заданию партии лучшие врачи, профессора стараются вернуть в строй заболевшего коммуниста — в Харькове, в Славянске, Евпатории, Анапе, Новороссийске, Мацесте, Сочи, в Москве.

Только одна мысль, одно побуждение владеет Островским — выздороветь, чтобы всего себя, без остатка, отдать партии, о которой он не случайно пишет в тех же выражениях, что и о своей семье.

«Вот, *дорогой* батьку (из письма к отцу), если поведет, так, поправившись, возвращусь и начну работать в *дорогой* партии...»

В замечательном письме к Новикову он говорит:

«...Если мне не удастся возвратить глаз, хотя бы один, к действию, то мне придется решать весьма тяжелые вопросы... я, как большевик, должен буду вынести решение о расстреле организма, сдавшего все позиции и ставшего совершенно не нужным никому, ни обществу, а тем самым и мне...»

Так пишет он суровым языком военного комиссара гражданской войны, для которого жизнь никогда не перестает быть сражением за коммунизм. Что делать? Раз не нужен обществу — значит и себе не нужен, такова железная логика коммуниста.

Болезнь превратила Николая Островского, по его выражению, в «сплошной клубок из боли и крови». Тело окаменевает, и слепая темнота все плотнее скрывает солнечный мир, но не исчезает ощущение борьбы, сопровождающее его всю жизнь, и болезнь воспринимается им, как натиск врага.

«Физически потерял почти все, остались только непотухающая энергия молодости и страстное жела-

ние быть чем-нибудь полезным своей партии, своему классу».

И это страстное желание непобедимо, чувство преданности партии делает чудеса.

По письмам видно, что слепнувший, все более погружающийся в неподвижность Николай Островский не сдается ни на секунду. Прикованный к постели, он работает дома с партийно-комсомольскими кружками и проходит заочный курс в комвузе.

«То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно. Это чушь! Я совершенно здоровый парень. То, что у меня не двигаются ноги и я ни черта не вижу, — сплошное недоразумение, идиотская шутка сатанинская! Если дать мне сейчас хоть одну ногу и один глаз, я буду такой же скаженный, как и любой из вас, дерущихся на всех участках нашей стройки!»

Одиннадцатого сентября 1930 года пишет он эти слова. В третий год первой пятилетки, когда воздвигались могучие заводы — первенцы пятилетки, когда деревня уже повернула на путь коллективизации, когда на всех лесах новостроек героически трудилась советская молодежь. Прикованный к постели, Николай Островский напряженно искал для себя пути участия в великих работах.

«У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь содержанием, необходимым для оправдания самой жизни, — пишет он своему другу П. Н. Новикову, и сдержанное волнение угадываем мы в этих словах. — План этот очень трудный и сложный».

Теперь мы знаем, в чем состоял этот трудный, сложный, исполненный благородства и дерзновения план.

«Для оправдания своей жизни» нужно показать людям непобедимую силу коммунистических идей, передать им то стремление быть полезным партии, которое переполняет душу. Для этого надо показать, как партия растила и воспитывала самого Колю Островского. Воплотив себя в образе такого же, как он, парня, показать, как этот парень все свое счастье видел в том, чтобы отдавать свою жизнь делу партии, а ко-

гда болезнь вывела его из строя, сделал все, чтобы вернуться в строй.

«Я пытаюсь из глубокого тыла перейти на передовые позиции борьбы и труда своего класса... Это будет последний и решительный...» — так, словами коммунистического гимна, заканчивает он свое письмо, теми словами, которые тогда, когда Николай Островский писал свой роман, победно гремели на заводах и стройках, досрочно завершавших первую пятилетку, — на Сталинградском тракторном и на Ростсельмаше, на Днепрострое и на Уралмаше, в Керчи, в Днепропетровске, в Донбассе и Кузбассе.

Под гул победных сводок писал роман Островский, и мог ли автор, идущий со словами коммунистического гимна на «прорыв железного кольца болезни», не победить?!

«Неужели, — думаю, — мне счастье подает руку и [я] из глубокого архива перейду в действующую армию? — пишет он. — Вперед, к труду... Пожмите крепко мои руки, товарищи! Моя победа — ваша победа! Слышите, как горячо стучит мое сердце?»

Да, весь Советский Союз слышал биение этого мужественного сердца. Островский по-прежнему неподвижно лежит в постели, а Павка Корчагин шагает по стране, по всему миру...

Закончив «Как закалялась сталь», Островский приступил к работе над новым романом — «Рожденные бурей», который потребовал от него активнейшего изучения обстоятельств времени и места действия романа.

Идеями пролетарского интернационализма проникнут этот роман, в основу которого положена драматическая ситуация, характерная для той бурной эпохи. Автор использовал события классовых боев и военных столкновений для построения острого сюжета. Однако острота сюжета отнюдь не снимает, как это подчас случается в литературе, содержательности произведения. Вот, например, группа комсомольцев, которой было поручено сторожить взятых в плен шляхтянок, в результате недопустимого благодушия и ротозейства сама попадает в плен к белополякам, —

и читатель прекрасно усваивает жестокий урок, ему преподанный...

Когда при посещении Островского в Сочи речь зашла о второй книге романа и кто-то из нас задал вопрос, касающийся панской Польши, Николай заговорил о ней так, как будто старая Польша находится где-то здесь, в комнате, рядом с ним, с ее жестоким эксплуататорским строем и умным, талантливым, полным жизненных сил народом.

С полузакрытыми глазами, еле шевеля своими наполовину парализованными пальцами, он лежал в полутемной комнате, испытывая мучительные страдания, при жизни превращаясь в камень. Но из глубины этого окаменевшего тела неустанно звучал голос — звонкий, нежный, добрый, бодрый. Те, кто слышал его, никогда не забудут этот голос, зовущий к борьбе:

«Мрачные тучи нависают над миром. Фашизм, топором и веревкой стремящийся повернуть мир к средневековой, готовится ударить по нашим границам».

И Островский, который не переставал чувствовать себя боевым пограничником, загорался гневом:

«И если фашизм, эта бешеная собака, бросится на священные рубежи Советского Союза, то вся страна встанет на защиту своих границ и миллионы молодых бойцов встанут под ружье. Это будет народная война...»

Павел Корчагин привел к Островскому множество новых друзей: тысячи, сотни тысяч читателей обращались к человеку, создавшему Павла Корчагина, хотели слышать его слово, выразить ему свою любовь и уважение.

Случалось порой, что к нему обращались в тяжелую минуту личного горя за утешением. И с какой заботой, с каким тактом умел найти он это слово утешения!..

«...я в своей жизни тоже испытал горечь измен и предательства, — пишет он одной своей корреспондентке. — Но одно лишь спасало — у меня всегда была цель и оправдание жизни — это борьба за социализм. Это самая возвышенная любовь».

«Посмотрите (так он, слепой, обращается к зряче-

му!), как прекрасна наша жизнь, как обаятельна борьба за возрождение и расцвет страны — борьба за нового человека. Отдайте же этому свою жизнь, и тогда солнце опять приласкает вас!»

Известно, что у Островского был план литературной работы примерно на десять лет вперед. Вслед за окончанием романа «Рожденные бурей» он предполагал начать работу над книгой, которая должна была стать продолжением романа «Как закалялась сталь». Он хотел назвать эту новую свою книгу «Счастье Корчагина».

Роман остался ненаписанным. Но прочтите переписку Николая Островского в тот период, когда он, опубликовав «Как закалялась сталь», вышел в шеренгу передовых деятелей коммунизма, перечитайте его статьи, речи — и вы убедитесь, что этот роман все же воплощен в жизнь.

Вот статья «Мой день». Она начинается с трагического описания пробуждения, когда исчезает сон, «в котором я, молодой, сильный, мчался, как ветер, на боевом коне навстречу восходящему солнцу».

«Острая физическая боль обрушивается на меня стремительной атакой, жестокая и неумолимая. Я инстинктивно делаю первый жест сопротивления — крепко сжимаю зубы».

И сопротивление началось. Каждый звонок телефона, каждое письмо из утренней почты — это все руки помощи.

«Прочь страдания! Утренняя короткая схватка кончается, как всегда, победой жизни».

И, как описание битвы, бодро и воинственно развертывается описание дня:

«Меня выносят в сад, под тень деревьев. Здесь уже все приготовлено для работы. Спешу жить. Вот почему все мои желания стремительны».

Чтение газет, сначала зарубежных известий:

«Душно в Европе. Пахнет кровью... Мир лихорадочно вооружается. — Довольно. Читайте о жизни нашей страны!»

Так идет боевой день.

«Сейчас поздний вечер. Завтра мы празднуем во-

семнадцатилетие нашей красавицы Советской страны... Эта годовщина — самая счастливая в моей жизни. В эти дни республика прикрепит мне орден Ленина. Там, где стучит счастливое сердце. Как прекрасна жизнь!»

В беседе с редактором Островский сказал:

«...есть одна великая идея, которая не только одного человека, а целые народы может сделать богатырями. Это великая идея коммунизма, борьба за народное счастье. Я горжусь, что я большевик, член партии Ленина — Сталина. Поэтому я человек и могу жить как Человек. Я не для красного словца сказал, что я счастлив».

За неделю до смерти, в день, когда разразился последний, губительный для его жизни припадок болезни, Николай Островский позвонил в редакцию «Комсомольской правды» и спросил:

— Держится ли Мадрид?

И, получив ответ, что Мадрид держится, сказал:

— Молодцы, ребята! Значит, мне нужно держаться... — И добавил с грустью: — А меня, кажется, громят...

Единоборствуя со своей страшной болезнью, он отождествлял ее с фашистскими полчищами Франко, и это одушевляло его — до самой последней минуты ощущал он себя в революционном строю.

Николай Островский превратил свою постель в поле битвы и погиб, как подобает революционеру: стойкость перед смертью была его последней службой делу революции.

1953 год

Рассказ о Юриш Крышове



I

Это странное происшествие, которое долго обсуждалось жильцами квартиры, произошло в час, когда взрослые еще не вернулись с работы и дома оставались только дети да две бабушки, заканчивавшие на кухне приготовление обеда. У парадной двери резко позвонили, и четырехлетняя девочка, которой открывание дверей казалось самым увлекательным делом, побежала открывать. Она еще не усвоила, что нужно сделать сначала — спросить «кто там?» или открыть дверь. И когда открыла, она перед собой увидела высокую фигуру в длинном черном пальто.

— Я из коммунхоза, техник. Пришел ознакомиться с печами. Как у вас действует калориферное отопление?

Но, вслушиваясь в эти взрослые, заведомо непонятные слова, предназначенные для бабушек, которые уже показались в конце коридора, девочка, задрав голову, рассматривала этого нового человека. Он снял мягкую шляпу, голова у него была приятно округлая, он улыбался и точно просил о чем-то своей улыбкой, а его веселые глаза глядели куда-то поверх бабушкиных голов. Обе бабушки в сравнении с этим человеком казались очень маленькими, хотя одна из них, Ирина Григорьевна, была «хорошего женского

роста», как она сама говорила о себе. Учительница-пенсионерка, она побывала в молодости за границей и постоянно об этом рассказывала и обеим дочерям, и мужьям их, и внукам, и всем соседям по квартире.

После того как техник ушел и взрослые вернулись со службы, Ирина Григорьевна стала утверждать, что с первого взгляда заподозрила что-то неладное в этом странном человеке. Но, сказать по правде, техник с самого начала расположил и ее в свою пользу. Она даже рассказала ему что-то о калориферном отоплении в Англии. Другая же старушка, Павловна, так и продолжала стоять на своем, что техник этот был особенно хорош и заботлив и очень правильно, что коммунхоз прислал такого хорошего и доброго человека. Детям тоже нравилось то, как звонко постукивал техник какой-то железкой по старинным ребрастым калориферам и при этом нагибался, щурился и таинственно посвистывал, и было видно, что он слышит то, чего никто, кроме него, услышать не может. «Все сделаем, все исправим», — отвечал он бабушкам.

Но технику полагалось бы интересоваться только печами, а Ирина Григорьевна заметила, что глаза техника «так и бегали», что он с каким-то странным выражением, как будто разыскивая что-то, осматривал то потолок, то стены. Особенно встревожило ее, когда техник привычно ловким движением нащупал дверь в чуланчик, незаметную для человека, незнакомого с квартирой.

— Здесь у нас отопления нет, — сухо сказала Ирина Григорьевна.

— А... Ну, конечно, нет. Я знаю, — ответил он, взглянув на нее своими блестящими серыми глазами.

«Откуда он может знать? А если знает, зачем заглядывает?..» Она вдруг почувствовала, что этот техник чем-то не такой, каким полагается быть технику. Что-то уж слишком много веселого озорства было в его серых глазах. И когда техник, уже направляясь к выходу, опять вернулся и заглянул в крайнюю угловую комнату, в которой жил любимый зять Ирины Григорьевны, плановик-экономист, старушка, отстра-

нив техника, обидно просвистела: «Простите». Техник забавно крутнул головой и почти бегом направился к выходу.

II

«Старуха, конечно, была права. В вопросах калориферного отопления я показал себя дилетантом. Хорошо еще, что милицию не вызвала. Вот тогда бы пришлось объяснить, что я-де инженер Беклемишев, который прибыл из Москвы в Ленинград только для того, чтобы побывать в квартире, где в 1908 году родился и где прошло мое раннее детство...»

Вот парадная дверь; ее наново обили, но площадка все та же: здесь писательница Вера Евгеньевна Беклемишева, мать Юрия, не раз заставляла маленького сына. Он глядел вниз, в пролет, висел над пятиэтажной пропастью.

— Что ты делаешь?

— Дай же мне пострашиться, мама!..

Очень страшно — смотреть вниз, в пропасть лестничного пролета, но пересиливать страх было хотя и жутко, но приятно.

— Упоение в бою и бездны мрачной на краю? — спрашиваю я у Юрия.

— В бою! — отвечал он, смущенно краснея. — Бои у нас еще впереди, а меня за все подобные «бездны» не мешало бы высечь: как испугалась бедняжка мама, когда увидела меня идущим по тоненькой арке железнодорожного моста через Москву-реку! Мы жили на Воробьевых горах, мама учительствовала в школе. Мне было тогда тринадцать лет... А все-таки как приятно было идти! Что приятно? — спрашивал Юрий сам у себя, настойчиво, строго. И со смущением отвечал: — Приятно, что за тебя боятся, а ты хоть и сам боишься, но презираешь страх — можешь сверзиться черт знает с какой высоты и насмерть разбиться и все-таки идешь над бездной, а в голове ясность, какая бывает только в такие минуты. Любимым героем моим был тогда Сирано де Бержерак, веселый, великодушный драчун. Когда я последний раз дра-

ся? Неужели так давно, в студенческие времена, когда у нас на улице была создана организация по борьбе с хулиганством и школьники прибегали с криком: «Юра, заступись!» Я бросал занятия, надевал майку, и надо признаться, нет большего удовлетворения, чем вышить финку или кинжал из подлой руки или своротить скулу какому-нибудь молодчику, который храбр только со слабыми. Да, драки были серьезные, и мама расписывала ожидающий меня жалкий жребий: «Погибнешь в уличной драке!» И спрашивала: «Когда ты изживешь свой пиратский период?»

На летние каникулы Вера Евгеньевна Беклемишева усылала сына в Коктебель, к приятельнице своей Марии Степановне Волошиной.

Разве можно забыть многочасовые поиски разноцветных камешков на берегу, в солнечных бухтах Коктебеля, поиски, после которых даже ночью слышишь, как сухо шуршит галька, и перед глазами мелькают камешки, глазастые, радужные и дымчатые? Заплывы в глубь моря, прогулки в окрестные голубые горы, с каждым годом все более отдаленные и рискованные.

То было время, когда поэт и художник Максимилиан Волошин, первооткрыватель этой страны Голубых гор, навсегда поселившись в ней, и описал, и воспел, и зарисовал ее, и она на некоторое время стала Меккой и Мединой для целой кучки тогдашней поэтической молодежи, проводившей здесь свой отдых в играх, подражавших греческим мистериям, играх, являвшихся поэтической переключкой с античными и скифскими временами. Юноши и девушки выросли, они делались известными писателями, переводчиками, учеными-филологами Советской страны, забавы и игры юности казались им смешны и старомодны. Они посмеивались над своими юными забавами, над посвященными Коктебелю стихами и все продолжали, как продолжают и сейчас, ездить в Коктебель и возить туда своих детей, благо Литфонд построил там один из любимейших писателями Домов творчества.

Одним из таких «коктебельских» детей и был Юра

Беклемишев. Он с детства рос в атмосфере влюбленности в коктебельскую, неповторимо чудесную, какую-то даже небывалую природу, в атмосфере обожествления искусства. Но искусство это имело на себе явственный отпечаток декадентства, а Юрий приезжал в Коктебель, напившись бодрыми и утверждающими жизнь впечатлениями московской советской жизни. И хотя в памяти его навсегда сохранился и сам «святой Макс» в своем хитоне (который и хитоном-то не был, а был просто холщовой длинной рубахой), с пыльным веночком на крупно кудрявой, уже седеющей голове, и он, как родную, любил деятельно добрую и заботливую жену писателя Марию Степановну, но, живя в доме Волошиных, в самом центре этого причудливого мирка, этот загорелый мальчик в вылинявшей до белизны майке, с озорными и яркими глазами как на добрых и безобидных чудаков глядел на коктебельских жителей.

Его гораздо сильнее влекли к себе рыбацьи сети, развешанные на берегах бухты, и когда он видел, как по утренней ряби залива уходят в глубь моря парусные баркасы, его тянуло вслед за этими парусами, туда, в синюю глубину морей. Так вскоре и стало. Юрий уходил с рыбаками на промысел... И вот он уже, как все рыбаки, вместе со взрослыми тянет сети из морской пучины, выбрасывает в море мелкую рыбешку и с восторгом взвешивает на руке трепещущую, тугую и прохладную добычу и вместе с рыбаками варит уху на берегу, а потом долго слушает у костра рассказы о рыбах, о море, о бурях, о морских дивах. Среди рыбаков есть бывалые матросы, а где матросы, там рассказы о гражданской войне, о подвигах... «Но разве я так не могу? Я так тоже могу!» — говорит отважное юное сердце.

Однажды Юрий законтрактовался на охоту за дельфинами. Его взяли мотористом. Ветер, непрестанные всплески воды. Дельфины, как зубчатые колеса, вертятся на поверхности воды, не подпускают близко, не уходят с поверхности моря, ведут опасную игру, но и ты тоже хитри: то заглуши мотор, то стремительно разгони лодку и дай возможность охотнику всадить

меткую пулю в егозливого морского зверя. Тогда и случилось то, что запомнилось Юрию на всю жизнь... Началось широко прокатившимся по воде гулким звуком, как будто в море откупорили что-то, и, оглянувшись, Юрий увидел, что другая моторка, тоже охотившаяся за дельфинами, охвачена голубоватым пламенем. Вспыхнул бензин в баке! Скорее на помощь! Юрий повернул лодку...

— Куда ты? — сразу грубо окликнул его один из охотников.

Первое, что испытал тогда Юрий, было удивление: но ведь там же товарищи? И сразу чувство гнева и возмущения. В такие минуты все совершается очень быстро. Юрий на ругань ответил руганью, но продолжал вести свою моторку к месту пожара, подходя к горячей моторке с подветренной стороны. В голове полная ясность, грудь дышит с наслаждением, и где-то глубоко — щекотка восторга. К нему, самому младшему на моторке, сама собой перешла команда, все его стали слушать, даже трус устыдился и выражение скотского страха схлынуло с его лица. Тогда впервые наслаждение опасностью сменилось для Юрия более высокой радостью — прийти на помощь гибнущим людям, самому подвергаясь опасности.

Так выказал себя героический характер, так возникло маленькое и почти незаметное зернышко будущего литературного замысла.

А крылья все крепнут, силы растут! И вот совершается неизбежный первый вылет из родного гнезда. Юрий тайком от взрослых отправляется в Феодосийский порт, поступает юнгой на корабль, высаживается в незнакомом порту, сам зарабатывает себе на пропитание, а когда пришло время вернуться в Коктебель, вновь поступает матросом на судно. Теперь он уже вправду матрос, у него под курткой, которую он носит, как бушлат, полосатая тельняшка.

И потом, приезжая в деревенскую глушь, в Карманово, в глухие гжатские леса, где доживала свой век старушка, нянчившая Юрия, он никому не сообщает, что стал уже студентом физико-математического факультета, и называет себя — матросом!

А между тем он переходил с курса на курс и окончил физико-математический факультет настолько успешно и так основательно усвоил специальность, что в июне 1935 года его пригласили участвовать в научно-исследовательской работе государственного значения.

После окончания университета молодой инженер уже поработал в области автоматики и телемеханики, а потом в Наркомате связи по строительству и монтажу радиоустановок. Тема, поставленная перед молодым студентом, сразу заинтересовала Юрия: предстояло исследовать возможность электрической деэмульсизации нефти и обработки ее в электрических полях высокой частоты.

Профессору понравился этот рослый парень, еще не вполне освободившийся от некоторой угловатости подростка: он был прост и легок в разговоре, в его глазах постоянно присутствовало живое и веселое любопытство. С первых же шагов совместной работы Юрий обнаружил не только высокую теоретическую культуру, но и то, что у него были поистине золотые руки: он все мог сделать сам. Профессор сразу же подметил эту особенность, которая выделяет талант среди посредственностей, — эксперимент Юрия был точен и изящен. Юрию же аппаратура и методика, применявшиеся до его прихода, показались громоздкими, и он решил применить ликвидированный в радиотехнике искровой разрядник. В результате первый аппарат для разбивки эмульсии — фарфоровая ступочка, обложенная станиолевым электродом, выглядела настолько немудро, что была фамильярно названа «чикалкой».

В маленькой лаборатории с утра до глубокой ночи раздавался оглушительный треск разрядника, остро пахло озоном, и, весь в искрах разрывов, в черном длиннополом халате, вымазанном нефтью, Юрий настойчиво повторял опыты.

— Должно получиться что-то смешное, — уверенно говорил он.

Профессора и его молодого сотрудника беспокоило то, что для опытов они на первых порах пользовались

искусственными эмульсиями, полученными путем смещения в центрифугах нефти с водой. Эта эмульсия легко разбивалась и, слитая в стеклянную колбу, быстро расслаивалась на чистую нефть и воду. Но через две-три недели удалось получить с нарочным из Баку четыре запаянных бидона самой стойкой эмульсии. Юрий сам получил эти бидоны от проводника вагона на Курском вокзале. Он ворвался в лабораторию, нетерпеливо в клочья разорвал упаковку с бидонов, вскрыл один из них, налил в ступку ярко-желтую, остро пахнущую бензином нефть, включил рубильник трансформатора, и... после нескольких минут работы лица экспериментаторов вытянулись — из эмульсии вода не выделилась. Итак, метод потребовалось видоизменить и для этого выяснить причину неудачи. После многих дней упорной, казавшейся безнадежной работы причина неудачи была выяснена, и Юрий снова предложил усовершенствование прибора. Установка стала работать вполне удовлетворительно. Ученые получили возможность глубже заглянуть в естественные процессы. Профессор в полной мере оценил своего помощника.

У Юрия было еще одно преимущество — он побывал уже на Апшероне, на Каспии, где работал по налаживанию радиопередатчиков на нефтеналивных судах, так называемых танкерах, которые были еще тогда в новинку в Советском Союзе, Юрий плавал на них между Баку и Дербентом в 1933—1934 году. Он всегда любил море, но к рассказам о работе на танкерах, о быте команды на этих своеобразных судах подмешивалось еще что-то: размышление и восхищение. Впрочем, так же он говорил обо всем, что имело отношение к Каспию, к Баку, к нефти, он любил этот своеобразный край, загорался, когда говорил о нефтяниках, и что особенно сближало профессора с его молодым учеником — любил нефть, прекрасно знал и ее физические свойства и понимал ее могущественную роль в сегодняшнем и завтрашнем дне истории человечества.

В экспериментальную работу, требовавшую настойчивости, Юрий привносил веселье ребяческой иг-

ры. Производя опыт, Юрий в своем длиннополом халате имитировал китайского фокусника, каких в пору его детства много бродило по Москве, и бормотал: «Сарика есть, сарика нет».

В результате тысячи опытов с октября 1935 года до июля 1936 года вместо «чикалки» был сконструирован производственный макет установки.

III

«Когда-то научная работа представлялась ему (герою неопубликованной повести Ю. Крымова. — Ю. Л.) в виде изобретательства. Изобретение — от слова «брести». Брел (наугад), изобрел — удача, случай. Казалось, достаточно найти удачную мысль, остальное пойдет само собой. Теперь он знает цену удачной мысли. Она приоткрывает возможность — не более. Каждый день он чувствует, как направляется извне путь его исканий. Эти внешние влияния оставили после себя искавшие до него, те, кто достигали цели или только проложили дорогу другим...

...Подвиг давался им ценою отрешения от повседневных радостей жизни, отказа от бездумного отдыха, ценой медленного сгорания на пути к намеченной цели».

Подвиг? Да. Любимый герой юношеских лет, драчун и вдохновенный задира Сирано де Бержерак, потускнел, отступил на задний план. В лаборатории профессора зарождается другой образ, он не навеян чтением и не является романтическим отражением веселого бродяжничества у черноморских берегов. Этот образ вырос из глубины душевной жизни Юрия Беклемишева. Это молодой советский ученый Алексей Берзин. Это ему подвиг дается ценой отречения от повседневных радостей жизни.

«Изо дня в день утром все сделанное вчера кажется почему-то неполноценным... И после каждого удачно проведенного опыта он осторожно подготавливает себя к возможной неудаче». Алексей Берзин «не заме-

чает погоды, на ходу немного сутулится, разбрасывает длинные ноги, машет портфелем, держа его на вытянутой руке, и при поворотах машинально огибает углы. Толкая прохожих, он на ходу сердито бормочет извинения и, только пересекая улицу перед воротами института, быстро взглядывает направо, налево, на бегу придерживая рукой очки.

И все же в ощущениях Алексея Берзина есть какое-то сродство с ощущениями того озорного мальчишки, который шел по стальной балке, ежеминутно рискуя оборваться в реку. Дойдет или не дойдет? Но тот мальчишка, хотя и на несколько минут, приковывал к себе всеобщее внимание. Об одиоком и опасном пути Алексея Берзина никто не знает и никто не узнает до тех пор, пока намеченная цель не будет достигнута, пока не придут признание, слава. А сейчас даже самого близкого друга невозможно убедить в целесообразности своей работы, и вот самый близкий друг начинает рассматривать Алексея Берзина как человека, оторвавшегося от масс, от сегодняшнего политического дня, ему начинает казаться, что Алексей Берзин ищет подвига только для самого себя. И человек, который вчера был лучшим другом, наносит Берзину жестокий удар, объявляет его перерожденцем.

А все-таки откуда у Алексея Берзина ощущение такого одиночества? И, может быть, все-таки прав придирчивый и жестокий друг Алексея Берзина Рябчинский, когда говорит: «Вчера я случайно попал на Остоженку, там открытым способом прокладывают линию метро. На деревянных мостках через улицу прохожие останавливаются, они смотрят, как в котловане копаются метровские девчата. Это вчерашние домработницы, девушки без определенных занятий, колхозницы. Вчера они ничего не умели, а сегодня ловко, как пауки в паутине, вяжут арматуру. Прохожие наблюдали новую человеческую формацию. Ее можно наблюдать всюду, и она доброкачественна в огромном большинстве». Алексей Берзин, пожалуй, всего этого не чувствует, а «подвиг разве дается тому, кто хочет его для себя?»

У Алексея Берзина есть брат Костя, молодой летчик. Это очень незамысловатый парень, и даже самый снисходительный человек не сможет удержаться от порицания, если ему рассказать хотя бы об отношении Кости к женщине, которая его любит, да и вообще к женщинам. Но вот как Костя показывает себя в решающий час испытаний при выпуске из летной школы. Чтобы предотвратить аварию нескольких самолетов, Костя, зная, что почти наверняка идет на верную гибель, вывел из летного строя свой самолет. И Косте приходится погибнуть.

Представитель УВВС говорит начальнику авиашколы:

— Благодарю вас за то, что вверенная вам эскадрилья воспитывает людей, способных на истинный подвиг...

Первая повесть Юрия закончена и названа «Подвиг». Избран псевдоним — Крымов: пусть в этом наименовании сохранится солнце, ветер, море... А может быть, и память о том случае во время охоты за дельфинами.

Повесть интересна, но еще очень несовершенна. Три главных действующих лица внутренне разобщены, у каждого из них, в сущности, своя правда; та могущественная пружина, которая движет обоими братьями Берзиными и придирчивым другом их Рябчинским, — она лишь названа...

Сам автор в это время живет куда богаче своих героев, сливая их всех трех в своей душе. Работая в лаборатории, он то и дело выходит за ее пределы. Для испытания изобретенного аппарата инженеру-конструктору Беклемишеву приходится выезжать то в Таджикистан, на новые месторождения нефти, то снова возвращаться в Баку. Из лаборатории нужно переходить к практике — и порою самой житейской. Надо заинтересовать в новом изобретении работников треста в Сураханах, и Юрий сумел это сделать. Он сам монтировал новую установку полузаводского типа производительностью пятьсот тонн в сутки — она должна доказать практическую осуществимость и пользу нового изобретения.

Юрий не пренебрегал никакой работой. Когда надо было включить линию, он сам лазил на столбы. С удовольствием таскал он тяжести вместе с черно-рабочими. Черноморские рыбаки, крестьянские парни в Карманове, нефтяники всех национальностей в Таджикистане и в Баку — он всегда ценил общество людей, тяжелым мускульным трудом зарабатывающих хлеб свой, и гордился тем, что в любой среде трудящихся людей его принимают как своего.

IV

В Баку всегда было интересно... Сотни тысяч людей приходили сюда со всех концов страны: русские, украинцы, турки и армяне; работа всех сливалась воедино и преобразовывала толпы разрозненных людей в стройные когорты рабочего класса. В 1935—1936 годах, когда Юрий осуществлял в Сураханах свою ползаводскую установку и следил за первыми ее шагами, эти процессы приобрели особенную глубину и значимость. Это было время возникновения стахановского движения, и Юрий стал активным участником этого движения, — ведь в напряженной работе по проверке на практике своего изобретения он, инженер-конструктор и экспериментатор, шел в одном ряду с передовиками стахановцами, опираясь на них и поддерживая их.

Люди, работавшие рядом с молодым инженером, не знали, что имеют дело с молодым писателем. С «Подвигом» не вышло, но что с того! Путь выбран, задора и упорства не занимать, а жизнь каждый день громоздит вокруг замечательные дела, которые так и просятся на бумагу.

Здесь-то Юрий и встретился с Басовым, вернее — вообразил его себе, собрал его из многочисленных встреч и рассказов.

Басова в это время еще гонят и преследуют косные бюрократы. Но в Донбассе, на шахте «Ирмино», Алексей Стаханов уже совершает свой трудовой подвиг. Басов несколько разнится от Стаханова. Басов —

инженер, техник, а не рабочий, каким был герой «Ирмино». И он соединяет в себе черты Стаханова с чертами ближайшего его друга, большевика Дюканова. Выросший уже в советскую эпоху, Юрий с молодости усвоил, что ни одно большое дело не может удасться без организующей и направляющей руки партии. Потому Басов не только производственник-изобретатель и экспериментатор, не только сам новатор, он приходит на помощь всем новаторам, которых видит вокруг себя. Он большевик — организатор нового замечательного движения. Сам еще беспартийный, Юрий своего героя делает членом партии. Он придает ему черты лучшего передового коммуниста.

Характер героя настолько сложился, что нетрудно представить себе, как поступит он в том или ином случае. Но случаи эти еще разрознены, друг от друга независимы, события еще не следуют друг за другом в строгой последовательности, выражая единый процесс. Нужно, чтобы с Басовым произошло такое событие, которое показало бы его во всей его душевной красоте и подняло бы из пестрой суеты повседневности. Подвиг Алексея Берзина, совершаемый в тиши лаборатории, должен соединиться с самоотверженным подвигом брата его Кости. Басов должен быть свободен от тех упреков, которые Рябчинский делает Алексею Берзину. Басов крепко связан с коллективом, он жертвует собой за товарищей, за все великое дело страны.

И вот такое событие на Каспии происходит. Оно в свое время вызвало немало шума, преступников судили, героев отметили, все это происшествие нашло отражение в печати. Случилось примерно так, как это описано в повести Юрия Крымова, но автор в соответствии с идеей повести, конечно, многое изменил и много привнес своего.

Итак, танкер — место действия, команда танкера — действующие лица. Море, однообразные рейсы: Баку, Дербент, Астрахань, Махач-Кала. Но именно потому, что круг так узко очерчен, с особой выпуклостью видны те грандиозные процессы, которые происходят во всей стране.

В то время на Каспии были танкеры передовые и были отсталые, но стремившиеся выравняться по передовым. Среди этих отсталых был и танкер «Профинтерн», на который отправился Юрий, — раньше, чем начать писать, он решает освежить свои впечатления, собрать новый материал. Танкер должен был из самого отсталого, где люди не знают цены ни друг другу, ни каждый себе самому, превратиться в передовой. Именно поэтому Юрий и выбирает «Профинтерн». Юрий начинает вести точные и кропотливые записи с того первого момента, когда он увидел «Профинтерн» издали, во время погрузки; танкер кажется грязным и ржавым, желтые мачты держатся неподвижно в воздухе, несмотря на зыбь. Судно поднимается высоко из воды, и перекинутые сходни — узкие, без перил — лежат круто, под углом 60°. Подробно записал Юрий работу всех механизмов: пока еще не известно, что понадобится для будущей повести, и потому нужно заранее приготовить все материалы...

К этим-то механизмам и стал приглядываться Басов. Он одинок и покинут друзьями и женой, но он остался тем, чем он был всегда, — он изучает механизмы танкера и уже знает, что с ними можно сделать, чтобы танкер работал лучше. Для этого надо обратиться к людям: «Сбродом» называют себя люди на танкере, но в нашей стране для каждого человека открыты неисчерпаемые возможности совершенствования. Живой и благородный азарт социалистического соревнования подчиняет людей, движет их вперед, заставляет работать все дружнее, делает каждого лучше, объединяет их. Не всех, конечно, есть там и приспособленцы, неисправимые шкурники. До поры до времени они надели маски советских людей, но вот настает критический момент — и маски сброшены. Эти-то люди и пытаются обрубить трос и бросить погибающих товарищей, но на танкере уже сложился коллектив советских людей, чужаки и шкурники отброшены от руководства и разоблачены, коллектив танкера проявляет себя героически, после испытания делается он еще сплоченнее.

Совершая свой подвиг, Басов совсем не предпола-

гал, что в результате этого подвига он вернет себе Мусю. Но ведь Басов не переставал любить Мусю, не переставал мечтать о ней. Почему же он не домогался ее, не гонялся за ней? Но тогда он должен был бы перестать быть тем Басовым, которого создал Крымов. Обнаружив, что любимая женщина его не понимает, Басов не стал выпрашивать любви — он ушел, доделал свое трудное дело до конца и заставил ее, таким образом, понять, за что же она любит его. Этим и утверждается и новизна характера Басова и новизна той морали, носителями которой являются люди, подобные Басову.

V

Летом 1938 года я работал в редакции журнала «Красная новь». Мне прислали на дом увесистую кучу рукописей из «самотека», и Анна Соломоновна Брауде, секретарь редакции, попросила поскорее прочесть одну из них, так как автор ее, инженер, должен на днях уехать в длительную командировку в Баку и хотел бы, если возможно, получить, пусть первоначальную, оценку редакции.

Наступил уже летний вечер, в окно потянуло прохладой, и так как я жил на первом этаже, то в отрывочных речах и восклицаниях, раздававшихся совсем близко, в звонком стуке каблучков по тротуару слышалась особенная, лихорадочная веселость летних вечеров. Но для того, чтобы выйти на улицу, я уже чувствовал себя усталым, а спать еще не хотелось, — вот я и решил взять рукопись неизвестного мне инженера, уезжающего в Баку...

Я прочел «Танкер «Дербент» не отрываясь. Была уже глубокая ночь, и за окном все затихло, а мне совсем не хотелось спать, и я, отлично понимая, что поступаю несолидно, набрал номер домашнего телефона В. В. Ермилова, тогда редактора «Красной нови», и на его недоуменный и, пожалуй, даже несколько раздраженный вопрос ответил, что решился потревожить его так поздно, так как в руках моих находится замечательная рукопись, что в советской литературе

появился новый молодой писатель, который принес в литературу новое слово. Я говорил, что произведение это будет радостным событием и для нашего журнала и для всей советской литературы. Ермилов по тому, с каким волнением я говорил с ним, понял, что я не считал бы возможным по пустякам беспокоить его поздно ночью, и сам стал меня расспрашивать.

А я... я испытывал глубокую и очень личную радость, хотя даже еще и в лицо не знал этого неизвестного инженера. Не так давно потеряли мы Якова Ильина, успевшего в своем предсмертном романе «Большой конвейер» поставить первые вехи советского «производственного» романа. Намечавшаяся тенденция эта словно вдруг оборвалась — и вот она подхвачена, продолжена...

Да, Крымов сумел в «Танкере «Дербент» производственный мотив сделать лейтмотивом романа. Но что особенно радовало — это то, что в стахановце Басове мы узнали все тот же развивающийся вместе с ходом революции образ коммуниста, вожака и организатора масс. Идеиной преемственностью связан Басов с коммунистами гражданской войны — и с Федором Клычковым Фурманова и с Левинсоном Фадеева. Это была та традиция, за которую я сам как мог боролся в литературе. И вот она одержала еще одну победу, она продолжалась, — и отсюда то глубокое удовлетворение, которое я испытывал.

...Автор «Танкера «Дербент» стоит передо мной. Высокий, сухощавый, широкоплечий и немного сутулый. Что-то странное есть в его широком, румянном лице с близко поставленными яркими глазами, которые словно светятся из-под кепки. Слушая меня, он старается сдерживать улыбку торжества, в улыбке этой есть и неуверенность и радость.

Был тот ранний час, когда в редакции не было посторонних и я мог бы без свидетелей сделать то, что мне хотелось сделать, — обнять и поцеловать этого худощавого, долговязого, с лысеющей головой и юношеской улыбкой человека. Но сдержанность, сдержанность... Перехвалить опасно, можно повредить тому, кого от души хвалишь... И я лишь пожал ему

руку и поздравил с успехом, — и мгновение, когда живой радостью неудержимо заискрились эти смелые, умные, добрые и озорные глаза, останется одним из незабываемых мгновений моей жизни.

Юрий уехал в Баку, мы условились переписываться. Привожу здесь некоторые избранные места из его писем, такие места, которые помогут читателю яснее представить себе, каков был сам Юрий Крымов, каковы его взгляды на жизнь и на писательское дело.

«...Здесь, у себя, я взялся за новую вещь, которую начал в марте. Со временем дело обстоит довольно удачно, вечера обычно не заняты производством. Но дело идет очень медленно и мучительно. Тема, которую я выбрал, гораздо сложнее прежней и захватывает более значительные события. Иногда мне кажется, что задача мне не по плечу. Но попытка не пытка, и даже неудача не пройдет для меня бесполезно. Изобразить то, что происходило за последние полтора года в моем любимом Нефтяном городе, — это очень заманчивая перспектива.

Помню Ваш совет — работать над обогащением словесного материала, и в то же время не увлекаться цветными безделушками. По приезде в Москву я бы хотел зайти к Вам поконсультироваться. Если Вы ничего не имеете против, то я найду в редакцию, предварительно позвоню. Это будет, вероятно, в июле.

Здесь сейчас я наблюдаю очень интересное явление. Внедряется на промыслах автомат для глубокого бурения. Этот механизм освобождает бурильщика от тяжелого труда и увеличивает скорость проходки. Тем не менее бурильщики встретили автомат в штыки. Дело доходит до того, что снимают со станков вилки управления и закидывают в степь. Это, конечно, единичные случаи хулиганства, но в общем отношении к автоматам отрицательное. Люди больше надеются на свои органы чувств, чем на замысловатую электрическую машину. На промыслах царит убеждение, что бурение — это искусство. И вдруг вместо мастера ставят машинку! Мастера ворчат, появляются скептики и пытаются подвести под эти настроения псевдонаучную основу. Ссылаются на американские

авторитеты и т. д. Однако кое-где уже намечается перелом. Один азербайджанец махнул рукой на авторитеты и пробурил автоматом глубокую скважину без искривлений и аварий, с приличной скоростью проходки. Скептики сконфужены. Присматриваясь ко всей этой истории, я пришел к убеждению, что автомат пойдет. Люди на промыслах уже не те, что были в 1935 году, совсем, совсем другие. И автоматика в нашем производстве совсем не то, что в капиталистическом. Там человек придаток автомата — у нас хозяин. Мне кажется, что проблема автомата у нас и у них одна из ярких социальных проблем нашей эпохи. Мне вспоминается негр, который выдавал билетки в одной из американских столовых. Бедняга изобрел механизм, выдававший билетки разных номенклатур, и представил модель хозяину. Предприимчивый дельца американец заказал блестящую, нарядную игрушку, а негра уволил за ненадобностью.

Азербайджанец, пробуривший скважину автоматом «ХЭМЗА», ходит козырем и посмеивается. Он повысил квалификацию, а его бригада получила по расценкам и, кажется, не мало. Теперь он с важностью объясняет ребятам, как работает машина.

Мне очень хочется досмотреть, чем кончится эта эпопея, тем более, что я сам принимаю в ней кое-какое участие.

Пишу Вам об этом потому, что Вы, кажется, интересуетесь производством и понимаете технику.

С товарищеским приветом

К р ы м о в».

Я написал Юрию о том, что не удовлетворен уровнем своих знаний в области техники, посетовал на это, так как, по моему представлению, в настоящее время знание инженерии для писателя обязательно. Вот какой ответ в одном из следующих писем я получил:

«...Мне хочется ответить Вам на затронутую Вами мысль относительно техники и необходимости технической эрудиции для писателя.

Конечно, спора нет, быть технически грамотным для современного писателя это не «роскошь, а культурная необходимость». Был, например, такой беллетрист, который, не желая «устареть», решил написать индустриальный роман. Получилось все ганц коррект. Ударники разговаривают о домне, восторгаются. Читатель доверчиво глотает строки. И вдруг (о, шокинг!) оказывается, что один из ударников женится на Домне. Злополучный автор слышал звон, да не знает, где он. Это, конечно, анекдот. Но нечто приближающееся к этому мне приходилось читать. Впечатление получается убийственное. Есть более умные авторы и талантливые люди вроде X, которого я очень люблю. Эти знакомятся с предметами крайне поверхностно, но благодаря большому писательскому опыту им удается лавировать среди подводных камней. Вы читали роман тов. X (следует название романа)? Я считаю, что это его самая неудачная вещь. От нее так и пахнет натяжкой. Почему это? Да потому, что писать о кузнецких боях можно только изучив место, тактику и стратегию боев. Толстой писал о Бородине. Он был при Севастопольской обороне, он изучил документы эпохи. Покрылся архивной пылью. Наконец, он был военным. А у X из всего многообразия строительства доменных цехов одни только деррики к месту и не к месту. Читатель колеблется, начинает недоверчиво сопеть. Такова теза.

С другой стороны, можно возразить. Ведь не в дерриках дело и не в кауперах. Дело в людях, в душе человеческой. А деррики и кауперы — это... дело рук человеческих, так сказать реквизит. Читали «Большой конвейер» Ильина? Я прочел с удовольствием, но...

Это талантливый очерк, где все с начала до конца правдоподобно, за исключением... человеческих (а не деловых) взаимоотношений. Парень любит девочку. Разве Ильин не знал, как люди любят? Думаю, что знал. Ему было 25 лет. Так почему же вместо любви такая бледная схема? Заряда не хватило. Весь заряд ушел на поточное производство, на тонкости организации, на описание специфических болез-

ней тракторного завода. Но констатировать факт не значит понимать его, скажете Вы. А мне думается, что я его понимаю. Дело в том, что Х слонялся по Кузнецку, а не работал. Его внимание было устремлено на людей и их взаимоотношения. Его психика была свободна от кауперов и подачи энергии, от борьбы с текучестью и от обучения рабочих. Свободна, но не забыта. Он больше половины не понял, но характерное в людях Кузнецка он уловил.

Ильин был членом парткома, был перегружен сверх меры и, естественно, замечал только то, чем болел завод. А любовь парня и девчонки — это второстепенное, это ускользнуло из поля зрения. Психика, нагруженная неравномерно, дала крен. Получился однобокий роман с чрезмерно распухшим техническим, специальным материалом и с убогой палитрой. Люди только работают — и точка. И получилось в общем интересно, но опять-таки не внушает доверия. Неужели люди на тракторном не любят, не подличают, не делают нелепостей? Читатель сомневается, недовольно сопит. Такова антитеза.

Можно представить себе человека, имеющего литературное дарование и работающего на каком-либо предприятии. Он сознательно не перегружает психику и среди самого отчаянного аврала остается до известной степени наблюдателем. Это зверски трудно, потому что работа в нашей стране еще до сих пор напоминает позиционный бой. А какой же боец не переживает боя?

Такие производственники, понятно, не блещут достижениями. Для этого им потребовалось бы две головы. Можно привести Бабеля в качестве примера. Он писал «Конармию» — вещь замечательную. В «Конармии» он был посредственным бойцом, я это где-то слышал. Думаю даже, что он там был просто ничемником.

Вот такой гипотетический производственник, кроме того, что он обязан непрерывно сохранять зрение, быть наблюдателем, он должен еще массу читать. Ведь инженеры обычно образованы весьма односторонне, по крайней мере до сих пор. Далее, он должен

находить время и для творчества, иначе для чего все это напряжение, если не для создания ценностей иного порядка? Еще он должен учиться «говорить». Мало иметь что сказать, нужно еще уметь сказать. Иными словами — стиль, форма. Синтез получается угрожающий. Какой-то двужильный работяга, обреченный ежеминутно напрягаться.

Дорогой Юрий Николаевич! Может быть, все, что я здесь накатал, Вам уже давным-давно известно и является так сказать азбучной истиной. Ведь вся моя трепня сводится к тому, чтобы доказать Вам, что быть писателем страшно трудно. Америка! Должен сказать, что эту Америку я открыл сравнительно недавно. Не знаю, достигну ли я когда-нибудь того «синтеза», который себе наметил. Есть люди, которые получили образование с детства. Их черепные коробки с пеленок заполнены историческими, философскими, политическими и иными премудростями. Им с детства привит вкус и способность чувствовать художественное. Я к таковым не принадлежу, хотя и происхожу из интеллигентной семьи. Дело случая. То, что Вы вскользь сообщили о себе — что Ваш круг интересов сложился вокруг вещей гуманитарных, — это, мне кажется, огромная удача в жизни. Ибо, на мой взгляд, ничто так не сужает кругозора, как узкая специализация.

Но что, по-моему, основное для писателя: это то, что он не должен быть равнодушным. Он должен иметь мирозерцание, и это мирозерцание, этот комплекс воззрений он должен отстаивать страстно, как боец. Это мнение как будто не общепринятое. Но Вы-то с ним согласны, я знаю.

В заключение крошечный обзор обстановки... На дворе гнуснейший норд — свистопляска туч, песка и листьев. В море сейчас не слишком уютно. Ночью надо ехать на промысел пускать буровую. Очень страдают глаза от мелкой пыли. Приходишь домой напудренный...

...Всего Вам доброго.

Ю. Б е к л е м и ш е в

19/VI 38 года».

Правильно ли поступаю я, что не пытаюсь пере-сказать своими словами взгляды на литературу молодого инженера Беклемишева, только написавшего свое первое художественное произведение, а предоставляю слово самому писателю? Думаю, что правильно. В этих письмах Юрий, при некоторой наивности, передал ту тенденцию социалистического новаторства, которую он, новый писатель, принес в литературу. Тенденция эта выступает в его письмах со всей непосредственностью и отчетливостью.

VI

На собрании президиума Союза писателей, где Юрия Крымова принимали в Союз, Анна Караваева так объяснила успех его повести:

«При чтении повести «Танкер «Дербент» вспомнились слова А. М. Горького о том, что в советской литературе недостаточно эмоционально и содержательно, без подъема, отражена тема труда. В повести тема труда, тема о соцсоревновании показана глубоко и лирично...» Да, именно так. И Горький и все передовые советские писатели сознавали, что следующий этап развития советской литературы немислим без глубокого и взволнованного изображения труда, пятилеток, соцсоревнования и стахановства. Повесть «Танкер «Дербент» собой ознаменовала именно этот новый этап развития советской литературы. Так в семью советских литераторов пришел новый писатель Юрий Крымов.

Но этот новый писатель, кроме новаторской темы, принес в литературную среду свежий воздух социалистической стройки. Во втором своем письме ко мне, он пишет:

«...Кстати, насчет «головокружения»: Ваши опасения на этот счет, к счастью, едва ли основательны. Не то что бы я страдал излишней скромностью и склонностью к самоуничижению. Этого нет. Зато есть нечто другое — этакий разъедающий анализ, который

живет во мне как некое инородное угловатое тело, царапает, беспокоит и сокращает до минимума минуты удовлетворения. Это мешает «наслаждаться успехами», но работать не мешает, наоборот подбивает на новые штурмы. Возможный же успех данной вещи никак не собьет меня на путь спеси и самодовольства уже хотя бы потому, что я великолепно понимаю причину этого возможного успеха. Причина не в моем мастерстве, которое сомнительно, а в том материале, который мне удалось собрать, в его своевременности и пригодности в текущий момент. Значит, нет никаких оснований «гарцевать» и «задаваться». Тем более что я знаю таких людей и их настоящую цену (Киршон в литературе, инженер Аматы в горном деле и т. д.). Но мне было очень приятно, что Вы усмотрели эту опасность и предостерегли меня.

№ 5¹ я получил и просмотрел внимательно. С переделками и Вашими замечаниями в письме я вполне согласен, за исключением некоторых мелочей, о которых писать не стоит. Совершенно правильно, что Касацкий не должен стакнуться с матросом перед пожаром, а гораздо раньше. Т. е. в действительности это могло быть и так, но в повести такое сгущение одного элемента создает не обострение, а притупление впечатления.

Насчет биографии капитана я с Вами согласен не целиком. Т. е., возможно, в общей композиции вещь и страдает от такого углубления в прошлое одного из героев. Но то, что Вы думали (одно место я Вам потом покажу), принадлежало к тем местам, которыми я был доволен. Это, если помните, единственный случай, о котором Кутасов вспоминает с гордостью и за который его похвалил Греве. Единственный намек на волевою победу в этой в общем пассивной и бесцветной судьбе. Этот человек отнюдь не самообольщается насчет себя и в глубине души отчетливо сознает свое паскудство. Таких в жизни много.

Насчет несоответствия пролога и того места, где на радиостанции следят за стахановским рейсом, я

¹ Речь идет о журнале «Красная новь» за 1938 год.

вполне согласен. Эту неуклюжесть я только теперь понял. Вы ее сгладили, но все-таки она осталась.

...Я здесь начал новую вещь, которая поглотила меня целиком. Настолько поглотила, что вижу ее во сне и в виде отдельных эпизодов.

Двигается она медленно, коряво. Сейчас я уже почти закончил начерно, и теперь ясно, что придется все переделывать. Какая-то манная каша на белой тарелке — ничего четкого. Но замысел меня очень увлекает — он острее и значительнее, чем «Дербент», так по крайней мере мне кажется.

По приезде в Москву я хотел бы посоветоваться с Вами. У меня нет никакого опыта, и в деле искусства я совсем беспомощен. Надеюсь со времени опериться, но пока что пускаю пузыри...»

VII

Итак, произведение отделилось от автора — оно стало жить самостоятельной жизнью, оно стало достоянием читателя, критики. Сам же автор — инженер-конструктор Юрий Беклемишев — продолжал свою работу по специальности.

Вот чем жил Юрий Крымов в дни своих первых писательских успехов (цитирую письма к матери В. Е. Беклемишевой):

«...Сегодня закончили монтаж установки, и ее приняла инспекция безопасности. Составлен акт о готовности; получено разрешение о включении и т. д. Остаётся пустить — и разложить эмульсию. Все мы немножко дрейфим. Это все-таки не клистирная трубка, а уже что-то вроде заводика. Надо приложить все усилия, чтобы получить хорошие результаты. В следующем письме вы уже, вероятно, кое-что узнаете. В тресте тоже все заинтересованы и ждут от нас чудес. Это мне не нравится. Хотя пора бы уже мне к этому привыкнуть. Люди уверены в правильности наших прогнозов тверже, чем мы сами. Происходит это потому, что они не изобретатели, и им не знакома горечь разочарований. Несколько слов отно-

нительно удачи с автоматом. Дело в том, что назвать это удачей несколько преждевременно. Автомат удалось включить всего часа на три, и он действительно работал как будто хорошо, но с тех пор его не удалось больше включить из-за неполадок на буровой.

...Прочитал в «Красной нови» свою повесть. Странное это ощущение — как-то не веришь своим глазам, но телячьего восторга я не ощущаю. Скорее наоборот. Мог бы написать лучше, мне кажется...»

И Юрий пишет матери то же, что и писал мне:

«...Должен тебе сказать, что ты ошибаешься, если думаешь, что этот маленький успех меня опьянил. Я совершенно не знаю, как будет встречена моя вещь, и сильно сомневаюсь в ее ценности. Странное дело, в тридцать лет я, оказывается, уже не в состоянии приходить в длительный восторг от удач. Сейчас я работаю над другой вещью, очень мучительной и трудной. Она мне пока не удастся, но, кажется, все-таки удастся... Понравится моя повесть, нашумит — хорошо. Будет встречена холодно или вовсе пройдет незамеченной, я не очень огорчусь и буду работать. Не надо искусственно взвинчивать успех, не надо. Это подсказывает мне мой инстинкт».

«...Работать здесь не легко. Приходится упрашивать, жаловаться, обострять отношения. Но в то же время я вижу здесь много интересного, такого, чего в Москве, ни за какие деньги не увидишь. Проникаясь духом тяжелой добывающей промышленности, постигаю ее тонкости. Для человека, претендующего на место писателя, потолкаться в этой обстановке отнюдь не бесполезно. Сейчас усиленно работаю над новой вещью. Что-то мне кажется, что она будет удачней первой и сильнее, хотя по объему она значительно меньше. Тема эта мне ближе и до того заполнила меня, что снится мне во сне в виде неприятных, тяжелых сцен. Здесь мне как-то удалось почувствовать характер основных действующих лиц, но на бумаге пока все противоречиво и смутно. От прежнего моего замысла почти ничего не осталось. Думаю вчерне закончить здесь и отделать во время отпуска.

Опять получается то же, что и раньше. Мысли верные, и выражены они точно, но неуклюже...

Называется он «Первая любовь»¹. Труден он для меня потому, что главное действующее лицо там женщина. Смесь решительности и даже крутого характера с пассивностью и безволием. Прирожденная чистоплотность. Болезненная жалость к людям, которая едва не губит ее. Вертится она среди жутких фигур, в самой каше ожесточенной классовой борьбы».

Количество жутких фигур, окружавших героиню новой повести Юрия Крымова Аню Мельникову, на первых порах представлялось автору очень большим — разнообразные типы вредителей, до международных бандитов включительно. Но по мере работы над вещью количество «жутких фигур» все убавлялось. Ведь именно в это время эти «фигуры» выступили, беспощадно освещенные советским правосудием на судебных процессах, — а Юрий Крымов не хотел выводить злодеев, уже понятых и разгаданных народом. Но оттого, что эти злодеи исчезли из повести Крымова, положение Анны Мельниковой стало еще труднее: в повести сохранился, пожалуй, самый «жуткий» из злодеев — муж Анны Мельниковой, Емчинов. Применимо ли к нему слово «злодей» — ведь он как будто бы, наоборот, благопристойный, добропорядочный человек? И все же он жуток, так как при полном равнодушии к тому великому делу, которое творится в нашей стране, он в превосходнейшей степени выработал в себе умение не только скрывать это равнодушие, но и притворяться активно заинтересованным в торжестве этого дела. Люди, работающие вместе с ним, рассчитывают на его помощь в решительный момент — и обнаруживают вместо человека пустоту. В результате страдает изобретатель Петин и терпит ущерб великое дело строительства. Однако постепенно люди распознают Емчинова. И, пожалуй, раньше всех удастся это Анне Мельниковой, жене Емчинова.

Она поняла, что ошиблась, что благопристойную

¹ Задуманный роман Ю. Крымова, впоследствии сложившийся в повесть «Инженер».

маску приняла за живого человека, и просмотрела в то же время возможность любви к другому, настоящему человеку, к инженеру Сергею Стамову. Драма Ани Мельниковой еще усугубляется тем, что она ждет ребенка от человека, теперь уже ей глубоко ненавистного.

Но ведь Емчинова разгадала не только Аня Мельникова — все советские люди, работавшие вместе с ним, поняли и разгадали его, и писателю Крымову в своей новой повести удалось показать обреченность Емчиновых и неизбежное торжество над ними советских людей. И если не считать первой главы, которая является, собственно, прологом к повести, то повесть не случайно начинается встречей бурильщика-мастера Шеина с главой треста Емчиновым и кончается тем, что Шеин сменяет Емчинова на этом посту. «Молчаливый, нескладный паренек, собиравший на промыслах ржавые гайки, стал теперь управляющим трестом «Рамбеконефть». Пожалуй, только спина да припухшие губы остались от того паренька. Впрочем, еще шапка-ушанка... Да, как ни странно, ту самую шапку из рыжей степной лисицы, которую носил когда-то тихорецкий паренек, теперь донашивает мастер Шеин, новый управляющий...»

Шейны сменяют Емчиновых не в тишине и благопристойности, а в драке, революционно. Молодой изобретатель Алексей Петин едва не гибнет в этой борьбе. В момент его успеха «Емчиновы точно угощались им и преподносили его друг другу, как любимое блюдо». Но все новое рождается в борьбе, и когда для изобретения Алексея Петина наступил критический момент, сам Емчинов и все емчиновы отшатнулись от него. Но Шеин не дает погибнуть изобретателю Петину, он поддерживает изобретателя, уже павшего было духом.

«— Никто не верит в сульфосоль, будут одни неприятности», — говорит Петин.

«— Правильно, никто не верит, — согласился Шеин. — А мы-то с тобой на что же? Мы для того и поставлены, чтобы заставить людей поверить. Неприятности, — повторил он с досадой. — Неприятностей

нам с тобой не приходится бояться. Да. А ты как же полагал? Выдумал — и готово? Выдумка, конечно, большое дело, но пока она не завоевала у людей доверия, грош ей цена. Если веришь в свое дело, надо его отстаивать. Надо спорить, доказывать и рисковать. И драться. Бывает, что и тебе попадет, не без этого».

Емчинов, после того как его сняли с работы, не только остается жив физически, он продолжает считать себя живым. «Он, этот отрезанный ломоть, еще весь был полон вчерашними служебными интересами и вел великолепную борьбу с воздухом, уклоняясь, парируя и нанося удары...» Но он мертв, и то безразличное спокойствие, с каким при последнем прощании смотрит на него его бывшая жена, в свое время уже перестрадавшая любовь к нему, — это простое и многозначительное утверждение моральной, политической смерти Емчинова.

Вот почему в новой повести автор отказался от драматической развязки вроде той, которой он закончил первую повесть. Обе повести Крымова имеют то общее, что они изображают борьбу новаторов против косности. Нетрудно представить такой ход событий, при котором Басов остался бы на судоремонтном заводе. Тогда позиция Басова во многом приблизилась бы к позиции Сергея Стамова и задача писателя, описывающего историю Басова, стала бы сложнее.

Уже задолго до написания «Инженера» в литературных вкусах Юрия Крымова произошел решительный перелом: от Сирано де Бержерака, от героев Джека Лондона Юрий отошел, он все чаще читает и перечитывает Чехова...

VII

Став писателем, Юрий не оставил работы в лаборатории, и когда профессор Слоним однажды выразил сомнение в возможности совместить научную и литературную работу, Юрий ответил, что писателю «не следует постоянно вращаться в узком кругу

близких людей, писателей, в стенах своего клуба, своего города. Ему нужно выйти на простор, чтобы жить среди людей, творящих новую жизнь, он должен видеть все, знать новых людей, и это особенно важно, когда создается новый социальный порядок, новое общество, новая эпоха. Работа, которую я вел с вами, давала мне возможность везде бывать, все видеть».

Эти мысли Юрий Крымов в форме еще более острой неоднократно высказывал в дружеских беседах с писателями, товарищами по литературной работе. Свежим взглядом посмотрел он на то, как живут писатели, и ему сразу бросилась в глаза оторванность некоторых писателей — и порой талантливых — от жизни, от советской работы. Именно поэтому, доведя до успешного окончания первую свою работу в лаборатории профессора Слонима, работу, которая сыграла такую большую роль в его жизни, Юрий договорился о новой научной теме по заданию одного московского исследовательского института.

«Танкер «Дербент» натолкнул Юрия на работу в кино. При его участии был написан сценарий одноименного с его повестью фильма. То же повторилось и с повестью «Инженер». Сценарий «Кирыак» непосредственно развился из повести «Инженер», в центре его стоит стахановец Кирыак, упоминающийся в повести как эпизодическое лицо. Второй сценарий — «Мост через Алтач» — не содержит прямой связи с «Инженером», но в нем получает самостоятельное развитие один из принципиально важных мотивов «Инженера».

Если бы у изобретателя Алексея Петина оказался суровый друг, который в момент его триумфа решительно поставил бы вопрос о той угрозе, которую несут зимние холода изобретению Петина, то такой друг помог бы и самому Петину и общему делу. Такого друга у Петина не нашлось. Такой друг нашелся у молодого конструктора Размахова, строящего мост через Алтач. Но предостерегающей, суровой критикой, исходящей от этого друга, инженера Волкова, пренебрегли все, включая самого Размахова.

Только любимая девушка Размахова услышала дружескую заботу в суровой и придирчивой критике Волкова. Весь же коллектив строителей продолжает славословить молодого конструктора, который единственное дружеское предупреждение рассматривает как враждебный выпад. Однако с наступлением морозов предсказание Волкова оправдывается, мост через Алтач может рухнуть. Но, оказывается, Волков, осмеянный и оставшийся одиноким, предвидя катастрофу, продолжал работать над мерами ее предупреждения. И когда мнимые друзья шарахнулись от Размахова и объявили его изобретение скомпрометированным, Волков предлагает меры устранения катастрофы и спасает не только мост, но и самое изобретение Размахова.

«Мост через Алтач» так и остался сценарием. Характеры здесь только лишь намечены, им не хватает той объемности, которая свойственна характерам, выведенным в повестях Ю. Крымова. Сценарий закончен в 1941 году, и по нему мы можем судить, над какими важными проблемами работала мысль молодого писателя накануне великой Отечественной войны. В сценарии сделана удачная попытка выразить во взаимоотношениях реальных советских людей те нравственные обязательства, которые накладывает дружба на строителей социалистического общества. «Мост через Алтач» подводит читателя к пониманию того нового, что во взаимоотношения людей привносит самокритика — один из важнейших нравственных законов нашего общества. В сценарии этом постоянный мотив творчества Крымова — дружба — должен был найти наиболее полное воплощение. Распотачать хвалы во время успеха — отнюдь не признак истинной дружбы. Истинный друг имеет мужество сказать другу слово правды, подчас предостерегающее и суровое слово, в опьяняющей атмосфере триумфа. Думается, что не только на производстве и в лаборатории, но и в области литературной работы Юрий Крымов проверил правильность этого нравственного закона.

Конец 1939 — начало 1940 года, медленно идет эта суровейшая зима, в Подмосковье вымерзли фруктовые деревья, птицы падают на лету. Юрий с женой живут в нашем Доме творчества в Малеевке. Однажды во время прогулки Юрий и Ирина услышали жалобный писк и подобрали в сугробе котенка. У него оказались отморожены лапки. Когда я приехал в Малеевку, я застал котенка на полном медицинском попечении Юры и Ирины: он жил у них в комнате, они поили его молоком из соски, а когда Юра приходил, чтобы сделать ему перевязку, котенок забавно протягивал ему то одну, то другую лапку. И мы, сидя над котенком, разговаривали о его судьбе — удастся ли ему поправиться или он на всю жизнь останется калекой. Юра всерьез обсуждал эту проблему, обдумывал ее вслух и вдруг по внутренней логике, вполне понятной, начинал горячо говорить о преступлениях, совершенных фашистами.

Юрию было двадцать пять лет, когда в Германии захватили власть гитлеровцы. Его ненависть к фашизму коренилась в его благородной доброте и жалостливости ко всему живому. Его ненависть к фашизму выросла вместе с ним. Он ясно видел, как из года в год все ближе надвигается на нашу родину война, большая война с фашизмом. Вот она из Испании перекинулась в Чехословакию, вот запылала и погибла Польша, вот наконец рухнула Франция, страна, воплощающая лучшие традиции европейской культуры. Вот хищник ринулся уже на героическую Югославию; война все ближе, все неотвратимее.

Казалось бы, прямого отражения в творчестве Юрия Крымова военная тема не нашла. Писатель советского народа, он, как и весь наш народ, занят был до войны проблемами, связанными с осуществлением социализма. Однако подвиг Кости Берзина есть проявление подготовленности нашей молодежи к войне. Подвиг команды танкера под руководством Басова есть опять же проверка этой подготовленности: имен-

но так будут вести себя советские люди в грядущей войне.

Работая над «мирными» темами, Юрий Крымов со всей серьезностью готовился к войне; это нашло свое проявление в рассказе «Отчаянная», задуманном одновременно с «Танкером «Дербент» и напечатанном уже посмертно. В этом рассказе Юрий разделялся с теми чертами «отчаянности», которые были свойственны ему самому в отрочестве и юности. Описанный в этом рассказе командир: «военный, подтянутый, с точными, неторопливыми движениями, напоминающий стальную пружину, всегда готовую развернуться, ударить и зазвенеть» — это Юрий Крымов 1940 года, оглядывающийся на свою разудалую юность... Когда Военно-политическая академия организовала курс лекций по военному делу для писателей, Юрий был одним из самых внимательных слушателей этого курса и прошел его до конца. На пятый день после начала войны он отправился на фронт.

В короткий период своей фронтовой жизни Юрий Крымов не создал законченного художественного произведения о первых днях войны, но его письма с фронта с прозрачной правдивостью и яркостью выразили то, что переживалось советскими людьми, находившимися в горниле Отечественной войны. В эти тяжелые месяцы Юрий обнаружил себя подготовленным к великому испытанию войны; письма его проникнуты счастливой уверенностью человека, живущего осмысленной жизнью высокого напряжения, чувствуется, что ему легко дышать грозным воздухом войны, ему по душе ее опасный быт...

Это новое самочувствие очень отчетливо выражено Юрием в письме: «Я становлюсь как-то честнее, это с одной стороны, а с другой — тверже и грубее — и, пожалуй, бесчувственнее. А решительности здорово прибавилось, я, например, не могу понять, как это я волновался от всех писательских пустяков» (9 сентября 1941 года).

В этих словах Ю. Крымов выразил отнюдь не только свое личное самочувствие — миллионы совет-

ских людей, пришедших в Красную Армию в это трудное время, проделали то превращение в солдат, которое и обусловило впоследствии победы Советской Армии.

«Писательские пустяки» схлынули с души Юрия, но никогда он не жил подлинной писательской жизнью с такой интенсивностью, как именно на фронте. На страницах его писем разбросано множество замечаний, по которым можно судить, какое произведение об Отечественной войне создал бы Юрий Крымов, останься он в живых. В одном из первых июльских писем Юрий Крымов пишет о нашей армии: «Она прекрасна своей человечностью, своей волей к победе, своим неподдельным, скромным бесстрашием. Многое из того, что я слышал о нашей армии, прежде казалось мне агитационным преувеличением, но сейчас я вижу, что все это — правда. Люди готовы отдать свою жизнь за родину каждый час, каждую минуту. Бойцы плакали, когда приходилось отступать по стратегическим соображениям от рубежа, который долго и успешно защищали. Сейчас один командир говорил мне: «Я каждый вершок отданной врагу нашей земли вырываю из своего сердца».

И далее мы читаем в письме:

«Такая армия может только победить, и она победит. Такого прекрасного, твердого духа и ненависти к фашистам, вероятно, ни в одной армии не было и не может быть».

Запомним, что это писалось 12 августа 1941 года, запомним: ведь это и свидетельство и завещание нам, оставшимся в живых писателям, тем, кому еще предстоит писать об этом времени. Такого рода свидетельств и принципиально важных замечаний разбросано в письмах немало, и Крымов прав, когда пишет: «Вижу я здесь много такого, что впоследствии окажется золотым фондом для писателя».

Уже в июле месяце 1941 года почувствовал он, что война, им переживаемая, разительно отличается от войны 1914 года. «Роман Ремарка «На Западном фронте без перемен» совершенно не соответствует моему восприятию». «Война и мир» гораздо ближе».

И на протяжении всех писем он снова и снова возвращается к аналогии между двумя Отечественными войнами, пережитыми нашей родиной.

На фронте Юрий встретил того же советского человека, которого он знал в условиях мирной жизни, но сейчас этот родной Юрию герой находится в состоянии предельного подъема и напряжения всех своих душевных и телесных сил, в том горении подвига, которое издавна являлось излюбленным предметом изображения Крымова и к которому стремилась с самых юных лет его отважная душа.

И взгляд Юрия уже различает первые очертания героев-патриотов Отечественной войны. Вот отважный Пастушенко, о подвиге которого он рассказал на страницах «Правды», в статье «Как был разгромлен полк СС» («Правда», 7 августа 1941 года). «Германский снаряд разбил славную золотую голову» Пастушенко. Но он крепко запомнился Юрию. «Когда кончится война и если будет судьба, напишу о нем. Какой он был простой, естественный и храбрый парень. А теперь — всем моим мыслишкам грош цена. Надо дело делать».

И Юрий делает свое боевое дело, воюет, как подобает воевать советскому человеку, деловито и жизнерадостно, отдавая этому делу всего себя и не пренебрегая никаким поручением, — именно в это время кто-то из товарищей видел его на шоссе, вытаскивающим вместе с красноармейцами автомобиль, затем его видели в прифронтовом селе, с полуавтоматом в руках...

И вот 19 сентября 1941 года. Юрий пишет письмо к жене, письмо, которому суждено было остаться незаконченным и последним. Глубокая ночь, горит ночник, его шаткое пламя гонит тени по белым стенам мазанки. На лежанке и на полу спят боевые товарищи Юрия, те, о которых в своих письмах написал он столько слов, полных глубокой заботливости и ласки.

«Два часа ночи... мы стоим на пяточке, на одной ноге, другую поставить некуда». Вчера Юрий вступил в партию, завтра предстоит бой на прорыв, и Юрий совершит тот самоотверженный воинский под-

виг, к которому он был подготовлен всей своей жизнью. Пройдет менее суток — и под вечер 20 сентября колхозник Алексей Коваленко найдет окровавленное тело героя, сражавшегося с немцами до последней капли крови. С благоговением сочтет он раны, снимет с груди его документы и письмо к жене, но оставит при нем его орден и похоронит в родной земле, за которую он умер.

По предсмертному письму видно, что Юрий сознавал всю серьезность военной обстановки, в которой находилось его соединение. Но какое внутреннее спокойствие и собранность, какая четкая наблюдательность пронизывает его письмо! Не думая о литературе, он и в это время продолжал оставаться писателем, — его глаза широко открыты и ясно видят все, его память четко фиксирует, и он в этом торопливом письме сумел выразить много такого, что под силу только подлинному художнику: незабываемый и грозный пейзаж войны, душевные движения сражающихся, их прерывистое дыхание и особенный воздух передовых позиций, все то, что сплачивает бойцов во едино, преисполняет их предельной нежностью и заботой друг к другу и ненавистью к заклятому врагу...

Юрий Крымов погиб молодым, а его писательская жизнь оборвалась в самом начале. Но за короткое время своей работы в литературе, кроме двух повестей, которые еще многие годы будут волновать читателей и уже заняли известное место в истории литературы, Юрий Крымов оставил еще иное наследие, которое нужно ценить: он прожил свою жизнь так, что сам он, его облик активного строителя социализма, героического борца за родную страну и художника, выразившего социалистический уклад жизни в произведениях искусства, должны стать достоянием нашего народа, нашей литературы.

Его жизнь, его работа, его борьба и его смерть дают живую историю прекрасного молодого советского человека, а его преждевременно оборвавшееся творчество ставит благородную задачу осуществления того, что он осуществить не успел.

Разговоры с А. М. Толстым



Праздновался пятидесятилетний юбилей Алексея Николаевича Толстого. Мне пришлось тогда впервые посетить двухэтажный, довольно поместительный дом А. Н. Толстого в Детском Селе, ныне городе Пушкине. Весь этот дом заполнили гости, в больших комнатах расставлены столы, мебель сдвинута со своих мест, но все же колорит дома, уютного и по-настоящему культурного, сказывался и в подборе картин и статуй и даже в расцветке гардин и штор.

Празднование прошло шумно, весело, и получилось как-то так — то ли мы опоздали на поезд, то ли сам по себе разговор наш с хозяином затянулся, но все гости уже разъехались, а мы с Михаилом Чуманриным задержались до первого утреннего поезда.

Не прошло и года, как была ликвидирована РАПП. По заскорузлым понятиям предшествующего периода, Алексей Николаевич был «правым попутчиком». Но, оставшись с ним тогда наедине, мы, вчерашние рапповцы, встретили человека, настроенного к нам доброжелательно, внимательно слушающего наши мнения и оценки по вопросам литературы.

Я не помню содержания нашего разговора, память хранит только общий тон его, доброжелательный и дружеский.

Так кончилась старая рознь, созданная в условиях искусственного разделения писателей, — это было

прямое следствие постановления ЦК о ликвидации РАПП и о перестройке литературных организаций.

В Детском Селе был Дом творчества писателей, я частенько уезжал туда работать и навещал иногда Алексея Николаевича. Сначала я просил его назначить время, когда могу заходить к нему, чтобы не помешать его работе. Но он всегда отвечал:

— Приходите в любое время, будем вместе гулять. — И категорически отказывался назначать время более точно. — Помешать мне работать нельзя... — говорил он.

Я рассчитал, что если приду часов в пять вечера, то вряд ли помешаю ему работать. Но когда я вошел в дом, мне тут же сказали:

— Алексей Николаевич у себя, идите к нему наверх!

Сверху доносился отчетливый стук пишущей машинки.

— Но ведь он, наверное, работает, я помешаю...

Однако возражение мое было оставлено без внимания.

Я постучался в дверь.

— Войдите, — сказал Алексей Николаевич.

Я тихонько открыл дверь и остановился на пороге.

Алексей Николаевич обернулся не сразу. К его большому письменному столу был приставлен другой, совсем маленький, для пишущей машинки, которая оживленно стрекотала под его пальцами. Алексей Николаевич был в каком-то пестром халате, подчеркивающим осанистость его большой фигуры. Оглянулся он только тогда, когда, очевидно, довел до конца фразу. Увидев меня, он сразу встал от машинки.

— Ну вот, я вам и помешал...

— Э, пустяки! Я уже с утра сижу.

И, заметив, что я разглядываю чернобрового Петра Великого, энергически смотревшего на нас со стены своими, словно живыми, сверкающими глазами, Алексей Николаевич спросил, нравится ли мне этот портрет. Да, портрет с первого взгляда поразил меня своей живостью, при старинной манере письма, — гла-

за были необыкновенные, я словно сейчас их вижу. По стенам развешаны были старинные литографии, изображавшие новорожденный Петербург с его прямыми и почти пустыми, геометрически намеченными проспектами — першпективами.

В комнате, кроме письменного стола и маленького столика для пишущей машинки, стояло два или три простых продолговатых стола, и на каждом разложена была своя работа, — Алексей Николаевич с удовольствием, живо объяснил мне свою систему расположения материалов, которые могут понадобиться для работы.

Письменный стол был завален какими-то рукописями, книгами, прямого отношения к творческой работе писателя не имеющими, — мне подумалось, что за этим столом хозяин не работает. Я спросил Алексея Николаевича об этом.

— Нет, почему же, за этим столом я правлю после машинки, — ответил он. — Потом опять перепечатаваю, потом опять правлю, — он махнул рукой.

Время от времени он зевал и яростно теребил свое лицо, — видно было, что он устал.

Система расположения материалов на больших и длинных столах (я мысленно назвал их верстаками) мне понравилась; писателю-прозаику, если он пишет объемное произведение реалистического характера, необходим именно такой стол для размещения материала. Письменного стола, даже самого большого, не хватает, соединить на одном и том же столе самый процесс писания и подготовленный для работы материал очень трудно, тем более, что Алексей Николаевич писал, — как я видел потому, что на разных столах расположены были разные материалы, — не только «Петра Первого», но одновременно работал еще (если мне не изменяет память) и над продолжением своей монументальной эпопеи «Хождение по мукам».

Для самого же процесса писания большой письменный стол не нужен: взял с «верстака» то, что необходимо для сегодняшней задачи, в случае, если по ходу работы что-либо понадобилось, опять подошел

к «верстаку»: Это не то что рыться на столе, заваленном бумагами...

Такие соображения пришли мне в голову при этом первом посещении кабинета Алексея Николаевича, и я с пользой применил их в деле организации своего «рабского места».

В конце 1933 года или в начале 1934-го группа ленинградских драматургов поехала к Алексею Николаевичу, чтобы поговорить о создании в Ленинграде какого-то нового театра. Я был среди них. Мы приехали к ужину, и Алексей Николаевич со свойственной ему гостеприимной манерой стал нас угощать.

Почти все лето 1933 года я провел на Северном Кавказе. При мне политотделы МТС сломали кулацкий саботаж, на моих глазах кубанские хлеборобы в трудных условиях провели посевную кампанию. Я был свидетелем рождения чувства коллективной собственности, я видел, как колхозники стали оберегать созревающий урожай от кулацких злоумышленников; при мне, наконец, урожай был собран, и я присутствовал на праздниках урожая.

Заполненный всеми этими впечатлениями, я ни о чем другом не мог говорить и рассказывал об этом так, как рассказываешь только тогда, когда еще не написал о всем том, чему свидетелем и участником приходилось быть. В моих рассказах радостное переплеталось с печальным, а порою и со страшным. В моей памяти оживали заросшие крапивой и терновником станицы, тракторы распахивали одичавшие, покрытые темным бурьяном поля. А какие люди, какие характеры...

Алексей Николаевич с интересом слушал. Когда я смолк, один из присутствующих драматургов сказал, обращаясь к Алексею Николаевичу:

— А все-таки жаль этой уходящей деревни, ее поэзии, ее садов...

Алексей Николаевич устремил на него недоумевающий взгляд.

— То есть, позвольте, чего это вам жаль?

— Ну как же, — ответил изрядно оробевший товарищ, почувствовав, что попал впросак. — Сады, со-

ловьи... Ну, всего того, что было прелестью старой деревни...

— Послушайте, вы понимаете, о чем вы говорите? — спросил Алексей Николаевич. — Старая деревня — это мрак, это невежество, это одичание, это бездорожье! Да, если хотите знать, я потому и стал поддерживать Коминтерн, — он именно так и сказал: не Коммунистическую партию и не Советскую власть, а именно Коминтерн, — что коммунисты всерьез и навсегда покончат на всей нашей планете с этими отвратительными гирями на ногах человечества, с мировой деревней.

Он долго не мог успокоиться и все возвращался к этой теме.

Потом, когда мы уже ехали домой, Штейн и Чумандрин время от времени подтрунивали над неудачливым апологетом поэтической деревни:

— Что, решил к графу подлизаться? Думал, что он сразу клюнет на деревенскую поэзию? А ты бы лучше вспомнил его «Овраги», как человек тонет в весенней грязи среди бела дня. Вот почитай-ка, как он там эту деревенскую поэзию изобразил...

Когда я спустя некоторое время рассказал Александру Александровичу Фадееву эту историю, он усмехнулся и сказал с нежностью:

— Что ж говорить об Алеше! У него большой политический масштаб, и это, конечно, характерно, то, что он сказал о Коминтерне. Но при этом он очень русский человек, и его патриотическое чувство всегда настороже. Когда мы были с ним за границей на приеме в посольстве, подошел к нам один меньшевичок, может быть даже из наших эмигрантов, потому что хорошо говорил по-русски, и громко сказал: «У вас в России, конечно, социализм, и нам далеко до вас. Но вы вот паспортную систему вводите, а мы уж как-нибудь без нее обойдемся...» Наступила пауза, все как-то растерялись, и только Алексей Николаевич громко, на весь зал ответил: «Да ну, помилуйте, зачем вам паспорта? Вы в вашей стране все друг друга в лицо знаете, а у нас, при наших простран-

ствах и миллионах народонаселения, без паспортов или чего-либо в этом духе никак не обойтись».

Да, конечно, так сказать мог только человек, у которого патриотическое чувство всегда настороже.

Проводя зимы в нашем Доме творчества в Детском Селе, я иногда заходил за Алексеем Николаевичем, и мы гуляли вместе по тихим, зимним и весьма располагающим к хорошим разговорам царскосельским улицам... Так было и в зиму 1934 года и в следующую — 1935 года. Припомнить, когда произошел один разговор, а когда другой, мне трудно. Но о самих разговорах стоит рассказать, они не случайно мне запомнились.

Речь шла о каком-то писателе, которого обвинили в плагиате.

— Просто бездарный человек, — сказал Алексей Николаевич. — Талантливый человек, если даже захочет, никогда не сможет украсть, то есть точно воспроизвести ту мысль или то положение, которое его поразило у другого писателя. Когда живешь в стихии литературы, все время находишься во взаимодействии с писателями-современниками. Но такого рода «заимствование» обнаружить невозможно. Я возьму у вас так, что все переиначу, и вы сами не узнаете, что я у вас взял. Ну, а бездарный дурак, который берет и переписывает страницу за страницей, изменяя какие-то второстепенные пустяки, так черт с ним, пусть попадается и пропадает!

Мне очень хорошо запомнился этот разговор, потому что не раз потом я в практике литературы убеждался в точности и верности этого оригинального суждения.

— Вы пишете пьесу? — спросил он меня в другой раз.

И, получив мой утвердительный ответ, спросил:

— А с чего вы начали?

— С того, что стал продумывать тему, — ответил я, предполагая, что Алексей Николаевич скажет что-нибудь вроде того, что тему не надо продумывать.

Но он со мной тут же согласился:

— Это правильно, цель, которую вы ставите пе-

ред собой, должна быть ясна с самого начала. И особенно в драматургии. Она определяет общий охват предмета. Ну, а дальше что?

— Ну, а после темы нужно представить себе развитие действия, то есть драматическую интригу...

Но он тут же возразил:

— Нет, нет, это позже, гораздо позже. Если вам уже ясна цель, то есть если у вас есть общее представление о своем замысле, то нужно, не принуждая себя, записывать отдельные положения, меткие афористические выражения, куски диалога, отдельные мизансцены такими, как они у вас возникают, и до поры до времени, все это накапливать, складывать в одно место. — Очевидно прочитав на моем лице недоумение, он спросил: — Вам кажется, что будет беспорядок? Никакого беспорядка не будет. Потом, в конце концов, все сойдется вместе. Если вам ясен замысел, то все, о чем бы вы ни думали, что бы ни наблюдали, непременно будет отвечать с той или другой стороны на основной вопрос, вас волнующий.

Я стал возражать, говорить о характерах, об интриге.

— Это все придет позже, — сказал он. — На этой стадии работы интрига скует ваше воображение, она не даст вам развернуться. А характеры будут интереснее, ярче, острее, когда они родятся не в зависимости от придуманной вами схемы, а сами по себе, то есть вы услышите реплику, увидите мизансцену еще до того, как поняли самое действующее лицо. Ничто не может быть увлекательнее такой работы.

Разговоры эти неотделимо связываются у меня с воспоминанием о тех зимних часах, когда белое превращается в синее, огоньки покалывают глаза и так приятно идти по заснеженным улицам и слушать умные, всегда забавные, отмеченные свежестью и оригинальностью суждения.

Были у нас встречи и при других условиях...

Вот публика расходится после премьеры пьесы одного известного драматурга. Пьеса вызвала общее недоумение. Замысел автора был несомненно умный, благородный, сцены быстро сменяли одна другую, —

казалось бы, и актерам было что играть. И все же пьеса мне и моему спутнику, писателю Вольфу Эрлиху, не понравилась, и мы шли по коридору театра, пытаясь определить, в чем причина неудачи. Вдруг мы увидели Алексея Николаевича, который с видом в высшей степени растерянным, чуть ли не разводя руками, стоял в фойе и, в противоположность всей публике, устремившейся к гардеробу, никуда не шел.

— Его, наверное, обокрали, — сказал Вольф Эрлих.

Точнее нельзя было сказать. У Алексея Николаевича был вид человека, которого только что обокрали. Мы подошли к нему. Он спросил, здороваясь:

— Вы видели это?

— Что это?

— Там, на сцене... Понимаете, короткие, обезьяньи мысли. Представляете, как думают обезьяны? Вспышка — и погасло! И опять вспышка, но уже о другом! Ряд мгновенных вспышек о разном. Обезьяны не могут думать связно...

Причина неудачи драматурга была сформулирована предельно коротко и образно.

— Говорят, Тынянов заболел? — спросил он однажды у меня.

Я сообщил ему то, что знал о здоровье Тынянова. Алексей Николаевич выслушал меня с большим участием и очень серьезно дал самую высокую оценку места Юрия Николаевича Тынянова в литературе. Видно было, что болезнь этого большого мастера советской литературы по-настоящему обеспокоила и спечалила его...

Значение Алексея Николаевича Толстого в советской литературе определилось еще при его жизни. Превосходные книги его изучаются и будут изучаться критиками и литературоведами. Но хотелось бы, чтобы всякий, кому выпало счастье встречаться с этим большим русским писателем советской эпохи, сообщил бы все, что о нем знает и помнит, — эту цель я и ставил перед собой, когда писал эти страницы.

20 февраля 1957 года

Али Шогенцуков



Весной 1939 года по шоссейной дороге из Пятигорска в Нальчик я вновь въезжал в Кабардино-Балкарию и с волнением вглядывался в темнолесистые, надвигающиеся справа горы нижнего яруса, распознавая там ущелья — Малкинское, Баксанское, Чегемское, — ведущие в глубь Кавказского хребта, сейчас скрытого неподвижными серыми облаками.

Вот и опять оказался я на этих крутых, пересеченных быстрыми реками нагорьях, где вдоль шоссе Пятигорск — Нальчик стоят большие кабардинские селения, ныне районные центры республики, Нижний Баксан и Нижний Чегем. Взгляд привлекали то белые, то розовые, то голубые чистенькие домики с верандами, цветущие фруктовые сады за плетнями, необыкновенно искусно сплетенными.

И куда ни взглянешь, всюду видишь тщательно распаханное или зеленеющее всходами поля. И когда всадники в бурках и широкополых войлочных шляпах при виде автомобиля придерживают коней и поворачивают к нам свои загорелые, обветренные, с выражением приветливого достоинства лица, хочется как со старыми знакомыми поздороваться с ними.

В 1933 году, впервые побывав в Кабардино-Балкарии, я был поражен успехами, которых эти два связанных исторической дружбой народа добились в деле строительства социализма (в 1934 году Кабарди-

но-Балкария была, первая среди автономных республик, входивших в состав Российской Федерации, награждена орденом Трудового Красного Знамени).

С того времени начал я изучать историю Кабарды. Я узнал, что с незапамятных времен в северо-западной, примыкающей к горному хребту части Кавказа живут адыге-черкесские племена, к которым принадлежат и кабардинцы. Под различными наименованиями известны они были и римлянам, и византийцам, и грузинам, и арабам. Русские называли их «косогами», и в «Слове о полку Игоревом» упоминается единоборство русского князя Мстислава и косожского богатыря Редеди. Черкесские племена, так же как и Русь, подверглись монгольскому нашествию. В те времена, когда народ русский свергал татарское иго, Кабарда также вела борьбу с кочевниками за свое освобождение. Не случайно кабардинские феодалы искали в то время союза с Москвой. Такова была дипломатическая основа брака Ивана Грозного с Марией Темрюковной, выросшей при Московском дворе дочерью известного кабардинского князя Темрюка Идаровича, который в своей борьбе с крымцами, ногайцами и калмыками нашел помощь Москвы и привел свой народ к добровольному присоединению к Московскому государству.

Стойко выдержал кабардинский народ тягчайшие испытания, выпавшие на его долю. Своеобразен его национальный характер. Поля и сады кабардинских крестьян поражают тщательностью обработки. Кабардинский народ вырастил и воспитал знаменитую породу коней. Трудолюбив и честен кабардинский народ, драгоценна сокровищница его национальной культуры, красочно его устное творчество. Но, отделенные морем от Византии, отъединенные почти непроходимым снежным хребтом от Грузии— древнейшего культурного центра Закавказья, отделенные от Руси бескрайними степями, по которым бродили враждебные кочующие племена, кабардинцы отставали в культурном отношении от этих своих соседей. Мусульманские проповедники, которые принесли в Кабарду коран, только усугубили эту отсталость. Со-

хранив свой древний язык, черкесские племена долгое время не могли выработать национальную письменность. Присоединение Кавказа к России пробудило кавказские народы от многовековой спячки, и передовые люди Кабарды, поняв жизненную потребность своего народа, взялись за создание своей письменности и разработку своей грамматики. Эту работу начал выдающийся просветитель кабардинского народа и первый историк его Шора Ногмов. Он положил начало созданию кабардинской письменности на основе русского алфавита. На протяжении всего XIX и начала XX века известно много попыток передовых людей Кабарды создать свою письменность. Однако в массе своей невежественное кабардинское дворянство и фанатичное мусульманское духовенство были заинтересованы не в просвещении, а в затемнении своего народа. Царское правительство преследовало просветителей, косо смотрело на приобщение кавказских народов к культуре. Только после Великой Октябрьской революции советская власть разрешила эту проблему.

В 1933 году, при первом своем приезде в Кабардино-Балкарию, нашел я здесь зерно того своего произведения, которому мне суждено было отдать самую лучшую, цветущую пору своей жизни. Ко времени весенней поездки 1939 года первые части этого произведения, в виде отдельной повести под названием «Баташ и Батай», уже вышли из печати, — что-то найду я сейчас в этой стране, навеки мне дорогой, так как она стала страной моих мечтаний?!

Машина уже бежала по весеннему, утопающему в розах Нальчику, цепь снеговых гор вдруг выступила в вышине, белые головы Дых-Тау и Кошьян-Тау блестели своими льдистыми гранями и немо призывали к дерзновениям.

— Здравствуй, Кабарда! — говорил я. — Чем-то ты одаришь меня в этот приезд?!

И ожидания не обманули меня. Впечатления этой поездки дали мне возможность насытить реалистически достоверными образами всю обширную ткань моего повествования.

И сейчас, когда работа над этим произведением закончена и вылилась в трилогию «Горы и люди», «Зарево» и «Утро Советов», я не могу без глубокой благодарности вспомнить выдающегося поэта Кабарды Али Асхадовича Шогенцукова, который удостоил меня своей дружбы. Он как другу рассказывал мне о себе, и эти рассказы помогли мне постичь кабардинский национальный характер, как это не могли бы сделать никакие исторические труды. Он простыми словами пересказывал мне с кабардинского на русский те из своих произведений, которые тогда еще не были переведены, а я с его помощью понял историческую судьбу кабардинского народа.

Али Асхадович Шогенцуков происходил из многодетной семьи крестьянина-бедняка, проживавшего в селении Старая крепость. Своей письменности у кабардинского народа не было, и легко представить себе те исключительные трудности, с которыми в дореволюционное время сталкивался каждый кабардинец, стремившийся к знаниям и культуре. Эти трудности с детства испытал на себе Али Шогенцуков. Только одну узенькую тропку оставило царское правительство и местные князья для крестьянского сына, принадлежавшего к угнетенному горскому народу. Эта тропка вела в мечеть, и талантливый мальчик в своем стремлении к знанию оказался в Баксанском духовном училище.

Но в России уже наступила предреволюционная эпоха, передовые люди проявляли себя в самых глухих уголках. В Баксанском училище основы естественных наук преподавал Нури Цагов. Он старался пробудить в своих учениках пытливость, привить им любовь к точным знаниям. Это пришлось не по душе фанатикам мусульманам. Нури Цагов был изгнан из училища. И вдруг на защиту преподавателя осмелился выступить худощавый, бедно одетый, черноглазый мальчик Али Шогенцуков. Он разделил участь своего учителя и был тоже изгнан из стен училища. Но гонители просвещения не смогли одо-

леть Нури Цагова. Стремление к культуре приобрело в то время среди кабардинского народа очень широкий характер. Вскоре враги и друзья Нури Цагова узнали, что опальный преподаватель решил создать свою школу. К своей крестьянской избе он собственными силами пристроил еще одну комнату — в ней он предполагал развернуть учебу. В работе принимали ревностное участие будущие ученики, и едва ли не первым среди них был Али Шогенцуков. Так создавалась новая школа. Ее называли «цаговским университетом». Враги произносили эти слова с насмешкой и ненавистью, друзья — с благоговением и уважением. Для духовного роста Али Шогенцукова «цаговский университет» имел громадное значение. Здесь он овладел начатками светского образования, здесь познакомился с русской литературой и на всю жизнь полюбил Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Здесь Али определил свое жизненное призвание. Он хотел вступить на тот же путь, по которому шел его учитель и старший друг Нури Цагов. Он решил стать учителем. Но в Кабарде, где в советское время любой кабардинский юноша или девушка могут получить законченное педагогическое образование, в царское время нельзя было мечтать не только об университете, но даже и о средней школе. Начались долгие мытарства. Али узнал, что в Темир-Хан-Шуре открылись учительские курсы. Он отправился туда, окончил эти курсы, потом добрался до Крыма, где в Бахчисарае существовало так называемое Гаспринское педагогическое училище, проникнутое духом мусульманского фанатизма. В стенах этого училища и застала Али революция 1917 года. Турецко-мусульманские заправилы училища после революции прикрыли его, а десять лучших учеников решили отправить в Константинополь. Али Шогенцуков был назван в числе этих десяти. На Кубани в это время бушевала гражданская война, пробраться в Кабарду было невозможно. Остаться в Крыму тоже не имело смысла, здесь начали бесчинствовать белогвардейцы и крымско-турецкие националисты. Али Шогенцуков решил использовать представившуюся ему возмож-

ность и ехать довершать образование в Константинополь.

Сурово сложилась жизнь одинокого юноши-кабардинца в громадном городе, столице тогдашней Турции. Училище, в которое он прибыл, не обеспечивало учащихся ни кровом, ни питанием. Али Шогенцуков стал работать грузчиком в порту. Этим он поддерживал свое существование и упрямо продолжал учиться. Турецкая школа своими исламистскими традициями была сродни Баксанскому духовному училищу и бахчисарайскому педагогическому. Отбрасывая суеверие и схоластику, Шогенцукову приходилось самому добывать зерна истинного знания. Али сносно овладел французским языком и познакомился с лучшими образцами французской поэзии.

Все можно было вынести для того, чтобы продолжать образование, — и нужду, и лишения, и болезнь. Но страшнее всего была тоска по родине. Во сне и наяву грезились Али Шогенцукову белые вершины Эльбруса, плодородные сады и поля, раскинувшиеся по кабардинским нагорьям.

— Там, в городе Стамбуле, поблизости от его знаменитой гавани, раз в жизни мне пришлось умереть и воскреснуть... — рассказывал Али. — Посланный сюда для завершения образования, я не имел никаких средств к существованию, и поэтому мне приходилось и учиться и работать, по большей части в порту: я то разгружал товары, то подносил вещи пассажирам. Но это был скудный и случайный заработок, и если бы не дешевые фрукты, конец наступил бы гораздо скорее. Я медленно умирал. Среди турок-грузчиков, с которыми я вместе работал, таких же обездоленных, как я, наверное, были хорошие, задушевные товарищи, но тот народный турецкий язык, на котором они говорили, совсем не похож был на витиеватый, мнимолитературный язык, которому нас обучали в бахчисарайском училище, да и акцент мой адыгский, вероятно, мешал, и они покачивались со смеху, когда я к ним обращался. А вы

знаете, что у черкеса от насмешки кровь свертывается в жилах. Вот и бродил я, всем чужой, по огромному чужому городу, худенький, щуплый мальчишка, и от голода дошел почти до невменяемости. Только и осталось у меня утешение — бормотать на родном языке слова, обращенные к дому, к матери, к родине: для меня «родина» и «мать» в то время слились в один женский образ. Так и составилось мое первое стихотворение «К матери», которое вы знаете...

И вот мой конец наступил. Два дня я ничего не ел и упал на камни возле порта. Все потемнело в глазах моих, холодный пот выступил на лбу, и меня не стало. Не знаю, сколько времени продолжалось это небытие, — думаю, что не очень долго: тень телеграфного столба, возле которого я упал, почти не сдвинулась с места... Возвращение к жизни обозначилось тем, что я услышал над собой голоса. Что-то невыразимо дорогое было в звуках этой речи, я увидел над собой усатые лица, папахи, газыри на черкесках, озабоченно участливые, ласковые глаза... Это были черкесы-крестьяне, проживающие в Турции.

— Кабарда... — прохрипел я, чтобы они знали, кто я.

— Так я же говорю, черкес, — обрадованно сказал кто-то из них.

— Мал еще, совсем мальчишка...

— И куда занесло птенца!..

Они говорили между собой и одновременно приподняли мои плечи и мою голову. Они совали мне хлеб, яблоки. Потом, когда я пришел в себя, они, поддерживая меня под руки, повели с собой, успокаивая, утешая и ободряя. А им самим приходилось нелегко. Они были безземельные, и им самим жилось очень трудно, но они меня поддерживали, и я поправился...

«Не горюй, милая мать, я мужественно перенесу горечь разлуки», — так закончил поэт свое первое стихотворение. И он выполнил свое обещание: одолел все лишения, окончил школу и вернулся на родину.

К тому времени в Кабарде установилась советская власть. Во всех областях жизни начались невиданные перемены.

Чудесное время! Тьма рассеялась, и кабардинский народ начал быстро наверстывать упущенное. Вековая мечта лучших людей Кабарды исполнилась. Вместо одного «цаговского университета» открываются десятки школ. В каждом, самом глухом селении учатся дети и подростки. А в Нальчике, в большом цветущем саду, построен целый городок для учащихся, названный Ленинским городком. И Али Асхадович Шогенцуков, в то время уже известный поэт, не только принимает участие в деле разработки кабардинского алфавита, но и отдается своей любимой педагогической деятельностью. Учитель, заведующий школой, инспектор окружного отдела народного образования, директор колхозного университета — кем только не побывал за эти годы Али Шогенцуков! На глазах Али Шогенцукова и при его участии в Кабарде стали создаваться первые колхозы, он помогал им организоваться, он воспевал их в своих стихах.

Начав еще на чужбине с лирических, проникнутых патриотическим чувством стихотворений, Али Шогенцуков по возвращении на родину перешел к стихам остро публицистическим, то проникнутым пафосом строительства новой жизни, то бичующим пережитки старины. Потом он стал создавать свои поэмы.

В первой из них — «Камбот и Ляца» — нашли отражение поэтические предания кабардинского народа, освещающие его историческое прошлое, ту своеобразнейшую эпоху, когда феодалы начали утверждать свое господство в Кабарде. Вольнолюбивое кабардинское крестьянство в те времена то и дело рывало цепи феодального гнета, и не раз бывало тогда, что крестьянские ополчения разбивали на поле битвы кичливых кабардинских князей с их дружинами. Али Шогенцуков своим волшебным пером воскресил реальные характеры князей и их дружинников; он создал героический образ бунтаря крестьянина, ушедшего в лес и готового мстить феодалу, убившему его

сыновей. Быт этой исчезнувшей эпохи, ее нравы, обычаи и психология встают перед нами реалистически достоверно, с художественными деталями, яркими и убедительными.

Али Шогенцуковым нарисована широкая картина эпохи, верно воспроизведены отношения Кабарды с ее соседями — крымскими татарами и ногайцами. Далеко хватал в ту эпоху хищнический взгляд гордого кабардинского феодала — он не боялся померяться силами с Крымом, — и все же его заставляли трепетать восставшие крестьяне! Князя разрушили счастье влюбленных раба и рабыни; народ сочувствует этой чистой любви, скорбит о гибели юноши и девушки и обрушивает на феодалов свой справедливый гнев, мстит им за свои муки и страдания.

Вторая поэма Али Шогенцукова — «Мадина» — ввела меня в сферу лирических чувствований поэта. С самого начала поэт сообщил нам, что он с детства знал героиню поэмы. Он был ребенком, когда эта ласковая девушка нянчила его. Она стала жертвой жестоких старинных обычаев. Прочитавши эту поэму, невозможно не проклясть весь средневековый азиатский уклад!

Третья поэма Шогенцукова — это «Юный герой». Время действия — заря советской эпохи. Гражданская война в Кабарде. Мальчик-кабардинец хочет мстить за отца своего, убитого белыми, и стремится вступить в отряд Красной Армии. Его не принимают из-за малолетства, но он совершает подвиг, который открывает ему дорогу в ряды бойцов.

Особенно удался Али Шогенцукову друг и покровитель мальчика, русский боец-пулеметчик. Любовь и уважение Али Шогенцукова к русскому народу нашли отражение в этом образе.

Али Асхадович всегда с глубокой любовью говорил о русском народе и о русском языке.

— Девять десятых того, что я прочел за свой век, прочитано мною по-русски. Бывает так, что я ловлю себя на том, что по-русски думаю... Конечно, в этом нет ничего удивительного. Для всех нас, горских народов, русский язык — это дверь в сокровищницу вели-

кой культуры великого народа, это язык советского братства...

При всей своей приветливости и вежливости Али Шогенцуков всегда был сдержан. Насильно вызвать его на какое-либо откровенное признание было просто невозможно, если только душа его сама, по собственному побуждению, не раскрывалась, — в этом, пожалуй, особенно проявился национальный характер кабардинца, чуждого распущенной болтливости.

И в тот тихий вечер, когда мы бродили с ним по тихим заснеженным полям Подмосковья и неяркая заря окрашивала небо и землю, его сдержанная душа вдруг раскрылась передо мной.

Разговор этот происходил в конце зимы 1939 года, когда Али Асхадович провел несколько дней в доме творчества имени Серафимовича под Москвой, в той самой Малеевке, гостеприимный кров которой знают многие писатели — и московские и приезжие.

Цель тогдашнего приезда Али Асхадовича ускользает у меня из памяти, но прогулки и разговоры запомнились навсегда...

Зима уже шла к концу, долго не было снега, наст слежался очень прочный и не проваливался под ногами, особенно если идти по солнечной стороне длинных косогоров, на которых раскинулись малеевские поля... Мы взошли на один из таких косогоров. Внизу была видна синяя ледяная дорога Москвы-реки, а за нею, на том берегу ее, врезаны были в снеговые поля полуострова хвойного леса, один над другим, и чем дальше, тем синее. И тут Али вдруг прервал оживленный литературный разговор и сказал, оглядываясь кругом и полной грудью вдыхая еще позимнему сонный, но уже приправленный весенней хмелинкой воздух:

— Хорошо... Как просторно! Россия...

И он так сказал это, что я его свежим взглядом точно впервые увидел то, что было вокруг, — родной простор и величие, простое и ясное. И, конечно, я понял его, но не то из вежливости, не то из чувства противоречия возразил:

— Ну, а у вас в горах разве меньше простора, красоты и величия?

Али засмеялся своим незабываемым, приятным, добродушно-веселым смехом и сказал, махнув рукой:

— Это для вас, конечно, красиво — для русских. Пушкин, Лермонтов, Толстой — никто лучше русских не написал о Кавказе и его красоте и величии. Но если вы кого-нибудь из моих баксанских земляков спросите, по душе ли ему придется наши горы, он еще, пожалуй, обидится, подумает, что вы над ним смеетесь...

— Да чего же тут обидного? — спросил я.

— А то, что с гор зимой катятся лавины, а весной и летом горные потоки — они уносят землю с полей, засыпают щебнем сады и огороды, разрушают дороги. Нет, с тех пор, как революция открыла доступ нашему крестьянину на плоскость, как у нас называют равнину, с этого времени кабардинец ожил, и у нас никогда не забудут, что земли богатых помещиков нам дала русская революция. И я вам вот что скажу: привезите сюда не только что нашего крестьянина-хлебороба, а даже самого завязатого пастуха или табунщика, вроде нашего общего друга деда Магомета с пастбищ под Эльбрусом, и поставьте его здесь, — и он скажет примерно то же, что и я сказал сейчас... «Для нартского младенца, — скажет он, — нужна нартская колыбель, и она — вот, эта колыбель великого народа».

Али обвел рукою беспредельные поля вокруг нас. И в этот тихий денек, когда трудно было найти границу между белесым небом и снежной землей, и за синими, хвойными чуть сквозили далекие лиственные леса, и повсюду далеко и близко дымили невидимые деревни, и гудела над нами линия высоковольтных проводов, — очень выразительно было то, что сказал Али. Он всегда знал, что именно почувствует в том или ином случае или как выразится его земляк, кабардинский крестьянин, с которым он всегда чувствовал кровную связь, душу которого раскрыл в своих замечательных стихах и поэмах.

Но при этом скромность никогда не покидала

Али, — это было не только внешнее усвоение манеры поведения, это была присущая его характеру особенность.

Помогая мне собирать материалы о восстании на Зольских пастбищах, происшедшем летом 1913 года, Али сопровождал меня, когда я посещал дома крестьян — участников восстания.

Соблюдая правила кабардинского гостеприимства, согласно которому хозяину неприлично первому спрашивать у гостей, кто они такие, Али Асхадович в каждом случае старался сосредоточивать внимание хозяев на мне, приезжем, а себе отводил скромное место переводчика и сопровождающего. Но однажды я задал вопрос нашему хозяину, почтенному кабардинцу:

— Знаете ли вы Али Шогенцукова?

Хозяин поднял обе руки, несколько раз повторил имя и фамилию, произнесенные мною, и что-то сказал, должно быть весьма лестное, так как Али впервые уклонился от обязанностей переводчика и не стал мне переводить ответ старика.

— Вот Али Шогенцуков, — сказал я тогда хозяину, указывая ему на поэта.

Хозяин, нарушив присущую своим годам горделивую важность, вскочил и низко поклонился Шогенцукову, а затем торопливо стал созывать своих домашних. Пришла юная черноволосая девушка в розовом платье, прибежал со двора крепыш внук, на пороге встала жена... А затем все, кто в этот страдный день колхозного лета оставался в ауле, — дети, старики и старухи — все собрались во двор. Старики чинно жали руку Али Асхадовичу, подростки читали ему его стихи.

Когда мы уехали из деревни, поэт смущенно упрекнул меня за то, что я нарушил его инкогнито.

— Наш народ очень добрый, вежливый народ. За самое малое он благодарит как за что-то драгоценное. Право, не делайте больше так, не называйте меня!

Имя Шогенцукова известно сейчас в Кабарде каждому. Его песню о трактористке Лине поют на кабардинских полях. Когда итальянские фашисты

захватили Абиссинию, Али Шогенцуков от имени кабардинского народа клеймил захватчиков гневным проклятием. Разгорелась антифашистская война в Испании — и с Кавказа летят восторженные стихи Али Шогенцукова об испанских бойцах, отстаивающих свою землю и свободу. Когда немецкие фашисты напали на нашу родину, Шогенцуков заканчивал свою поэму к двадцатипятилетию советской власти в Кабарде. В ней утверждалась традиционная дружба кабардинцев с великим русским народом; поэт благодарил партию большевиков за социалистическое преобразование Кабарды, благодарил Сергея Мироновича Кирова, первого посланца партии к кабардинскому народу в годы становления советской власти на Кавказе; в поэме звучал пафос первых пятилеток...

Последнюю, третью часть поэмы дописала сама жизнь. Началась война — и Али Шогенцуков призвал свой народ: «Все берите оружие!» В сентябре 1941 года Али Шогенцуков отправился в ряды Советской Армии. Он еще не доехал до линии фронта и не успел получить в руки оружие, как был в пути захвачен немцами. Фашисты замучили его голодом в концентрационном лагере.

Первую скорбную весть о гибели Али принес солдат, возвращавшийся после войны из гитлеровского лагеря смерти. Он очень торопился к себе домой, куда-то на Ставрополье, был худ и бледен.

— Заморили тут голодом фашисты одного вашего человека, Али — имя, а фамилию забыл, мудреная. Заставляли его, чтобы он воззвание написал на вашем языке, в стихах, что ли... Он отказался, они его тогда в холодный барак заперли и пищи лишили, он и помер, чистая душа, а служить им отказался... Его, уже мертвого, вынесли из барака нагого, на мне рваная шинелька была, я на него набросил, — разве можно такого человека похоронить без чести!

И, слушая эту незамысловатую, впоследствии подтвердившуюся историю, я вспоминал тихий вечер

зимы 1939 года, приветливые огни старого, впоследствии также сожженного руками фашистов, малеевского Дома. Али легкой походкой горца шагал рядом со мной по звонкому снежному насту и то звонко, по-русски, то мягко, по-кабардински, читал вслух стихи Пушкина и Лермонтова, свои переводы великих русских поэтов.

Если бы ты знал, Али, что русский брат оказал тебе последний почет, набросив на тебя свою солдатскую боевую шинель, твоя гордая душа была бы удовлетворена!

1958

Бекмурза Пачев

В кабардинском селении Нартан в восьмидесятих годах прошлого столетия произошло событие, по тем временам довольно обычное. Молодой крестьянин Бекмурза Пачев не смог собрать калыма, чтобы жениться на девушке, которую любил и которая его любила. Он решил выкрасть свою невесту. В тихий и сонный час рассвета девушка вышла из дома, и возлюбленный ее, сильный, высокого роста юноша, бережно взял ее на руки. Но отец девушки, выследивший дочь, схватил вдруг похитителя за полу черкески и стал громко ругать его и скликать родичей.

— Пустите меня, отец... — почтительно попросил юноша.

Но старик кричал все громче. Бекмурза вынул кинжал из ножен. Девушка ахнула, старик завизжал, но не выпустил полу черкески: к нему на помощь бежали люди. И тогда Бекмурза, не говоря ни слова, отрезал кинжалом полу черкески, за которую держался старик.

Похищение не удалось. Если бы оно удалось, Бекмурза мог бы вести с семьей невесты переговоры об узаконении брака — таков обычай. Но тому, кто несумел украсть свое счастье, оставались только горе, позор и насмешки. И хотя отрезанная пола черкески доказывала кротость Бекмурзы и уважение к отцу невесты, обычай был против него, и ему оставалось только покинуть родной Нартан.

Спустя несколько лет он вернулся. Его избранница сохранила ему верность, родители ее стали сговорчивее — с годами невеста теряла цену. Так удалось Бекмурзе соединиться со своей возлюбленной. Молодой Пачев не жалел труда, орошая и возделывая свой небольшой клочок земли. Он сам построил свой дом, вернее сказать — искусно сплел потолок и стены из гибких ветвей орешника и обмазал белой глиной. У него были золотые руки, за что бы он ни взялся, все делал превосходно. Высокого роста, сильного сложения, решительный и скромный человек, всегда одетый с той щеголеватой опрятностью, которая свойственна кабардинскому крестьянину, он жил мирно, и даже старики, воплощавшие общественное мнение аула и косившиеся на него после его возвращения из неведомых странствий, были им довольны.

Несчастье, случившееся с юношей, пробудило его мысль, а мысль выливалась в сильные и смелые речи. Он зря не открывал рта, но слова, произнесенные им, обладали свойством живого зерна — они прорастали в душах людей.

Соседи любили собираться в садике Бекмурзы, его заслушивались, когда старинным складом, нараспев, начинал он рассказывать о богатыре Сосруко, который похитил огонь у дракона и принес его замораживающим нартам. Черной неблагодарностью отплатили ему нарты, убили его, но настанет время — и он воскреснет. И Андермиркана, славного рыцаря, защитника простых людей, обманом убили князя, и от их же злого обмана погиб Дамалей Широкие Плечи — вожак, крестьянское войско собравший, князей победивший и установивший в Кабарде справедливый закон. По-новому звучали у Бекмурзы старые сказания, они будили в людях ненависть против князей и помещиков, исконных угнетателей кабардинского крестьянства, против жестоких и варварских обычаев, от которых в юности пострадал сам Бекмурза.

Как и до изгнания, был Бекмурза ласков и доброжелателен, но какая-то никому не понятная забота

не покидала его. Жена стала внимательно следить за мужем. На рассвете он осторожно вставал, уходил из дому и возвращался к полдню. Встревоженная, она однажды тихонько последовала за ним. Через росистые сады выбрался Бекмурза из аула и дошел до опушки леса. Там зорко огляделся, сел на пенек, вынул бумагу, карандаш, — и если бы он встретился здесь с любовницей, это едва ли напугало бы жену больше, чем таинственные эти предметы в руках мужа. «Писать мог мулла, писать мог царский чиновник, но зачем кабардинскому крестьянину держать в руках карандаш и бумагу?» — думала женщина.

Кабардинской письменности тогда не существовало. Бекмурза писал арабскими буквами, но писал не по-арабски. На родном языке говорила и пела пробудившаяся его душа. Только родная речь могла передать его чувства и думы. За время своих скитаний он встречался с грамотными людьми, он понял те преимущества, которые дает грамота. Он умел все делать сам и задумал большое и дерзновенное дело: он решил арабскими буквами выразить свои равные, порою шелесту ветра в траве подобные, звуки кабардинской речи. В тишине и втайне совершал он это великое дело, и зеленые, высящиеся вокруг Нартана, поросшие травой курганы, казалось, молчаливо подбадряли его. Эти курганы были насыпаны предками, для того чтобы передать потомкам память о себе. Но кто их насыпал? Некогда здесь, на широкой равнине, происходили богатырские джигитовки, состязания нартов. Может быть, в память их блистательных триумфов и насыпаны эти курганы? Но старики рассказывали и по-другому, будто насыпаны они крестьянским войском Дамалея в ознаменование победы, одержанной над князьями, — каждый воин принес горсть земли, получился курган.

Косноязычны и невняты речи курганов и каменных столбов, но они сплетены живой вязью изустных, от поколения к поколению идущих сказаний. Песенный склад закрепляет сказания в памяти, придает им долговечность. Но передаваемые от поколения поко-

лению изустные сказания становятся все невнятнее. Меняется жизнь, то, что волновало одно поколение, следующему кажется неважным, сказитель отбрасывает то, что ему неинтересно, непонятное перетолковывает по-своему. То, что сохраняется от прошлого, расплывается в сказочном тумане, и многое пропадает навсегда.

Лучшие люди Кабарды не раз брались за создание кабардинского алфавита. С особой признательностью вспоминает кабардинский народ труды Шоры Ногмова, современника Пушкина и Лермонтова. Он первый в основу кабардинского алфавита положил русскую азбуку, наиболее соответствующую кабардинскому языку. Но после смерти этого выдающегося просветителя кабардинского народа дело его заглохло. Царское правительство не было заинтересовано в создании кабардинской письменности. Невежественное и дикое кабардинское дворянство тоже относилось по меньшей мере равнодушно к этой великой задаче, а фанатичное духовенство ей противодействовало. Ни азбука Шоры Ногмова, ни составленная им грамматика кабардинского языка не дошли до кабардинского народа. Сам Шора Ногмов писал и на русском языке, которым владел в совершенстве.

Очевидно, Пачев не знал о трудах Ногмова и все начинал сначала. Мало общего имел кабардинский язык с арабским, и чтобы передать характерные звуки кабардинской речи арабскими буквами, Бекмурзе пришлось снабжать эти буквы стрелками, идущими вправо и влево, вверх и вниз, и множеством других разнообразных значков. Он создавал из того материала, который оказался у него под руками. На изобретенном им алфавите лежала печать кустарной работы, ни в какое сравнение не идет изобретенный им алфавит с легким и гибким кабардинским алфавитом, в основу которого положена русская азбука. Но Бекмурза сработал этот громоздкий инструмент прежде всего для собственного пользования и владел им виртуозно — писал на нем всю свою жизнь. Этот созданный им алфавит стал основной предпосылкой для

роста и совершенствования громадного поэтического дарования самого Бекмурзы Пачева. Он дал гениальному крестьянину возможность, которой почти не имели его предшественники сказители, он стал тщательно обрабатывать свои произведения, обдумывать и любовно отделывать, отшлифовывать каждую строчку. Свои произведения распространял он по старинке: сам исполнял их перед людьми. Народ запоминал их и разносил по всей Кабарде. И все же он работал над своими произведениями, как писатель. Одним из первых в истории кабардинской культуры отделил он произведение слова от его древнейшей песенной основы, от которой кабардинская изустная поэзия была неотделима, и достиг такого высокого уровня мастерства, который был недостижим для самых талантливых сказителей. Он первый начал работать над литературным стилем, и на основе изучения его произведений можно построить кабардинскую теорию словесности и поэтику.

Он начал историю кабардинской литературы.

Бекмурза Пачев — это сказитель, превратившийся в писателя, и ему в полной мере свойственно сознание важнейшей роли сказителя в жизни народа — быть живой памятью народа, рассказать будущему поколению о прошлом и настоящем. Он был знатоком сокровищ изустного творчества кабардинского народа, подобно Шоре Ногмову, написавшему, главным образом на основе изучения народных сказаний, свою замечательную историю кабардинского народа. Бекмурза Пачев, тоже на основе сказаний, создал ряд исторических поэм. Знание исторического прошлого кабардинского народа позволило ему с исключительной проницательностью и прозорливостью оценивать события современности. Когда началась русско-японская война, Бекмурза обратился к своим соотечественникам с призывом сражаться за Россию. До Нартана к тому времени, видимо, уже докатилась весть о начавшейся русской революции, так как Пачев в этом стихотворении упоминает о Москве, «охваченной раздором сил своих» (Москвой, согласно языку старинных кабардинских сказаний, он называет

русское государство). Пачев призывает кабардинцев отнюдь не на службу царскому трону. Мотивировка его призыва совсем иная: «Грозь огнем пожечь великую страну и меч подняв на мир московских сел, идет Япония». Пачев призывает кабардинцев к битве за «отечество соседей, которое в опасности. Оседланы лучшие кони, взяты тонкоствольные винтовки, мужество унаследовано от отцов. У кого на поле битвы рука дрогнет, пусть не возвращается под священный кров».

При некоторой, вполне понятной, политической наивности это стихотворение поразительно по исторической проницательности и мудрости. Прекрасно зная историю Кабарды и правильно понимая исторические интересы своего народа, Пачев по-новому продолжает в этом стихотворении традицию дружбы кабардинского народа с русским народом, традицию, восходящую к ранним временам Московского государства, временам общей борьбы против монголов. Характерно, что крупнейший из современных сказителей Кабарды и прекрасный знаток ее прошлого, ныне здравствующий Амирхан Хавпачев, в своих исторических сказаниях подчеркивает эту же традицию.

Постоянным мотивом предреволюционного творчества Пачева является его ненависть и презрение к паразитическому дворянско-помещичьему сословию Кабарды. Когда весной 1913 года в ответ на попытку князей и кулаков захватить общественные пастбища кабардинского народа на реке Золке вспыхивает грандиозное восстание крестьян (так называемое Зольское восстание), Пачев откликается на него стихотворением, полным гнева против вековых обманщиков-поработителей кабардинского народа и поддерживающей их династии Романовых. Это стихотворение стало популярной народной песней в период подготовки революции 1917 года.

После разгрома Зольского восстания Пачев ободрял крестьян и разъяснял им, что такой порядок, при котором земля принадлежит частному собственнику, не может долго простоять. Земля должна при-

надлежать всему трудовому народу. И Пачев предсказывал, что скоро придет время, когда это осуществится.

Понятно, с каким энтузиазмом откликнулся он на революцию 1917 года. Своим творчеством, своими смелыми речами он подготовлял ее в Кабарде и сейчас приветствовал ее как осуществление самых заветных мечтаний кабардинского крестьянства. «То, что свершилось в России, должно быть принято Кабардой, — говорил он и с угрозой обращался к кичливому кабардинскому дворянству: — Попробуйте пойти против течения Терека, когда он в разливе...» — уподобляя русскую революцию этой могучей горной реке. И когда перед Пачевым во всем величии вырисовался образ гениального основателя советского государства, он написал свою знаменитую песню о Ленине: «Великий Ленин — белая душа. Ленин прав, оттого его лепят из белого гипса». Такой удивительной метафорой выразил он свой восторг перед величайшим гением всех времен и народов. Как и ряд других произведений Пачева, эта песня явилась могучим орудием пропаганды идей советской власти. И враги советской власти после появления этой песни всячески старались очернить Пачева. Но что можно было сказать о человеке, благородная жизнь которого протекала на глазах у всего народа? Человека, двери дома которого были открыты для всякого бедняка и который без зова шел в дом, где умер кормилец, чтоб своим трудом помочь осиротевшей семье? Он был неизменно приветлив: «Душа моя», — так всегда обращался он к людям. И враги решили оклеветать Бекмурзу и ослабить его сумасшедшим. «Глядите, — говорили они, — этот человек вырыл себе глубокую яму и целые дни сидит в ней. Разве он не сумасшедший, этот человек? Среди бела дня забирается он под землю». Но друзья и почитатели Бекмурзы, — а таких было много по всей Кабарде и особенно в Нартане, — легко рассеяли эту клевету. Бекмурза вырыл землянку, чтобы писать в ней. Летом в доме душно, на дворе жарко, в землянке Бекмурзы тень, приятный холодок — там можно спокойно рабо-

тать. Когда Бекмурза не писал, он ходил по саду, по дорогам. Если видел плохой мост, то брал топор, нарубал жердей и сам чинил мост, если видел яму на дороге, то засыпал ее, и враги в этом тоже видели признаки помешательства и смеялись над ним, человеком, который работает бесплатно. И Бекмурза отвечал врагам: «Будучи отщепенцами от нашего народа, вы не знаете его лучших старинных обычаев. С древних времен так водилось: старикам, которые сами не могут работать в поле, надлежит заботиться о благоустройстве села, о мостах, о колодцах».

Существует у кабардинских крестьян легенда о стародавних временах, когда еще не было князей над кабардинцами, — народ называл этот благословенный век «временем общей пахоты». Поля тогда были общие, все люди дружно выходили на работу, и на время пахоты выбирали одного старика-тамаду, который руководил полевыми работами. Смутные воспоминания об общинных родовых порядках древности переплелись в этом сказании с мечтами о том, какой должна быть жизнь. Как это часто бывает, мечты эти отнесены были к прошлому, к золотому веку. И вот, когда настала коллективизация, Бекмурза напомнил крестьянам эту старую легенду, ожившую и превратившуюся в явь. Он сам решил подать пример труда на благо общества. Неподалеку от Нартана был участок земли, испорченный громадными старыми пнями и поросший кустарником. Это место и облюбовал Бекмурза для совершения своего подвига во славу бескорыстного труда. По его указанию, кузнец выковал ему никогда не виданное орудие — железный лом, на одном конце которого была лопата, на другом топорик. Этим-то орудием, тяжелым, но удобным, старик и работал на пустыре. Он ничего не отвечал теперь на издевательства врагов. Время споров кончилось, наступило время великих дел. Он знал, что каждый удар его лома заставляет людей задумываться и бьет по старым собственническим привычкам. Двадцать гектаров полезной земли очистил Бекмурза, и, как свой вступительный взнос, отдал ее основанному в Нартане колхозу.

В эти годы Бекмурза воспрянул и помолодел. Во многих прекрасных стихотворениях и песнях, облетевших всю Кабарду, агитировал он за коллективизацию. Райком посылал его агитатором, и он обходил аул за аулом, своим ярким и доходчивым языком разъясняя людям новые, еще непривычные порядки. В 1931 году Бекмурза получил похвальный лист как передовой агитатор за коллективизацию.

Бекмурза Пачев прославил великие дела первой пятилетки: сооружение плотины на Тереке, строительство Баксангэса.

Великий Ленин сказал нам слово:
— Смирите ярость Баксана злого.
Чтоб силу дал вам поток бурливый,
Чтоб свет и счастье свое нашли вы...

Всю свою долгую жизнь прожил Бекмурза Пачев с первой избранницей своего сердца, с ней, которую так неудачно пытался похитить, с той женщиной, любовь к которой пробудила его великую душу. Одним из лучших его стихотворений является написанное им уже в старости любовное обращение к ней, своей старухе. «Чудесный день в моей жизни — это тот, когда ты впервые вступила в мой дом», — так говорит он в этом стихотворении, проникнутом прелестью тихого и теплого закатного света, ласковым и кротким смешком. Эта умная и кроткая насмешка — особенный юмор, являющийся одной из драгоценных черт Бекмурзы Пачева, — нашла выражение во множестве его коротких стихотворений, по афористической меткости своей приближающихся к пословицам, поговоркам и кебжекам — веселым кабардинским частушкам. Бекмурза Пачев был особенным знатоком этих форм народного творчества. Некоторое представление об этих его произведениях дает нижеследующее стихотворение:

Весну приносят людям птицы.
Быстрее птиц летают сплетни.
О том, кто ночью был в лагуне¹,
Муж узнает всегда последним.

¹ Лагуна — женская половина дома.

У жен красивых, своенравных
Мужья в слезах соленых тонут,
Но мне, признаться, тошно видеть,
Как эти плакальщики стонут.

(Перевод А. Шпирта)

Есть у Пачева еще такого же рода стихотворения, обрисовывающие хвастуна, лжеца, девушку, старика. Есть стихотворения о верном сыне народа, о том, кто «знает цену жизни, в сражениях кто бывал, кто много лет за правду отважно воевал». Каждое из этих коротких стихотворений содержит всего один образ, но, вместе взятые, они являются своего рода нравственным кодексом кабардинского крестьянина, выраженным в прекрасной художественной форме.

Аул Нартан расположен неподалеку от Нальчика, столицы Кабардинской республики, и Бекмурза часто пешком приходил в Нальчик. Он помнил то время, когда Нальчик представлял собою утопающую в грязи слободу, и теперь видел, как при советской власти были залиты асфальтом улицы, как воздвигались большие здания — одно лучше другого. Нальчик утопает теперь в зелени, в розах, он стал теперь одним из самых красивых и чистых городов Северного Кавказа.

Этот высокий старик в хорошей черкеске, с привлекательным, ласковым лицом по внешности ничем не отличался от кабардинского крестьянина. Но через плечо его на тонком ремешке висел искусно сделанный из дерева странный ящик, большой и плоский, похожий на папку для бумаг. Этот ящик Бекмурза сделал для своих драгоценных рукописей, которые он приносил в институт культуры и языка и там зачитывал их. Постом он ходил по городу и парку, его можно было видеть то беседующим со школьниками, то любующимся ловкой работой строителей, то дающим советы садовникам, сажающим цветы. Наступило время, о котором он мечтал всю жизнь, время, которое предсказывал, за которое боролся. И оно оказалось прекраснее всех его мечтаний, и он был спокоен и счастлив. Но и в старости не перестал он быть бор-

мом, его острый глаз замечал все недостатки и извращения. Одним из первых заметил он и те извращения, которые приносили враги народа в строительство колхозов в Кабарде, и бесстрашно указал на них в своем выступлении на одном из съездов. Враги народа попытались изобразить его, пионера коллективизации в Кабарде, чуть ли не врагом колхозов, они опять вытаскивали басню о его сумасшествии, намекали, что арабская основа пачевского алфавита свидетельствует чуть ли не о его панисламистских симпатиях. На все это Пачев ответил одно: «Моя правда всегда восторжествует».

Он умер в 1936 году, и мне не пришлось с ним встретиться. Но от Али Шогенцукова я много слышал об этом замечательном человеке, которого Шогенцуков считал своим предшественником. Али все твердил, что рукописное наследство Пачева во много раз больше, чем те немногие рукописи, которые хранились в институте и которые просто невозможно было расшифровать. Али считал, что нужно отправиться в Нартан, в семейство Бекмурзы, — несомненно, старик научил своей грамоте домашних, несомненно, что где-то там и хранятся его самые ценные рукописные сокровища.

И Али решил ехать в Нартан. Я просил разрешения сопровождать его. Я остался в автомобиле на улице, в некотором отдалении от дома. Али вошел в дом. Он пробыл там около часа. Потом вышел из дома, я издали видел довольную улыбку на его лице. Он махнул мне рукой.

Дело было сделано, на столе лежала кипа рукописей. Оказывается, не только своих домочадцев, но и ближайших соседей и друзей обучил Бекмурза своей грамоте. Али сиял: теперь дело изучения рукописей Пачева быстро двинется вперед!

Оно и двинулось. С помощью сына Пачева Али Шогенцуков, забросив все свои дела, занялся расшифровкой рукописей. Дня не проходило, чтобы он не делал какого-либо нового открытия. Однажды он в пять часов утра постучался ко мне в гостиницу. Я ис-

пугался — при его деликатности, только какая-либо беда могла вызвать его столь ранний приход. Али смущенно улыбался и извинялся, он не мог не поделиться со мной: оказывается, старик (так называл Шогенцуков Бекмурзу Пачева) по-своему произвел образование двух слов «ощущение» и «впечатление».

— Ну и старик, какой старик! — с восхищением говорил Али.

В обоих сохранившихся у меня письмах Али он пишет о ходе работы над литературным наследством своего предшественника Бекмурзы Пачева.

Незадолго до войны выпущен был сборник Бекмурзы Пачева на кабардинском языке, содержащий две тысячи стихотворных строк. Начавшаяся война не только прервала работу над обнародованием наследия Пачева, но нанесла этой работе ущерб совершенно непоправимый: вместе с другими ценностями института культуры и языка Кабарды фашисты уничтожили также и рукописи Бекмурзы Пачева. Таким образом, из всего написанного Пачевым — 14 000 строк — уцелел только упомянутый выше сборник в 2 000 строк.

На улицу из-за плетня свисают ветви плодовых деревьев, на усадебном участке разрослась зелень, кукуруза и подсолнухи в своем однолетнем стремительном росте обогнали кудрявые кустарники боярышника, смородины, жасмина и почти доросли до крыши беленького опрятного домика. В домике необыкновенно уютно и чисто, поражает искусное плетение стен, потолка — они сплетены искусными руками хозяина. Вот табуретик-треножка — его тоже смастерили руки хозяина. Вот висит кинжал — его ножны искусно выточены из ольхи этими же руками, неустанно, всю жизнь трудились эти руки. Ими прокопаны русла оросительных ручьев с таким тонким и умным расчетом, чтобы оживотворить весь участок. Через ручьи положены мостки, крепкие чурбашки. Хозяин умер, а они лежат и будут лежать еще много лет. Он все умел делать сам и все делал впрок, на целые столетия, и когда ему понадобился алфавит, чтобы придать вековую прочность летучим созданиям

его творчества, он сам сработал этот алфавит и совершил подвиг, достойный встать рядом с подвигами его любимых богатырей прошлого — кабардинским Прометеем Сосруко Андемирканом, рыцарем без страха и упрека, и крестьянским вожаком Дамалеем Широкие Плечи. Так войдем же с благоговением в этот маленький дом, скрытый буйно разросшейся зеленью и окруженный струящимися ручьями. Здесь прозрачный и чистый исток кабардинской литературы, ее многообещающее начало.

1946

Слово горской женщины

I

С кабардинцами впервые познакомился я в Кабарде, с карачаевцами — в Карачае, с балкарцами — в Балкарии. Первая моя знакомая из Северной Осетии сама пришла ко мне ранней весной 1941 года в маленькую комнату на шумном Ленинградском шоссе, где я жил в то время.

— Меня прислали к вам из издательства «Советский писатель», — сказала она. — Я принесла свою рукопись.

Она была в светлом, строгого покроя костюме, придававшем ей облик современной женщины. Лицо же было древнее, словно вырезанное из камня, — такие профили можно видеть на камнях: прямой нос продолжал линию лба, но в глазах, по-женски привлекательных, в той готовности к улыбке, которая сказывалась в складе рта, присутствовала веселая бойкость... «Дева-воительница из нартских сказаний вступила в комсомол», — подумал я. При первом этом знакомстве Езетхан Уруймагова показала мне гораздо моложе, чем была на самом деле.

Условившись о следующей встрече и оставив мне рукопись, моя новая знакомая ушла.

Рукопись была написана по-русски, но что это был за странный русский язык! Русский словарь и совершенно своеобразный синтаксис, — все, казалось,

было не на месте, сказуемое то выскакивало вперед, то его относило в конец фразы, определения и дополнения словно плясали какой-то танец вокруг подлежащего, падежи приходилось угадывать по предложениям... Но скоро я забыл обо всем, поглощенный яркими картинками, встававшими передо мной. Не только душа писателя, как это бывает при чтении всякой талантливой книги, — душа целого народа, доселе незнакомаго, открывалась передо мной.

Тропа сюжета вводила в глубину гор, где в первобытных башнях, нагроможденных из камней, в страшной нужде живет пастушеский народ. Нужда так велика, что девочку Хадизат продают замуж в богатый дом, а жениха нет совсем — оба сына чванливой и богатой старухи только что умерли от холеры, дом остался без наследника. Это смерть фамилии, конец рода. Солнцекудрую Хадизат повенчали с покойником, она должна родить наследника, чтобы не пропало богатство, дом, род...

Все до необычайности дико, и всему веришь, потому что жизнь древнего народа, сохранившего в обычаях и быте нравы первобытной старины, но уже испытывающего на себе действие неумолимых законов капитализма, народа, у которого в сравнении с соседними горскими народами с особенной резкостью сказалось разделение на богатых и бедных, вставала передо мной. Я и радовался, и восхищался, и хорошо, по-дружески, завидовал.

Начало моей, ныне уже законченной трилогии, под названием «Баташ и Батай», вышло тогда отдельной книгой, продолжение романа должно было появиться в апрельской книжке «Красной нови», которая несколько задерживалась выпуском, — читая рукопись Езетхан Уруймаговой, я понял свои ошибки и неточности.

— Почему вы пишете по-русски? — спросил я автора, когда мы снова встретились. — Наверное, вам было бы много легче писать на родном языке?

Она взглянула на меня своими умными, веселыми глазами, покачала головой и тихо цокнула, очень погорски...

— Неужели я так плохо владею русским?

Я показал ей наиболее явные нарушения синтаксиса, она, соглашаясь, кивала головой.

— А говорю как? — спросила она.

— Говорите правильно.

Она обрадовалась.

— Я и писать могу правильно — ведь я преподаю русский язык в нерусских школах. Но как начну свое писать, сама чувствую — расставляю русские слова по-осетински. А все-таки писать буду по-русски, вы уж поправляйте меня... Нет, по-русски мне писать легче. Судьба моя странная. Семнадцати лет полюбила я русского человека, тогда он был молоденький краском, теперь уже заслуженный военный. Всю жизнь с ним живу я среди русских, и когда пишу, то словно рассказываю русским людям о своем маленьком народе. Как могу я рассказывать не на русском языке?!

Так наивно, но с правдивой горячностью была сформулирована творческая задача, и можно ли было оспаривать эту задачу?!

Во время этого разговора, который произошел в мае 1941 года, Елизавета Алексеевна была явно встревожена, она неопределенно говорила о том, что муж ее, крупный военный работник, уезжает в какую-то срочную командировку. Много позднее узнал я, что это была за срочная поездка, — куда-то на западную границу, тревога в словах Езетхан Уруймаговой была провозвестником той военной тревоги лета 1941 года, которая вскоре охватила весь наш народ.

Я дал своей новой знакомой кое-какие советы по дальнейшей работе над рукописью, и мы расстались, условившись встретиться и переписываться...

Началась война. И знакомство с Езетхан Уруймаговой, ее архаический профиль и твердая поступь советской женщины — все это осталось бы в моей памяти в виде странного полустершегося воспоминания и, наверно, забылось бы совсем.

Но уже после войны, когда я жил в Баку, в гостинице, в дверь мою постучались, и вот на пороге моей комнаты стоит та же черноглазая, с приветливой

улыбкой на причудливо вырисованных губах посетительница. И я сразу узнал ее и очень обрадовался...

Начались неизбежные вопросы. Оказывается, муж на военной работе в Баку, а она, как всегда, с ним, как и полагается командирской жене. Видно, много было пережито за войну, в черных волосах ее обозначились первые серебряные нити. Но у Езетхан не было охоты ни рассказывать о своих приключениях и переживаниях за время войны, ни расспрашивать меня о том же, — она сразу же приступила к делу, к своей работе над романом. Оказывается, работа над романом не прекращалась. Рукопись? Вот она!

Я мог быть удовлетворен — все мои советы были применены к делу. Но пуще всего радовало меня то, что Елизавета Алексеевна не прекращала творческой работы в условиях непрерывных и мелочных житейских тягот и трудностей. Хотя Елизавета Алексеевна не считала нужным о них рассказывать, очевидно потому, что не видела в этом ничего необычного, о том как она жила, нетрудно было догадаться. Муж воевал, семья осталась на ее попечении — так обстояло в тысяче тысяч семей. Но среди непрерывных тягот и трудностей она с одержимостью, которую придает только высокое чувство призвания, не переставала думать о своем замысле, и не только думать, но непрерывно работать над ним, расширять его и обогащать, писать и переписывать.

Воссоздать в художественных образах историю Осетии примерно за десятилетие, предшествующее первой мировой войне, — вот такая тематическая задача вырисовывалась теперь уже с первых страниц рукописи. Ограбление помещиками крестьян и отобрание у них земли под всяческими предлогами, сведения и покровительства царских властей, а порою и при прямом нарушении русского законодательства. Борьба осетинских крестьян за землю, борьба, стихийная и неорганизованная, — таков был тот общий исторический фон, на котором вырисовывалась знакомая мне судьба Хадизат.

Роман не случайно начинался сейчас с того, как помещик Туганов сгоняет с земли испокон века живу-

щих на ней и обрабатывающих ее крестьян, утверждая, что якобы они захватили землю незаконно. Трагедией этих согнанных с земли, переселенных крестьян начинается роман, это и есть лейтмотив его. Среди ста сорока трех согнанных со своей земли крестьян находится один из главных будущих героев романа, молодой крестьянин Темур, с женой своей Разиат и маленьким сыном. Все попытки крестьян отстоять землю кончаются ничем, царский суд и царские чиновники становятся на сторону помещика, и через всю книгу проходит горестная история Темура.

У Темура гордый и независимый характер. Но вот что любопытно — рядом с Темуром писательница нарисовала друга его, такого же бедняка, как он, русского рабочего Илью, который служил на мельнице осетинского богача Сафа Абаева. На первых же страницах романа Темур пытается составить прошение на имя властей. Но из этого ничего не выходит. Ему приходится наняться в батраки. Господа подстрекают одного из крестьян поиздеваться над Темуром, тот, не стерпев издевательства, убивает насмешника, бежит от наказания и мести, скрывается в горах и становится абреком. Тысячи подобного рода дел приводили в старое время к абречеству отдельных горцев, по натуре своей вовсе не склонных к разбою, но независимых и гордых по своей природе.

Разиат, жена Темура, остается жить в ауле. Знахарка-доносчица сообщает, что у Разиат можно найти куски мяса, которые доставлены ей ее мужем. И вот Разиат водят по селу, навесив ей на шею эти куски мяса. Женщина не выносит позора и кончает самоубийством. Молоденькая учительница Залина берет к себе маленького сироту. Узнав об этом, Темур просит разрешения поглядеть на сына, хотя бы тогда, когда он спит. Залина соглашается. Так завязываются дружественные отношения молодой учительницы, воспитанной в доме священника, и абрека, находящегося вне закона.

Читать обо всем этом невозможно без негодования, невольно стискиваешь кулаки и проклинаешь ушедший в безвозвратное прошлое подлый строй. Яс-

но, что несчастная судьба Темура обусловлена глубокой несправедливостью всего общественного строя, позволяющего помещику сгонять крестьян с земли, которую они испокон веков обрабатывали. Автор неустанно подчеркивает, что осетинские помещики, так же как и все господствующие классы старой России, не способны так разрешить земельный вопрос, чтобы он дал возможность крестьянину работать на земле для своего благоденствия и для благоденствия всего государства. Этот мотив, возвещающий грядущее ниспровержение всего эксплуататорского строя, проходит через весь роман. И в этой настойчиво проведенной мысли с особенной силой чувствуем мы, что автор этой книги — новый, советский человек, который глядит на мир, усвоив учение Ленина.

В романе показано, как рядом с помещиками все большее влияние в жизни Осетии начинает играть кулачество. Перед нами две разновидности этой породы сельской буржуазии. Старик Сафа — это разновидность наиболее современная и для того времени, так сказать, «передовая». Сафа Абаев не довольствуется обычными полуростовщическими, полуграбительскими операциями по эксплуатации личного труда своих односельчан и их земель. Он открывает в селе лавку, он заводит мельницу, он явно перерастает в буржуа-промышленника. Сыновьям своим Сафа дает образование. Старшего оставляет при себе — торговать в лавке и помогать по хозяйству, двум дает военное образование, а Владимир оканчивает медицинский факультет и становится врачом. Как подобает буржуазному интеллигенту, Владимир придерживается либеральных взглядов, практически ни к чему его не обязывающих.

Владимир влюбляется в Залину. Девушке предстоит выбрать между Темуром, которому она симпатизирует, и Владимиром. И молодая осетинская писательница с чутьем подлинного реалиста показала, что романтическое влечение Залины к Темуру должно кончиться ничем, что победить должен Владимир. Так подобного рода интеллигентные труженики

оказываются подкупленными буржуазной верхушкой общества и вовлеченными в сферу ее влияния.

Представительница другой линии осетинского кулачества — та самая Саньят Гуларова, у которой умерли оба сына, благодаря чему ее судьба и сплелась столь прихотливо с судьбой златокудрой Хадизат. Она ведет свое хозяйство несколько по-иному, чем Сафа, она консервативна и не сходит с исконной почвы осетинского хозяйства — со скотоводства, садоводства и отчасти хлебопашества. Еще в самом первом варианте, в трактовке материнского горя Саньят, проявилась вся незаурядная сила дарования писательницы.

Ведь Саньят потеряла не только своих сыновей, она потеряла наследников гуларовского имущества, и эта мысль придает особенную жгучесть ее потере, ее горю, доводит ее почти до помешательства и приводит к страшному, бесчеловечному и глубоко безнравственному решению, которое, однако, находит оправдание в старинных адатах Осетии. Купив за богатый калым невесту, Саньят присваивает ей свою фамилию и делает ее доступной для старшины Дриса, который и помог ей оформить это страшное дело. Но солнцекудрая Хадизат полюбила пастуха Атарбека, Саньят не суждено дожидаться внука.

Так в грязную и бесчеловечную трагедию, переживаемую Саньят, вплетается судьба бедняков Хадизат и Атарбека. И вот в результате бесчеловечной корысти богачей светлая любовь, которая могла бы быть источником счастья для Хадизат и Атарбека, омрачается, оскверняется, превращается во взаимное мучительство. Молодые люди оказываются в центре столкновения хищнических, корыстных интересов богачей. Старшина Дрис и старик Сафа, видя, что Саньят недолго осталось жить и что имущество Гуларовых может перейти к Хадизат, выкрадывают завещание и убивают старуху Саньят, обвинив в этом убийстве Хадизат.

На этом кончалась первая книга романа. Но при глубокой трагичности подобного конца я заканчивал чтение книги с бодрым чувством, потому что у меня

осталось убеждение, что полюбившиеся мне герои — Атарбек и Хадизат доберутся до счастливой судьбы. Притеснения и несправедливости сегодня гонят Темура в абреки, но завтра он и подобные ему пойдут в ряды сознательных борцов против эксплуататорского общества.

Писательница ввела в сюжет бурные события 1905 года в Осетии, и хотя основные вопросы, поставленные революцией 1905 года, остались незавершенными, читатель знает, что их решит Великая Октябрьская революция.

В самом конце романа намечался дорогой мне образ молодого Кирова.

Арестованная Хадизат и убежавший во Владикавказ Атарбек находят поддержку и совет у тогда еще мало известного сотрудника газеты «Терек», о котором уже шла хорошая слава среди русской и горской бедноты.

И тут снова пути наши сходились: еще со времени смерти Сергея Мироновича я дал себе слово написать о лучшем из большевиков, каких мне случалось встречать в жизни.

Над романом надо было еще поработать. Езетхан с обычным вниманием выслушала мои придирчивые замечания, и я понял, что передо мной настоящий писатель, который считается с замечаниями читателя и критика, как бы они ни были неприятны.

— Значит, вы считаете, что роман у меня получится?

— Обязательно получится!

— Как это хорошо! Теперь я смогу вернуться на родину!

И, заметив удивление на моем лице, она сказала:

— Ведь обо мне только и знают, что была такая дурная девка, из Дигоры, которая сбежала из Осетии с русским и из-за этого перессорила две фамилии... — Она покраснела, махнула рукой. — Я когда-нибудь расскажу вам обо всем этом, сейчас не хочется. А когда я кончу роман, все увидят, что эта сумасбродная осетинка, живя среди русских, не посрамила родного народа, а, наоборот, как могла, по своим

силам, рассказала русским о своем маленьком народе и внушила любовь и уважение к нему. Вот если вы в этом поможете мне, так я буду вам век благодарна! — с горячностью говорила она, и огни взблескивали в ее неукротимых глазах.

В те же дни Езетхан спросила меня, правда ли, что я буду переводить на русский язык осетинский нартский эпос.

— Я не знаю осетинского языка, потому переводом в точном смысле этого слова мою работу назвать нельзя, — ответил я. — Переложить с подстрочника на русский язык художественной прозой осетинский нартский эпос — такую задачу я мог бы, пожалуй, поставить себе, но для этого нужно найти какой-то ключ в самом подстрочнике.

— А вы читали подстрочник?

— Еще читаю.

— Он у вас с собой? — живо спросила она.

— Да.

— Покажите его мне, вдруг я вам помогу. Нет, не то чтобы помогу, но ведь все-таки я осетинка...

Спустя несколько дней мы снова встретились.

У меня и сейчас хранится школьная тетрадка, которую мне вручила Езетхан, в ней содержались ответы на все мои недоуменные вопросительные знаки, расставленные на полях подстрочника.

Но гораздо драгоценнее, чем эти письменные ответы, был разговор с Езетхан Уруймаговой о нартском эпосе, — можно сказать, что она первая ввела меня в страну нарттов.

— Для вас, наверное, это были еще с детства первые сказки? — спросил я.

— Нет, не сказки... — ответила она. — Сказки — это другое, у нас есть чудесные сказки, вы еще с ними познакомьтесь. Сейчас культурный уровень нашего народа очень повысился, но и то, если вы спросите у осетина, кто такие нарты, вам скажут: это наши предки. Так в детстве думала и я. Когда в пору весеннего пробуждения природы я видела высоко на скале молодого пастуха, играющего на дудке, я думала, что это Ацамаз. В старом охотнике узнавала Афсати, а

Шатана... Когда у нас хотят похвалить женщину — хозяйку, подругу и советчицу мужа, воспитательницу детей, ее называют Шатаной... — сказала она, вся распрямившись, и что-то по-колдовски привлекательное на мгновение мелькнуло в ее своеобразном лице.

И чем ближе знакомился я с Езетхан, с бытом их семьи, внутренняя жизнь которой определялась ее волей, со складом ее ума, — гибкого, острого и пронизательного, чем внимательнее вчитывался я в нартский эпос, тем сильнее казалось мне, что она и впрямь похожа на Шатану — главную героиню эпоса.

Еще до знакомства с осетинским нартским эпосом я немного знаком был с причудливо-чудесным кабардинским нартским эпосом. Адиух с ее руками из лунного света, которые она протянула возлюбленному, чтобы осветить ему опасный путь, или Сосруко, в котором мы неожиданно угадываем Прометея, похитившего огонь у богов и подарившего его людям, наложили неизгладимые следы на мой роман «Горы и люди».

Мои осетинские друзья — и первая из них Езетхан Уруймагова — ввели меня в мир осетинского эпоса, и благодаря им я усвоил его основную особенность, которую можно назвать первобытным реализмом. Ведь как ни сказочна обстановка, в которой живет нартский человек, он воспринимает окружающий его мир чудесно-человечески и психологические мотивировки самых его чудодейственных поступков реалистически оправданы.

Благодаря этой человечности современный читатель с такой силой вживается в мир осетинских нартов и живет в этом чудесном мире с такой естественностью, с какой он живет в мире реальном...

Незаметно шли годы... Первая книга романа Е. Уруймаговой — «Навстречу жизни» — была издана и в Северной Осетии и в Москве. Критика приняла роман доброжелательно, читатель по достоинству оценил его, — мне и до сих пор издательства пересылают письма, в которых русские читатели хвалят вышедшую книгу и с нетерпением спрашивают о второй.

А Елизавета Алексеевна как задумала, так и сделала. Она вернулась на родину, где ее встретили хо-

рошо, как достойную дочь своего народа. Она написала несколько талантливых рассказов, работала над пьесой и постепенно разрабатывала мотивы второй книги романа, в которой она намеревалась ввести в ход действия молодого Кирова — мотив, перенесенный из первой книги романа во вторую.

Работа по переводу на русский язык осетинских нартских сказаний была закончена, и отныне я приезжал в Северную Осетию, как в родной свой дом. С осетинскими писателями завязалась у меня крепкая дружба. Замысел нового моего труда скрепил дружеские связи с Северной Осетией. Вместе со старой большевичкой Э. О. Блок, сподвижницей С. М. Кирова, я стал работать над темой «Киров на Северном Кавказе», — как известно, Сергей Миронович проживал с 1909 года во Владикавказе.

Тема эта нелегкая, и, встретившись с Езетхан Уруймаговой в столице Северной Осетии — Орджоникидзе — в 1954 году, я рассказал, что на этот раз приехал, чтобы посмотреть кировские места во Владикавказе, чтобы воочию увидеть, где находилась редакция газеты «Терек», фабрика Вахтангова и другие предприятия, с которыми был связан Киров, самому поехать по местам, где происходили сходки, нелегальные совещания, отыскать домик, в котором проживал один из деятельных сотоварищей Кирова по подполью — Турыгин, взглянуть, где находилась тюрьма, в которую заточен был Киров.

— Вот тут-то я вам и помогу! — весело сказала Езетхан. — Я все это знаю. Мы возьмем в обкоме партии машину на весь день и вместе объедем все те места, которые вас интересуют!

Езетхан Уруймагова уже собирала материал для своей второй книги. Изучение «кировских мест» входило в ее планы, и с какой щедрой готовностью, с какой гостеприимной гордостью показала она мне все эти места, где сама уже побывала неоднократно! Нужно ли говорить о том, каким подспорьем оказалось это в моей работе!

Экскурсия наша увенчалась прогулкой к Сапицкой будке — к месту нелегальных сходок во Влади-

Кавказе. С того времени местность эта уже утратила свой первобытный характер, и все же пышные дубравы по обе стороны дороги давали представление о том, насколько удобно было здесь собираться большевикам, как легко было в случае чего незаметно разойтись и как нелегко было охранке наладить слежку... После длинного дня, проведенного вместе, не хотелось расставаться, и мы с женой уговорили Езетхан зайти к нам в номер гостиницы.

За ужином я благодарил Езетхан. Она смеялась:

— Ну что бы я была за осетинка, если бы не могла вам в таком деле!

— Кстати, расскажите, Езетхан, почему вам, для того чтобы взять билет от Баку до станции Беслан и потом пересесть на местный поезд, идущий в Орджоникидзе, что может сделать любой из граждан, потребовалось написать роман? — спросил я шутливо.

Она в упор взглянула на меня, взгляд ее был суров.

— Нет, это не такое простое дело... — ответила она.

Я не берусь в точности пересказать все, что мы услышали в тот летний вечер, когда в открытые окна время от времени слышно было, как проходит трамвай, — я постараюсь только передать основные факты да еще то особенное поэтическое впечатление, оставшееся от этого рассказа...

Все это произошло в начале двадцатых годов, здесь же, в Орджоникидзе, тогда еще городе Владикавказе.

Трое молодых людей в военной форме, три красных командира, зашли в аптеку купить какую-то мелочь, и один из них, крестьянский сын из среднерусской губернии, закинутый гражданской войной на Северный Кавказ, влюбился в черноглазую, с гордым профилем, тоненькую девушку, как только она вручила ему лекарство. И так как после этого он иногда один, а чаще в сопровождении двух друзей вновь и вновь заходил в аптеку и покупал всякую чепуху, которая явно нужна была ему лишь как предлог, чтобы преданно и нежно взглянуть на девушку, она поняла, что молодой человек ее любит. И она тоже полюбила

его. Полюбила впервые в жизни, и когда при посредстве друзей, помогавших робкому влюбленному, узнала о его чувствах, она решилась соединиться с ним навсегда...

Но сложность положения состояла в том, что Езетхан еще с детства была просватана за сверстника своего и в продолжение нескольких лет за нее одна крестьянская семья, семья жениха, уплачивала калым другой семье, семье невесты.

И вот когда с помощью все тех же друзей, более находчивых и предприимчивых, чем наш робкий влюбленный, совершился побег из аптеки в казарму, где проживали трое краскомов, столь простое для революционной России дело, как регистрация брака, усложнилось множеством привходящих обстоятельств: ведь оказались затронуты бытовые и имущественные отношения двух фамилий. В казарму пришли получать обратно свою беглянку несколько джигитов в бурках, с кинжалами. Тут на защиту влюбленных стали оба друга, оправдав своим поведением старый русский смысл выражения «дружки жениха». Но в дело вмешалось — не могло не вмешаться — военное начальство: уважение к местным народным обычаям было первейшей обязанностью Красной Армии — освободительницы. Жених и оба дружки подверглись наказанию, но при этом их перевели в другую часть, чем в какой-то мере разрешился самый конфликт. Ведь нельзя же было насильно разлучать влюбленных — советское законодательство противоречило этому...

Жених и друзья его сделали все, чтобы возместить хотя бы материальный ущерб, нанесенный бегством Езетхан. У каждого из краскомов сохранились заветные отрезки, полученные в награду и поощрение, были именные подарки... Все это, с разрешения военного начальства, было продано, а деньги отправлены «пострадавшей» семье.

— Вот так я, подобно Шатане, когда она вышла замуж за Урызмага, показала всем свое бесстыдное лицо... — смеясь, говорила Езетхан, вся раздумываясь, высоко подняв свою красивую голову. Побле-

скивая глазами, она не то чтобы рассказала, она пропела песню о своей молодой любви и о том, как из-под гнета старых, постыдных обычаев вышла она навстречу новой, свободной, советской жизни. «Навстречу жизни»... так вот из каких заветных родников души поднялось название романа, вот из какого чистого и глубоко личного источника черпала Езетхан, когда изображала любовь Хадизат и Атарбека...

А рассказ неся, вился все дальше, рассказ о том, как горская девушка в среде командиров и политработников Красной Армии получила образование и политическое воспитание, как она путешествовала вместе с мужем с одной стороны советской земли на другую, деля боевые трудности. И как сквозь всю жизнь три товарища, три краскома, шли рядом и помогали друг другу.

Через всю советскую эпоху, через многие годы струилась эта песня. Шли годы, друзья выросли, подымались по служебной лестнице. Один стал артиллеристом, другой — инженером, третий — танкистом. Но если случалась беда с одним, два других спешили на помощь ему, хотя бы для этого нужно было пересечь тысячи верст... Крестьянин, казак и еврей, они выросли в единой советской семье, они стали братьями. По тому, как Езетхан рассказывала об этой дружбе, видно было, что ее волнует и вдохновляет особенная красота этих отношений, в которых открываются глубокие корни советской жизни.

Мы молча, не прерывая, слушали гимн советской жизни, вырвавшийся из этой счастливой, освобожденной души. И когда безвременная смерть отняла у нас даровитую дочь осетинского народа, я сказал себе: мой долг — рассказать о том, о чем не успела рассказать она.

17 апреля 1958 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Первые шаги	3
Большевик, воин, писатель	91
Мои встречи с Есениным	112
Зрячая любовь	137
О Маяковском	154
Рожденный революцией	177
Незабвенный создатель «Рыжика»	189
Памяти друга	199
О литературной юности Бориса Горбатова	256
Одна встреча	261
Рассказ о Юрии Крымове	275
Разговоры с А. Н. Толстым	310
Али Шогенцуков	318
Бекмурза Пачев	332
Слово горской женщины	345

Либединский Юрий Николаевич

СОВРЕМЕННОИКИ

*

Редактор *М. Я. Малхазова*. Художник *И. А. Литвишко*
Худож. ред. *В. В. Медведев* Техн. ред. *А. Е. Кандыкин*
Корректоры *Л. Г. Соловьева, В. В. Сорокина* и *Л. К. Фарисеева*

Сдано в набор 7/VIII 1958 г. Подписано к печати 22/XI 1958 г.
A09914. Бумата 84×108¹/₃₂. Печ. л. 12³/₄ (18,45). Уч.-изд. л. 17,13.
Тираж 15 000 экз. Заказ № 1468. Цена 8 р. 35 к.

Издательство «Советский писатель», Москва, К-9, Б. Гнезди-
ковский пер., 10. Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.